

МИХ. РОЗАНОВ

СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ

1922 — 1939 годы

ФАКТЫ — ДОМЫСЛЫ — «ПАРАШИ»

ОБЗОР ВОСПОМИНАНИЙ СОЛОВЧАН СОЛОВЧАНАМИ

В ДВУХ КНИГАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

Части 1, 2, 3

МИХ. РОЗАНОВ

**СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ
В МОНАСТЫРЕ**

1922 — 1939 годы

ФАКТЫ — ДОМЫСЛЫ — «ПАРАШИ»

ОБЗОР ВОСПОМИНАНИЙ СОЛОВЧАН СОЛОВЧАНАМИ

В ДВУХ КНИГАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

Части 1, 2, 3

Издание автора

1979 г.

Copyright by author

Остр. Соловки, 2-УП-32.

«...Знать, судьба такая!»



Нам не дано — увы! — уменья
Прозреть грядущей жизни тьму
И знать не можем мы мгновенья,
Когда отправимся в тюрьму.

(Бим-Бом)



**3 марта 1937 г. В командировке от Судостроя
Ухтпечлага в г. Сыктывкар.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. СОЛОВЕЦКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ	13
Глава 2. СМУТНЫЕ ГОДЫ — ГОДЫ ТЕМНЫЕ	32
Глава 3. «СТОЛЫПИНСКИЕ» У НОВЫХ ХОЗЯЕВ	41
Глава 4. ПОПОВ ОСТРОВ — ПРЕДДВЕРИЕ ГОЛГОФЫ	47

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. НА ЗАРЕ ЛЕНИНСКИХ СОЛОВКОВ	71
Глава 2. ГОЛГОФА ВСТРЕЧАЕТ	78
Глава 3. НА КАЗЕННЫХ ХАРЧАХ	90
Глава 4. ЧИСЛЕННОСТЬ И СУДЬБА СОЛОВЧАН	112
Глава 5. СЕКИРКА	121
Глава 6. ДЕВЯТЫЙ КРУГ — В ЛЕСАХ	138
Глава 7. ФРЕНКЕЛЬ, ФРЕНКЕЛИЗАЦИЯ И ПРИДУРКИ	174
Глава 8. СТУКАЧИ И КОНДОСТРОВ	192

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1. КОНЦЛАГЕРНЫЕ ГОСТИ: коммунист Альбрехт, гуманист М. Горький, природолюб М.М. Пришвин	199
Глава 2. ДУХОВЕНСТВО И СЕКТАНТЫ	233
Глава 3. ЛАГЕРНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» И РАССТРЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ	265
Глава 4. «АРИСТОКРАТЫ» — СОЦИАЛИСТЫ	277
Глава 5. КИНОФИЛЬМЫ «СОЛОВКИ» И «КАТОРГА»	284
Глава 6. ПОБЕГИ . . . НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ	290

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Пройдут два-три, много — пять лет, и последние пока живые тут свидетели первого десятилетия Соловецкого концлагеря тоже уйдут туда, «идеже несть болезни, печали...» Историкам останутся полтора десятка книг на разных языках, опубликованных вне СССР с 1925 по 1971 г. с воспоминаниями соловчан тех лет. Часто одно и то же событие разными летописцами — так и будем называть их впредь — передавалось по иному, особенно, когда оно произошло не на их глазах, а тем более несколькими годами раньше и успело обрасти неизбежным присочинительством и домыслами.

Мало, почти никакой надежды нет на то, что Лубянка сохранит архивы Соловецкого концлагеря: приказы, строевые, списки умерших, социальный состав заключенных, следственные дела ИСЧ-ИСО-З-го отдела, нормы питания, размер уроков в лесу, фамилии администрации от ротных и выше и т.д.

Сможет ли будущий объективный историк добраться до истины по часто противоречивым воспоминаниям летописцев или по официальным, к тому же обычно заведомо лживым, архивным материалам?

В меру малых своих способностей и возможностей, как бывший соловчанин я решил помочь ему. Отыскал эти пятнадцать книг на разных языках и насколько смог, систематизировал и сладил противоречия в них в передаче отдельных событий. Неоценимую помощь в этой работе мне оказал другой соловчанин и летописец Андреев-Отрадин. Вместе с ним мы являемся очевидцами соловецкой жизни с 1927 по 1935 год включительно. Лишь первые, наиболее жуткие годы концлагеря — 1922-1926 — прошли без нас. Общаясь со старыми сидельцами мы все же хорошо представляли себе их атмосферу, обстановку и довольно правильно можем судить о том, насколько правдоподобно изложены летописцами те или иные события из первого отрезка концлагерной истории.

Отдаем себе отчет и в том, что международная обстановка тех лет и личная судьба отдельных летописцев в лагере безусловно отразились на их воспоминаниях и было бы жестоко требовать от них полной исторической правды. Они дали только канву для нее. Предлагаемая работа тоже отнюдь не претендует называться трудом историков или историческим исследованием. Она всего лишь предварительно просеянный сводный справочный материал для них. Пока жизнь в нас еще теп-

лится, с чего-то надо начинать. Иначе канет в Лету и то малое, что сохранила наша память.

Мы совсем не мыслим этой работой, по существу компиляторного характера, в какой бы то ни было степени умалить капитальный труд А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Отдавая должное сизифову труду и таланту писателя, мы тем не менее в интересах исторической правды должны отметить, что в главе 2-го тома, описывая обстановку Соловецкого концлагеря первого десятилетия, он невольно допустил ряд ошибок, художественно передав то, что вычитал из воспоминаний и услыхал от живых соловчан. Очень трудно даже талантливым пером описать концлагерь двадцатых годов, когда и состав заключенных, и моральный облик их и многое иное мало походили на то, с чем столкнулся лицом к лицу и среди чего жил Солженицын в режимных Особлагах. Наконец, всего лишь 44 страницы уделены Солженицыным Соловкам в главе «Архипелаг возникает из моря». На многое, достойное его пера, у Солженицына не хватило ни времени, ни материала, ни места, хотя, как видно, ему в СССР посчастливилось достать и прочесть ряд книг наших летописцев. А то, что им включено в эту главу, порою происходило в иные годы при иных обстоятельствах, порою вообще не могло иметь места. Читатель — не историк, на Соловках не сидел и едва ли заметит отдельные невольные оплошности автора «Архипелага» относительно Соловков. Но нам, соловчанам, они бросаются в глаза и дальше в книге читателю объясняется, в чем они состояли.

Лишь одного из перечисленных в книге летописцев мы склонны обвинить в заведомом нагнетании ужасов в описании Соловков — это Киселева-Громова, уполномоченного 3-ей части-ИСЧ-лагерного «ЧК в ГПУ». По нашему убеждению, он своим «свидетельством» в 1930 году и книгой ЛАГЕРИ СМЕРТИ В СССР, изданной в 1936 году на русском и на немецком, больше помог Лубянке, чем Западу.

Мы не намерены ни нагнетать ужасов, как он, ни накладывать розовых красок в этой работе, и с благодарностью примем все искренние, справедливые и обоснованные поправки и упреки от лиц, безусловно знакомых с концлагерем на Соловецком архипелаге по личному опыту или по рассказам близких лиц, побывавших там.

Книга не расчитана, как «Архипелаг», на широкий круг читателей, а только на лиц, особо интересующихся данной темой. Выпускается она автором, подобно зарубежным поэтам и прозаикам среднего ранга, малым тиражем на собственные

трудовые и пенсионные сбережения без тщетных надежд получить обратно большую часть расходов по изданию и работе над нею.

Тридцать лет назад, в моей книге «Завоеватели белых пятен» было особо подчеркнуто, что большую часть из своего почти двенадцатилетнего мыканья по лагерям я принадлежал к лагерной «аристократии», т.е. к тем пяти процентам заключенных, кто не мерзнул от морозов, не испытывал мук голода и не ладал обессиленным на работе. Все же и мне после Соловков пришлось, получив новый срок, пятнадцать месяцев расплачиваться за свой «лагерный аристократизм» в штрафном изоляторе и на штрафных работах. «Любил кататься по Печоре, люби и саночки с печорским лесом на себе возить». Не одну сотню кубометро-километров бревен я протащил по замерзшей реке или, стоя в ледяной воде, подгонял их для выкатки. Выручало железное здоровье, крепкие мускулы, гимнастика даже в изоляторе после работы и привычка к тяжелому труду с воли. Да две лагерные феи: туфта и блат.

Таким боком вылезла мне расплата за веселую командировку в зиму 1936-37 года в «столицу» новой Коми-республики, в Сыктывкар (прежний Усть-Сысольск) по деловым поручениям туда от Печорского Судостроя Ухтпечлага. Днем — в Верховном Совете и в десятках разных наркоматах и трестах, вечерами — за преферансом с командированными из Москвы спецами-инспекторами или за успешным флиртом с приятной во всех отношениях скучающей Розочкой, женой замнаркома. Так и не раскрыл я ей своего арестантского «инкогнито», не подозревали, возможно, о нем и мои партнеры по картам. Дерзаю сказать: так что пожито, дай Бог не каждому... хотя найдутся и завистники моим отдельным часам в Соловках и в Ухтпечлаге и с позиций высокой отвлеченной морали выведут меня на галгофу придурков и с ней изрекут свой приговор. Кстати: и с Соловков задолго до меня командировали в столицы заключенных из-за отсутствия в лагере вольных специалистов; в Москву, например, в 1930 году за сывороткой ветврача Пушхоза Николая Федосеевича Протопопова (Никонов, стр. 245). Да оплошал старик: надумал зарегистрироваться на Лубянке, 2, а его оттуда с конвоем, да обратно на Соловки с приказом впредь в Москву арестантов без конвоя не посыпать. Так что я не первый, да, наверное, и не последний, но почему-то не принято разглашать об этом. Догадываюсь, конечно...

Я очень далек от мысли изображать из себя невинного

агнца. В той жестокой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, их не осталось — они вымерли.

Здорово сказано, а? Теперь возьмите эти две фразы в кавычки. Они не мои. Краденые. Так 45 лет назад написал о себе Иван Лукьяныч Солоневич в летописи о Белбалтлаге «Россия в концлагере». Но я подписываюсь под ними, потому что они дают трезвую оценку условиям жизни советского народа, среди которого мы жили, воспитывались и выжили, и вместе с тем не чернят моего лагерного кредо: «Ищи себе там прибыли, где нет другому гибели».

Все это сказано не для самооправдания. Читателю нужно знать, что «Обзор воспоминаний соловчан» составлен не кабинетным мыслителем, не народником прошлого века, и не советолуком... пардон, описался: советологом. Признаюсь: о концлагерях, в частности о Соловках, рассказываю без особой душевной боли и гнева. Таков уж я. Был молод, здоров, хватало посылок, переводов. Семьи не было. Родных за меня не трогали. Знал и говорил, что осужден за дело: бежал из СССР, при допросе там не скрывал правды о нем, о побеге писала харбинская монархическая газета (Она-то все дело мне и портила этим: имел другие планы), вступил в тамошнее «ЦОПЭ», даже несколько пунктов программы новой партии изложил на бумаге — такие чудаки всплывают и ныне, через полвека после меня, убеленные, эрудированные, не мне чета, а воз и ныне там, того хуже — под гору катится.

Четверть века назад теперь покойный критик, узрев в моей книге «Завоеватели...» антисоциалистические строчки (а были они явно антибольшевистскими, что не совсем одно и то же) обозвал меня «случайно попавшим в концлагерь, ничему не научившемуся и устервлявшемуся жить» (привожу лишь часть оскорблений), а тоже теперь покойный редактор того журнала возвратил мой ответ, как «невыдержаный в приличном дискуссионном тоне»*. Самиздата тогда не было. Пришлось ограничиться полным оглашением моего письма на общем собрании бывших советских политзаключенных.

Рассматривая под углом своего кредо жизнь летописцев в Соловках, я с чистым сердцем присягаю в том, что все они, кроме Киселева-Громова, сознательно или по стечению обстоятельств, баражаясь в лагерном болоте, не топили других, чтобы не утонуть самим, но и не бросались очертя голову

*)Хотите знать кто? Шварц и Абрамович в «Социалистическом вестнике».

спасать тонущих, когда такой подвиг мог их самих потянуть на дно. Пописывание ими в лагерном журнале и газетках, игра в театре, выполнение обязанностей нарядчика, бухгалтера, прораба, даже воспитателя не вели других к гибели, не обрезали их пайку. А насколько моральны или аморальны такие занятия в «малой зоне», надо прежде обсудить сие относительно тех, кто занят тем же в «большой зоне». Их десятки миллионов. Из таких и слеплена большевизмом советская система. Без большой или малой степени приспособленчества там в обоих зонах не выжить. А кто тут потребует показать летописцев в белоснежных ризах, эдакими лагерными савонаролами, катакомбными христианами при современных неронах и диоклетианах, тому напомню: «Много храбрых после рати, как залезут на (демократические) полати»...

Казалось бы, зачем мне, одной ногой в могиле, браться за свое ржавое и тупое перо и ворошить им давно ушедшее, когда есть такой капитальный, талантливо и художественно изложенный труд о лагерях за полвека А. И. Солженицына? Ведь ему, при его таланте и избытке отрицания большевизма достаточно дунуть на меня — и нет Розанова с его поправками к главе «Архипелаг возникает из моря», и нет свидетельств прочих летописцев. И было бы нам в этом случае «учинено пошибаньеце великое».

Напомню все же, что после Чехова и Дорошевича в 1903 году о той же сахалинской каторге подобно мне, т.е. на свои денежки, некий Н. С. Лобас, сахалинский врач, издал книгу «Каторга и поселение на острове Сахалине». В конце нашей второй книги, коли доживу, дадим из неё ряд выписок для сравнений с Соловками. А пока приведу несколько строк из его предисловия. Они вполне годились бы и в моем, лишь заменив в нем старых авторов о Сахалине на новых о Соловках:

«Почти семь лет, проведенных мною среди ссыльных на Сахалине и близкое знакомство с условиями их быта дают мне смелость говорить о русской штрафной колонии несмотря на существование таких капитальных и талантливых трудов, как книги А. П. Чехова и В. М. Дорошевича».

Правда, дальше цели наши расходятся. Лобас хочет сделать каторгу продуктивной, процветающей (Вот и предтеча Френкеля!..), а каторжан морально возрожденными и предлагает правительству и тюремному ведомству ряд советов, частично использованных потом на практике ГУЛАГ-ом и Френкелем. А цель нашей книги — очистить соловецкие летописи от «параш»

и преувеличений и здраво объяснить факты там, где о них судили вкрай и вкось.

Поблагодарят ли за это или дадут по загривку — скоро узнаю. Передаю рукопись в набор, а там — что Бог даст...

Сентябрь, 1978 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

СОЛОВЕЦКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ

Из уцелевших Соловчан лишь единицам посчастливилось достичнуть Запада, но не каждый из них владел словом и пером, чтобы в спокойной обстановке, осмыслив пережитое, убедительно и правдиво рассказать о нем. Да и выбрались они из Советского Союза в большинстве своем в годы схватки двух драконов, т.е. много, много лет спустя, с неизбежными пробелами в памяти о тех годах и с боязнью «недосолить» в передаче о пережитом и слышанном.

Наиболее же ценные и свежие повествования о Соловках опубликовали те, кто до 1934 года, рискуя жизнью, пробились через границу. Одни из них сами провели ряд лет на острове, другие, находясь на пересыльном пункте в Кеми, общались с соловчанами, по тем или иным причинам выпущенными на материк.

Передо мной на полке с большим трудом и немалыми для меня затратами времени и денег стоят собранные книги соловчан, на русском — почти полностью, на английском — чаще в фотоснимках страниц, нужных для этой работы. Список их прилагается в конце. Здесь же я ограничусь краткой характеристикой наиболее по моему ценных воспоминаний, придерживаясь не времени их публикаций, а периодов, которые в них описаны.

Первым обстоятельным рассказом о Соловках должен считаться большой (на 55 журнальных страницах) очерк «Соловецкая каторга» белого офицера финна А. Клингера в журнале «Архив русской революции» Гессена в Берлине, № 19-ый 1926 году в Гельсингфорсе. Клингер — один из первых соловчан в декабре 1925 года достигший Финляндии. Без его очерка в декабре 1925 года достигший Финляндии. Без его очерка нельзя начать подготовку материалов к истории Соловецкого концлагеря. Клингер знал, хотя и поверхностно, многих лиц из лагерной администрации, впоследствии уже неизвестных другим соловчанам. Впрочем, кое-что он, очевидно, позаимствовал у Мальсагова, чья книга на английском вышла в Лондоне уже в конце 1926 года, а отдельные главы для нее на русском печатались в эмигрантских газетах еще раньше.

Есть также две книги о первых годах Соловков С. А. Мальсагова, ингуша, офицера Туземной («Дикой») дивизии «Адс-

кий остров» (на английском — в Лондоне, в 1926 г. на 223 страницах) и его однополчанина офицера Юрия Дмитриевича Бессонова на русском «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков» (Париж, 1928 г. 227 стр.) и его же на английском и на французском языках (в 1929 г.). Оба эти автора и с ними двое крестьян, тоже заключенных, вместе бежали в Финляндию, разоружив конвоиров на работе в мае 1925 года, но бежали не с самого острова, что равносильно чуду, а с пересыльного пункта лагеря на материке, вблизи Кеми, известного как Попов остров или Кемперпункт. От Бессонова дальше приводятся выписки из тридцати страниц о его двухмесячных переживаниях на пересылке, суммированных им в удивительно для тех дней трезвых, объективных и глубоких мыслях о лагерной системе и большевизме. Мальсагов же заполнил почти всю книгу передачей слышанных им былей и небылиц о Соловках 1922-1925 годов. Сам он острова не видел, но в Кемской пересылке пробыл с января 1924 года по день побега и о ней его рассказ более достоверен. Все же и его книга, первая о Соловецком концлагере на английском языке, как, очевидно, и материалы к ней, печатавшиеся в рижской газете под заголовком «Остров пыток и крови»,* вызвал большой отклик заграницы и даже Лубянки. «ГПУ — как пишет другой автор Зайцев (стр. 3-я) прислало выдержки из книги начальнику Соловков Эйхмансу, приказав, чтобы сами заключенные в своей газете (была такая. М. Р.) опровергли их. Действительно, были неточности, но зато у Мальсагова отсутствовали факты самых зверских злодеяний».

Некий писучий Магомет Эссад-бей (псевдоним Льва Нуссбаума, 1905-1942 гг.) в одной из своих 45-ти книг на разных языках — «ОГПУ — заговор против мира» на английском, в 1933 г., в главе о Соловках на стр. 216, ссылаясь на Зайцева, пишет, будто «длинное и подробное заявление, подписанное всеми заключенными Соловков, опубликовано в советских газетах, как протест против «фантазии бандитов пера, преуспевающих в лагере капитализма», хотя ничего подобного ни Зайцев, ни другие соловчане не писали, если не считать Китчина из Севлагла, о чём скажем в своем месте. Ссылаясь на Киселева-Громова, указавшего в своей книге «Лагери смерти СССР» (1936 г.) численность заключенных во всех концлагерях на 1 мая

*) См. журнал быв. сов. политкаторжан «Воля», № 10, 1950 г., Мюнхен.

1930 г. в 662257 человек.* Эссад-бей всех их, ничтоже сумняшеся, не утруждаясь взглянуть на карту, помещает на Соловецком острове... Также, наверное, далеки от истины и другие его книги, заполнившие Европу в тридцатых годах на английском, французском, немецком и испанском языках. На его книги, как образец дешевой сенсации, ссыльаться дальше было бы совестно.

Через месяц после побега Мальсагова и Бессонова, в июне 1925 г., когда Клингер был еще на Соловках, на остров привезли Ивана Матвеевича Зайцева (род. 1878, ум. 1934), генерала царской и белой армий, начальника штаба казачьего атамана Дутова. Вернувшись по «персональной амнистии» из эмиграции и зачисленный «в запас высшего комсостава РККА», он через несколько месяцев был осужден ОГПУ к пяти годам Соловков. Вывезенный в конце 1927 г. в ссылку на Север, он вскоре бежал, добрался до Китая, и в 1931 году в Шанхае в издательстве «Слово» вышла его книга на 165 страницах «СОЛОВКИ. Коммунистическая каторга или место пыток и смерти», посвященная антикоммунистической лиге Обера в Швейцарии, которую теперь едва ли кто и помнит. Книга, по моему, наиболее ценна, т.к. Зайцев довольно подробно, часто с острыми деталями, описывает терзания тех лет, особенно для духовенства. Помимо этого, он единственный из авторов, да еще Клингер, лично перетерпевший трехмесячные муки Секирки-штрафного изолятора в храме на Секирной горе, воспетого поэтами из уголовного мира. Мне кажется, что его книга, хотя и страдающая чрезмерным патетизмом изложения, все же достойна была большего признания эмиграцией, чем то, которое она ей уделила. Не один Зайцев попался на приманку «амнистии» двадцатых годов. Вспомните, сколько таких оказалось и после Второй мировой. Да еще и какие лица «клюнули»! А многие и по сей день кружатся у приманок, убеждая себя, что полакомятся, не попав на крючки... Вместо того, чтобы протолкнуть книгу на европейский рынок и литературно отшлифовать ее, больше уделено было внимания поискам блок в белье Зайцева за годы гражданской войны.

29 августа того же «урожайного» на летописцев 1925 года,

*) Эта цифра была опубликована задолго до издания книги, как часть показаний Киселева иностранным властям в 1930 г. Взята она им для 1930 г. явно с потолка, для пущего устрашения Запада или придания себе большего веса в его глазах. Палка оказалась о двух концах, о чем сказано в главе о лесозаготовках.

т.е. вслед за Зайцевым в Кемь и на Соловки привезли офицера царского флота финляндского подданного Б. Л. Седерхольма. К его счастью, усилия финских дипломатов увенчались успехом и к Рождеству того же года Седерхольма освободили и выпустили из СССР. В 1929 году в Америке на английском вышла его книга на 349 страницах «В когтях ЧК» — «In the Clutches of the Tcheka» (в переводе Ф. Х. Лайона, кто перевел и Мальсагова).* Большая часть книги отведена длительному тюремно-следственному периоду, когда его допрашивали члены коллегии ОГПУ Мессинг и Фомин и даже сам Дзержинский. Седерхольм вспоминает многие известные имена, в частности по «делу лицеистов». Однако, и трех месяцев на Кемперпункте и на Соловках оказалось для него, да и для многих, вполне достаточным, чтобы понять, как и на чем держится «пролетарская диктатура» и кто фактически ее представляет. Записи Седерхольма дополняют и объединяют рассказы Зайцева и Ширяева. Однако, не будучи очевидцем первых трех лет Соловков, Седерхольм передает о них лагерные «параши», порою похлеще «развесистой клюквы», в частности якобы о восстании на острове в 1922 году, на подавление которого ЧК прислала два полка своих войск... «убито несколько сот заключенных... режим стал более жестким» (стр. 291).

Одновременно с Клингером и Зайцевым — с конца 1923 года и до осени 1927 года на Соловках содержался воспитанник Московского университета педагог Борис Николаевич Ширяев, дважды приговоренный к расстрелу (р. 1889, умер в Италии в 1959 г.). В издательстве имени Чехова в Нью-Йорке в 1954 г. вышла книга его воспоминаний на 405 стр. «Негасимая лампада». Несколько глав из нее в 1951 и 1952 гг. печатались в журнале «Воля» в Мюнхене. По словам Ширяева, он «еще на Соловках по ночам начал писать воспоминания, потом уничтожал написанное, а попав в ссылку, продолжал их и зарывал в песок». Одаренный значительным литературным талантом, кипучий и любознательный по натуре, образованный в дореволюционном понимании этого слова, близкий до концлагеря к московской поэтической богеме, он, как и многие подобные ему, срок свой провел в основном вдали от наиболее темных и жутких сторон соловецкой действительности.

*) На русском эта книга вышла в 1934 г. в Риге в издательстве И. Форгача под названием «В стране концессий и ЧК, 1923-1926», на 311 страницах. Найти ее не удалось.

Ширяев писал в лагерной газете, работал в музее, составлял сketчи и шаржи для соловецкого театра и сам играл на его сцена в монастырской трапезной, приспособленной концлагерем под театр на 700 мест. Одно время он был даже писарем при штабе ВОХРА, и воспитателем изолированных на Анзере сифилитичек, но знаком ему был и строгий карцер в кремле, и лесозаготовки, и вязка плотов в ледяной воде. Книга Ширяева вполне заслуживает оценки, как художественное исследование, как произведение, отразившее атмосферу первых лет Соловков, но, главным образом, меньшей и более удачливой и обеспеченной части лагерного муравейника, той, в которой пребывал автор. Он представлял и описал ту прослойку его, которая пыталась по возможности самой удержавшись и удержать других от падения, лучше всего характеризуемого словом охамиться, т.е. стать типичным «хамо-советикусом».

О себе он говорит (стр. 399 и 405): «Я не художник и не писатель. Я умею рассказывать только то, что сам видел и слышал и копил в памяти». Скромничает! Дальше читатель убедится в этом на примерах. С большой охотой перечитываю его книгу, хотя относительно реальности описанных событий часто, ах, как часто возникают сомнения, особенно при сопоставлении их с другими свидетельствами за те же годы. Что ж, писатель есть писатель!.. Простим ему «беллетристические вольности и погрешности»! В особую заслугу автору надо записать, что он не огулом всех чекистов показывает исчадиями ада, а находит среди них, как вольных, так и ссыльных, «чекистов с человеческим лицом», таких, что порою проявляли как будто несвойственное им благодушие и чудацства, колебания от зла к добру, что в тот период было и естественным и возможным. Такие чекисты тоже выросли в православных семьях, они вначале двадцатых годов еще лучше нашего нынешнего потомства могли повторить и Десять Заповедей, и Верую, и Отче Наш. За пять-семь лет большевизма не у каждого из них бесследно исчезло в винном угаре, половой распущенности или утопло в крови то, что воспитывалось с детства. По тем же самым причинам и комсомольцы из семей большевиков за пять-десять лет в другой среде и обстановке, о которой мечтали, все равно временами кажутся нам белыми воронами. Любую «отрыжку прошлого» быстро изжить или спрятать нелегко. Примеры не за горами... То, что здесь сказано о некоторых чекистах, в равной степени относится и к уголовникам с «родимыми пятнами капитализма». Они не отравляли жизнь каэрам (бандит Алешка Чекмаза, взломщик Володя Бедрут, стр. 99-101).

При Ширяеве летом 1927 года с Соловками познакомился Г. Андреев-Н. Отрадин (р. 1910 г.), еще юноша, начинающий журналист (теперь-то уже многоопытный и поседевший), обогативший в 1950 г. лагерные мемуары очерком на 42 страницах «Соловецкие острова» за 1927-1929 гг. в восьмом номере журнала «Границы». Значительно позже, в 1974 году, ознакомившись со второй главой второго тома Солженицына «Архипелаг возникает из моря», он в ряде статей в Новом Русском Слове* привел неоспоримые данные, поставив точки над и, там, где у Солженицына не по его вине «вышло красочно, но правда была иная». Эти статьи, как и очерк проводят грань между правдой и домыслами о Соловках тех лет.

Солженицын в его капитальном труде о концлагерях физически не мог проверять или отвергать, как сомнительные, все те рассказы, которые ему передавали, возможно даже через третий уши, да и довлели над ним поистине кошмарные военные и послевоенные режимные лагеря и особылаги, которых мы, соловчане, к счастью, не испытали. Ширяев (стр. 47), читавший до издания своей книги и очерк Г. Андреева, и мою книгу «Завоеватели белых пятен» с главой «Соловецкие фактории» и «Остров — символ», и книгу Ивана Солоневича «Россия в концлагере» признает, что наиболее близкой из них к Соловкам его периода стоит очерк Г. Андреева (отправленного с острова в другой лагерь летом 1929 года), «но тем не менее все перечисленные авторы писали правду. Менялись времена — менялись люди», а также и условия, и карательно-истребительная политика большевизма, добавим мы.

Да, Андреев теплыми словами описывает культурную и моральную отдушину, которую давал соловецкой интеллигенции, не занятой особо тяжким трудом, соловецкий театр. Однако, кроме случайного отдыха в театре, Андрееву выпал жребий перетерпеть и многое иное: зимние лесозаготовки под начальством озверелого узников, откуда Солженицын (ст. 66, том 2-й) выписал: «Андреев вспоминает: били по зубам — давай кубики, контра!», следствие о причастности в подготовке побега (он-то и бежал, но не с острова, а позже из Ухтпечлага, за что пойманный, снова в 1933 году угодил в Соловецкий кремль, откуда освобожден в 1935 г.); даже на счетной работе и в кельях канцеляристов он остро чувствовал яд

*) См. НРСлово с его статьями под общим заголовком «По островам Архипелага» за 18, 22 и 29 сентября, 4, 6, 13 и 25 октября и 3 и 10 ноября, все-за 1974 год.

склок, подсиживаний и стукачества, отравлявших и без того жалкое существование и вселявших взаимное недоверие и подозрительность. Андреев почему-то не нашел нужным привести подлинные имена некоторых лиц в своем очерке, но многие из них легко угадываются при сопоставлении с мемуарами других соловчан.

За год до отправки Андреева на материк, т.е. в июне 1928 года на Соловки привезли землемера М. З. Никонова — Семена Васильевича Смородина, присужденного «органами» к расстрелу с заменой по «ленинской амнистии» десятью годами Соловков, как одного из организаторов «вилочного» восстания. Там он пробыл два года и осенью 1930 года переведен на материк на Беломорканал, откуда в 1933 году бежал в Финляндию с тремя другими заключенными, из которых один остался в пути смертельно раненный погоней. В 1938 году в Софии, в Болгарии, НТСНП-Национально-Трудовой Союз Нового Поколения — опубликовал воспоминания Никонова-Смородина книгой, объемом в 371 страницу. Редактировал рукопись известный писатель А. В. Амфитеатров, но очень поверхностно, может быть из-за болезни: он умер в год выхода книги. В изложении событий последовательность не соблюдена. Автор, не закончив об одном отрезке времени или событии, переходит к другим, а через десять-двадцать страниц возвращается к ним, порою опять таки не доведя до конца, и надо терпеливо рыться в книге, чтобы найти его и соединить в целое эти разрозненные куски.

Несмотря на такую хаотичность повествования и частое отвлечение в нем от основной темы — ведь книга озаглавлена «КРАСНАЯ КАТОРГА. Записки соловчанина» — она представляет несомненную ценность для истории Соловков. Никонов описывает быт и взаимоотношения заключенных в лагерном сельхозе и пушхозе, в гибкой «роте общих работ» и приводит десятки фамилий сельско-хозяйственных специалистов-заключенных и высшего духовенства, вспоминает о важнейших событиях его периода — расстрел «имяславцев», «соловецкий заговор», приезд Горького, правда, местами в довольно спорном освещении, иногда близким к лагерным парашам: либо в преувеличенном изображении, либо подогретом верою в желаемое, облекая фантом в плоть и кровь в ущерб истине. Впрочем, такая болезнь довольно широко распространена среди заключенных не только соловецкого, но и всех иных лагерных периодов. Пора уже, кажется, рассказывать о лагерной жизни без пристрастия и поскромнее, ближе к истине и приводить цифры, за которые не надо потом краснеть. Превосходный

образчик лагерных мемуаров дал в 1969 г. А. Марченко в «Моих показаниях» и ряде статей о после-сталинских лагерях. В них нет нагромождения ужасов и трупов, и тем не менее, прочтя их, большинство соловчан согласится с тем, что во многом обстановка концлагеря двадцатых годов была более терпима, чем в хрущевско-брежневских потьмах и дубровлагах, если забыть о лесозаготовках 1926-1928 годов, особенно у Стрелецкого и Потапова, да «боевое крещение» в Кеми у Курилки в 1928 и 1929 годах.

1931 год для Соловков явился особо «урожайным» на лептисцев. В этом году на острове провели часть срока Никонов, Олехнович, Розанов и, наконец, Д. Витковский, о котором не раз вспоминает во втором томе Солженицын. Он читал его «Полжизни» еще в рукописи, беседовал с Витковским и не раз ссылается на него в «Архипелаге». На Беломорканале Витковский работал прорабом 18 шлюза и благодаря его умелой и смелой туфте, из 700 заключенных, в основном уголовников, для которых он и на Соловках находит мягкие слова, никто не умер ни от голода, ни от морозов. На других шлюзах по ночам собирали трупы замерзших и обессиливших. Из десяти лет по второму приговору он отбыл в лагерях около пяти лет благодаря зачету рабочих дней и сокращению срока на Беломорканале. На Соловецком острове он пробыл лишь с весны до осени 1931 года. В начале Витковский вместе с уголовниками попал на тяжелые работы, потому что имел «центральный запрет». Осушал болота, корчевал пни, потом попал на более легкие: сбор иодосодержащих водорослей и заготовку топлива из дровяника, прибитого к берегу на Анзере. К сожалению (или к счастью для него), ничего особо жуткого или отрадного он на Соловках не испытал и не видел, и потому этот отрезок его срока в дальнейшем нами оставлен почти неиспользованным. На Соловках тогда еще продолжалась «оттепель». Но те несколько недель, что он провел на Кемерпункте перед отправкой на остров заслуживают быть отмеченными. Тут он узнал и сообщил читателям кое-что новое или такое, что нуждается в поправках.

Одновременно с Никоновым-Смородиным и Олехновичем в Соловецких лагерях на островах и материковых командировках побывал Николай Игнатьевич Киселев-Громов, 21 июня 1930 года объявившийся в Финляндии. Автобиография его довольно сумбурна: оставленный раненым в Новороссийске, он принял фамилию красноармейца Карпова и начал новую жизнь: делопроизводителем культпросвета дивизии, потом перешел в ее Особый отдел, дальше — в Чрезвычайных Комиссиях

разных городов Северного Кавказа в должности начальника секретных отделов и в этом чине побывал даже на секретном докладе самого Дзержинского, но в 1927 году, по его словам, после одной ревизии обвиненный в халатности, был переведен на службу в Соловецкий концлагерь, где три с половиной года пребывал на знакомой работе в информационно-следственном отделе — ИСО — как уполномоченный ИСО или в ВОХР, а затем вдруг «решил остаток жизни, знания и опыта отдать делу освобождения России от большевиков». Редактор его рукописи Сергей Маслов в предисловии признает, что «книга Киселева (изданная в Шанхае в 1936 году), превосходя все до сих пор написанное о лагерях смерти, не свободна, однако, от ошибок, порою весьма грубых». Но, думается нам, главная беда книги не в приводимых в ней подозрительно «точных» цифрах и не в том, что Киселев Алма-Атинский концлагерь приплел в подчинение Соловецкому, а именно в том, что «она превосходит все, до сих пор описанное о лагерях», т.е. превосходит то, что рассказали до Киселева Клингер, Бессонов, Мальсагов и Зайцев о Соловках — люди отнюдь не склонные приуменьшать ужасы большевистской каторги. Да Маслов и подтверждает свою оценку о «превосходстве» ссылкой на книгу Зайцева, как «устаревшую, хотя она написана в тонах объективности и пропитана стремлением автора быть мелочно правдивым», но, мол, «круг его наблюдений был ограничен, а вот Киселев находился на наблюдательной вышке, а не стоял на земле, как Зайцев и другие».

Известно стало от Зайцева и этих «других», что концлагеря существовали не для изоляции и исправления, а вначале для истребления, потом для истребления через эксплуатацию. Но у Киселева лагерные картины, описанные прежними авторами, усилены еще более щедрыми мазками до того, что пред ними предпочтешь и девятый круг дантова ада. Зля чего это? — Бог весть! Этот коробок спичек, выдаваемый лесорубу, якобы, для того, чтобы он, выгнанный в лес до рассвета, мог со спичкой отыскать замаркованные к повалу деревья, оказался очень кстати на вооружении просоветского парламентского комитета в Лондоне за торговлю с Советским Союзом и за покупку его леса, но о том и многом другом более подробно скажем в главе о лесозаготовках. (Комитет этот использовал задолго до выхода книги Киселева его показания, как перебежчика в 1930 году, как раз в период газетной и парламентской кампании против лесного демпинга большевиков).

Автор книги «Завоеватели белых пятен» М. Розанов (р. 1902 г.) привезен в СССР из Маньчжурии, куда он бежал

осенью 1928 года. В мае 1930 года с десятилетним сроком его привезли в соловецкие лагеря. Первый год он провел на материковых командировках: до зимы — на постройке тракта Лоухи-Кестеньга землекопом, десятником и молотобойцем, а зиму — счетоводом лесозаготовок для экспорта на одном из островов на озере Выг. Как «склонный к побегу» по формуляру, весной 1931 года отправлен на Соловки, где и пробыл табельщиком и счетоводом дровозаготовок и лесобиржи и лесотаксатором лесничества до осени 1932 года, попутно за проценты в «книжке ударника» оформляя выпуск печатной лагерной газеты, как технический редактор. Осенью 1932 года добровольно с этапом в основном уголовников-рецидивистов выбрался с острова в Ухтпечлаг. Во время войны, был «бойцом Оборонстроя НКВД» попал в плен и оказался по эту сторону фронта. В Лимбурге, в Германии, «Посев», печатавший в 1949 году его воспоминания в своей газете, в 1951 году выпустил их книгой на 284 страницах с вводной главой о социально-экономическом и политическом значении лагерей для большевизма. В разных лагерях Севера Розанов пробыл без перерыва свыше одиннадцати лет, но на самом Соловецком острове лишь полтора года, почему и воспоминание об этом отрезке занимают в книге всего 59 страниц, а собственно об острове и того меньше-16. Период, проведенный им на острове, в истории Соловков был самым легким для заключенных по режиму, работам, обслуживанию и питанию. Ни до, ни после этого периода ни в одном лагере, даже в «показательных лагпунктах», Москанала не было такого сочетания облегченных условий. У Гулага были, очевидно, свои соображения позволить заключенным перевести дух после разных «произволов», тифозных эпидемий, массовых обмораживаний и цынги и посмотреть на опыте Соловков, что из этого выйдет и что и как можно с пользой для Гулага применить в новых лагерях.

Материковую лагерную жизнь после отправки Розанова на остров кратко описал профессор-ихтиолог В. В. Чернавин (1887-1949). Как специалиста, его использовали в Рыбпроме УСЛОН, а. Осужденный ОГПУ на пять лет за «вредительство» в Мурманском госрыбтресте, привезенный в Кемь весной 1931 г., он летом 1932 г., пользуясь пропуском для бесконвойного передвижения в районе лагерных рыболовных артелей, вызвал из Ленинграда освобожденную из-под ареста жену с ребенком и втроем на лодке по Кандалакшскому заливу и речке, впадающей в него с запада, а дальше пешком, добрались до Финляндии. Побег подробно описан его женой в книгах на английском (в 1934 г. вышло семь изданий) и на французском

(в 1936 г.). Сам он в 1935 г. опубликовал на английском книгу в 368 страниц «Я говорю за советских узников» — «I speak for the silent», но большая часть ее отведена до-лагерному периоду: рыболовному хозяйству в Мурманске и процессам сокамерников по ленинградским тюрьмам: расстрелу «48» в пищевой промышленности, скомканному ОГПУ «Делу Академии Наук» и др.

**

Когда-нибудь объективные экономисты займутся вопросом, действительно ли был убыточен рабский концлагерный труд на Севере «с применением техники времен фараонов» словно в те годы — в двадцатые и в первую половину тридцатых — не только по всему СССР, но и в столицах на глазах иностранцев бабы не таскали кирпичи и цемент по шатким лесам на «стройки социализма», сгибаясь от неженского груза? Будто не дедовскими двуручными пилами, а электрическими и моторными пилами и тракторами валили и подтаскивали к вывозным дорогам миллионы кубометров леса, будто не лопатами и тачками, а экскаваторами и другой техникой нарыли каналы и нагромоздили дамбы, будто... Ах, оставим эту тему! Еще не созрело — и успеет ли еще созреть «общественное мнение» к тому, чтобы трезво взглянуть на нее более широко, а не только как на моральный позор для большевизма.

Однако, профессор Чернавин и Розанов на ряде примеров и цифровых раскладках уже тогда пытались убедить, что одним «аминем беса не избудешь»... А Никонов и Андреев даже привели цифры прибыли на лагерном соловецком лесе в золотых рублях. Когда большевизм с помощью капитала иностранных банков и корпораций и пердячего пара своих работяг в малой и всесоюзной зонах обзавелся техникой, невыгодное больше ни экономически, ни политически массовое лагерное рабство хрущевцы отменили под фигой амнистии, а позор за него свалили на Сталина.

Этой теме отвел главу «Мы строим» (стр. 563-581) и Солженицын, высказав соображения, близкие к тем, что приводились в книге Розанова, но с обратным выводом, дескать, «никогда тут расходов с доходами не уравнять», потому что: а) Рабы несознательны, б) При них и у вольных нет заинтересованности, в) Требуют больших штатов бездельников и надсмотрщиков, г) А зоны и конвой только мешают хозяйственному «руководству». От всех этих причин, подкрепленных Солженицыным примерами, «Архипелаг» не только не

самоокупается, но стране приходится еще дорого доплачивать за удовольствие его иметь. Но приводя примеры хозяйственного и административного головотяпства из практики «Архипелага» следовало бы помнить, что не меньше, а больше подобного происходило в тех же областях работы и в тех же районах при вольной рабочей силе и тут «головотяпство» обходилось стране куда дороже.

Кто бы ни был прав, Солженицын ожидает возражения:

— Верно, верно, это так... Но что вы скажете? — А ВСЕТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!

— Вот этого у нее не отнять, черт возьми! — она вертится!

И не только вертится, добавил бы я, а уже как горилла вылезла на сцену и рычит, и бьет себя в грудь, приглядывая, кого бы сейчас схватить на перекуску до обеда... А зрителей и поведение их мы знаем по газетам и личным опытам. Не очень-то далеко отошло их поведение от того, которому следуют в лагерях уголовники: «Подожни ты сегодня, а я — завтра» ...Только тут замаскировали его удобными учеными словечками: прагматизм, конвергенция, детант, чтобы под них выталкивать в передние ряды на закуску горилле тех, кто послабее, лишь бы отдалить тот час, когда... А зрительный — то зал все больше пустеет после каждого рыка гориллы.

**
*

С 1928 и по 1933 год включительно на Соловках расплачивался за свою доверчивость красной пропаганде драматург Франциск Олехнович. Побывавший за политику в царской тюрьме и преследуемый в Польше за свой белорусский национализм, он «клюнул» на один из крючков красных рыболовов и 17 ноября 1926 года покинул Польшу ради советского «Белорусского дома». Тут такого с Запада «Еремея потчуют умей». Сначала ему объятия, цветы и пост директора Витебского государственного театра, а через месяц, «отпотчивав умей-за ворот, да в шею» — в подвал Минского ГПУ и вскоре дали ему 10 лет за шпионаж. Однако, был он удачлив. В 1933 году осенью большевики выменяли его, как польского подданого, на более крупную рыбицу, на Тарашкевича, вождя Белорусской Громады, отбывавшего в Польше тюрьму. В 1937 году Тарашкевич умер в одном из сибирских концлагерей.

После хорошего шестилетнего «промывания мозгов» в Соловках, Олехнович рассказал о них в 1937 году на польском

языке в небольшой книжке из 152 страниц «ПРАВДА О СОВЕТАХ», так что мы имеем еще одного летописца для 1928-1933 годов. Книгу он издал за свой счет — «накладом автора» — и, очевидно, небольшим тиражем. Кое-что из нее переводилось и печаталось в газетах на украинском, польском, а, возможно, и на других языках. Ряд крупных соловецких событий тех лет изложен им в книге полнее, чем другими летописцами, и более правдоподобно, в частности о «соловецком заговоре», расстрелях, тифе, и о весенней «оттепели» 1930 года.

В 1944 году в Вильно Олехновича, по утверждениям белоруссов, убивает советский агент.

После Розанова и побега Чернавиных, на Соловки в 1933 году доставили украинского националиста и литератора Семена Александровича Пидгайного. За описанный им период — с 1933 по 1938 год — Соловки пережили постепенный поворот от концлагеря к тюремным казематам. Переменился и состав заключенных, отражая собой новое поле политического террора в стране. Советские и партийные сановники всех рангов и ведомств и от всех республик, а заодно и цвет «братских компартий» — работники Коминтерна, делегаты его мировых съездов заполнили монастырские корпуса и скиты, переоборудованные под тюрьмы. Некоторых из них, по словам Пидгайного, привозили на Соловки безимянными, под номером и с глухим капюшоном на голове, чтобы остальные заключенные не знали, кого еще из «друзей» заарканили Сталин с Ежовым. Таких чаще привозили и увозили обратно по воздуху, когда требовалось дополнить их показания относительно уже павших божков — Ягоды с помощниками, Рыкова, Бухарина... не мало таких фамилий можно выискать в книге Роя Медведева «К суду истории». Их и «ликвидировали» не на самих Соловках, а где-то в Москве. Но встречались среди этой знати и такие, кого, видно, по блату, по особому указанию, не причисляли к «врагам народа», а вроде как к «политическим». Таких к работам не принуждали, кормили несколько сытнее, зато содержали изолированно на Амбарчике или в Исакове, где в двадцатых годах заготавливали лес.

Голод на Украине, убийство Кирова, московские процессы, арест Ягоды и, наконец, «ежовые рукавицы» в НКВД давали повод усиливать и вводить новые формы давления на заключенных. Соловки уже не центр СЛОН, а (до 1929 г.), не четвертое отделение УСЛОН, а и УСИКМИТЛ, а (в 1929-1932 гг.) и даже не Третье отделение Белбалтлага (1933-1936 гг.), а с 1937 года Соловецкая Тюрьма Особого Назначения (действи-

ствительно СТОН!... только не употребляли такого сокращения: сообразили...) и подчинялась она не Гулагу, а непосредственно Главному управлению госбезопасности. Старый соловчанин А. Светлов в заметке «Моя жизнь в лагере» (В журнале на английском «Вызов» в Нью-Йорке за июнь 1950 г.) сообщает:

«...Осенью 1937 г. Соловецкий кремль превратили в спецтюрьму. Спешно огородили окна железными прутьями для новых «жильцов». Скоро мы их увидели. Это были бывшие большие люди — ...«жатва» Ежова. Мест для них нехватало и нас, рядовых зека и старых соловчан отправили на материк в Белбалтлаг. В начале декабря 1937 г. и меня включили в одну из последних партий...».

Пока что, насколько известно, Пидгайный — единственный соловчанин 1933-1937 гг.,* кто опубликовал свои воспоминания об этих годах, и не в одной, а в трех книгах: в двух на украинском в Мюнхене — в 1947 г. «Украинская интелигенция на Соловках», на 93 страницах, и в 1949 г. «Недостреленные» из двух частей в одной книге, на 258 стр., а на английском в 1953 г. в Торонто «Острова смерти» — Islands of Death на 240 страницах. Поскольку нет других свидетельств, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказы Пидгайного, принимаем их пока на веру с некоторым «поправочным коэффициентом» на ультра-национализм автора. Но когда он повествует в тех книгах попутно и о 1923-1932 гг., из-под пера его выплывает нечто легендарное и даже фантастическое, как, к примеру, отъезд монастырской братии с главными ценностями в Лондон или распространенное на Соловках из-за голода людоедство. Многое из описанного в его книгах Пидгайный повторил в толстом двухтомнике на английском языке «ЧЕРНЫЕ ДЕЛА КРЕМЛЯ. Белая книга свидетельств», главным редактором которой он и указан. Первый том издан в 1953 году в Торонто «Украинской ассоциацией жертв русского коммунистического террора» на 543 страницах, второй том — в 1955 году в Детройте о голоде 1932-1933 гг., на 712 страницах, издан «Обществом бывших заключенных и жертв советского режима», уже без указания на «русский коммунистический террор».

*) Андреев-Отрадин вторично содержался на Соловках с 1933 по 1935 гг. но пока что «летописи» не выпустил, ограничиваясь отдельными эпизодами из того периода в своих газетных статьях в НРСлове.

В том же двухтомнике и в своих книгах Пидгайный широко использует свидетельства девяти украинских крестьян-заключенных, бежавших в 1929-1930 годах с Соловецких командировок на материке. Кое-кто из них побывал до этого и на самом острове, и в лапах Курилки в Кеми. Их свидетельства вышли в свет брошюрой на 72 страницах на украинском языке в Варшаве в 1931 году под редакцией Л. Чикаленко, под общим названием «Соловецкая каторга». Один свидетель — номер третий — утверждает, что «всего украинского люду в Соловецких лагерях бильше, як два миллионы», другой — номер шестой, что «из тысячи доживает до освобождения, может один» и тут же подтверждает: «На острове в 1929 году из 29 тысяч выжило девять тысяч». Бежавшие перечисляют зверства, от которых волосы становятся дыбом, вот хотя бы «приказ Ногтева, начальника УСЛОНа, расстреливать за невыполнение норм на лесозаготовках». Свидетель номер пятый добавляет: «... А в бараке четыре сотни раздетых, а наруже сорок градусов мороза. Отказались выйти в лес. Начальство подожгло барак, а кто пытался выскочить из него, тех пристреливали. Приезжал расследовать сам Бокий и оправдал начальство». Или такое: «На Соловках в 1928 году при прокладке железной дороги к Филимоновским торфоразработкам и для вывоза по ней леса, на восьми километрах из двенадцати тысяч погибло десять тысяч украинцев и донских казаков... Землю копати неможливо было, бо она замерзла на три метра в глибину...» Прочитавши подобные свидетельства, заключенный ежовского периода и режимных лагерей чего доброго возблагодарит судьбу за то, что угодил в лагерь в конце тридцатых и в сороковых годах, а не в двадцатых.

Книгами Пидгайного заканчиваются воспоминания и литература о Соловецком концлагере для каэров и уголовных со дня его возникновения до дня ликвидации и превращения острова в военно-морскую базу и школу в конце 1939 года. В 1938 и в 1939 годах с Соловков вывезли два последних больших транспорта из жертв ежовского набора, которые в 1938 и в 1939 годах с такими же «подкреплениями» из Потьмы и Красноярска очутились в Норильске, т.е. попали из огня, да в полымя (См. Петрус, «Узники коммунизма» стр. 162 и «Вызов» № 2 за 1950 г.). По другим сведениям, два океанских парохода увезли этих «ежовцев» морем куда-то на восток, как-будто на остров Колгуев, а вернее — тоже в Норильск, вверх по Енисею до Дудинки.

15 февраля 1946 года в меньшевистском «Социалистическом вестнике» в Нью-Йорке напечатана краткая заметка «Ко-

нец Соловецкого концлагеря. Из рассказа моряка-невозвращенца». Приводим ее почти дословно:

«Под нашу школу низшего комсостава военно-морского флота в 1939 году отвели Соловецкий монастырь, куда я и прибыл с первой партией курсантов в декабре 1939 года... Монастырь и весь главный остров были пусты... Заключенных уже никого не было. Старый охранник сказал мне, что лагерь ликвидирован в сентябре-октябре 1939 года и, якобы, всех заключенных перевезли на остров Колгуев... Года за два до этого в лагерь приезжала особая комиссия для чистки и переарестовала почти все начальство. Плохо им пришлось! но тут приходилось и заключенным, — особенно донимали интеллигентов».

«Года за два» — это, значит в 1937 и в первой половине 1938 года, когда повсюду — в Дальлаге, в Норильлаге, в Ухтпеллаге и в сотнях остальных «детищ большевизма» именем Ежова расправлялись с лагерным начальством и остатками меньшевиков, эсеров и оппозиционеров и собачьих сынов замещали сукины дети.

В книге Яковлева «Концлагеря СССР» (Мюнхен, 1955 г., Институт изучения СССР, стр. 179) читаем:

«Из ряда сообщений известно, что в Соловецком монастыре в настоящее время находится изолятор ...ВОНЗ или ВИОНЗ, повидимому, Всесоюзный изолятор особого назначения закрытого типа (как будто существуют и «открытого типа» ...М.Р.) ...В мужском отделении в настоящее время содержится польский кардинал Вышинский... Можно предположить, что там находится несколько колонн заключенных для хозяйственного обслуживания».

Не вдаваясь в оценку достоверности существования лагеря или тюрьмы на Соловках после войны, ограничусь ссылкой на то, что все попытки установить содержание на Соловках Вышинского оказались безуспешными. Даже новейшая Католическая энциклопедия просто указывает, что кардинал был лишен свободы. Да еще в книге на английском «Польша после 1956 года» в главе «Возвращение Гомулки в октябре 1956 года» попалась фраза: «Кардинал Вышинский был освобожден из под домашнего ареста после почти трех лет содержания под охраной».

**
*

Перечисляя все книги о Соловках, не могу не добавить к ним еще одну: «Новые мученики российские», протопресви-

тера Михаила Польского о судьбе духовенства при большевиках, в частности на Соловках. В 1949 году вышло «Первое собрание материалов» со ссылкой на источники, на 288 страницах, и в 1957 году второй том их, на 319 страницах с альбомом снимков умученных и погибших в ссылках вне Соловков. Обе книги напечатаны Свято-Троицким монастырем Зарубежной церкви в Джорданвилле, в штате Нью-Йорк. Из-за смерти протопресвитера, дальнейший выпуск материалов, видимо, прекращен.

В первой книге на 168 странице есть групповой снимок с Соловков от ноября 1925 года 67 епископов, духовенства и церковников-мирян и среди них составитель указанных книг, тогда еще в сане бывшего московского священника. В пояснении к снимку на стр. 169 он пишет:

«Добрая половина духовенства в час съемки была занята работой и не могла явиться в Соловецкий кремль, где на фоне быв. Успенского собора расположилась снявшаяся группа».

Под снимком поименно перечислена вся группа. В альбоме второй книги есть другая очень четкая фотография группы из девяти человек на крыльце домика с надписью: «В Соловецком лагере заключенных. 1924-1926 гг. Архиепископ Иларион (упоминаемый во всех книгах о Соловках как выдающаяся там личность. М.Р.) в среде вольнонаемых рабочих — прежних монахов, оставшихся на Соловках (Они в бродовых сапогах, с длинными бородами и в черных скуфьях. М.Р.) и заключенных-сотрудников сетевязальной мастерской Филимоновой рыболовной тони».

В первой книге на 168 странице отец Польский поясняет:

«Одно время при лагере была заведена фотография и заключенные могли сниматься и посыпать свои карточки родным. Потом вскоре это было запрещено, особенно после того как большая группа духовенства успела послать свою фотографию (от ноября 1925 г. М.Р.) в разные места России и одна из них появилась в парижских «Последних новостях» 2-го августа 1927 года».

К этим двум книгам вернемся в главе о духовенстве на Соловках. Не могу удержаться от небольшого добавления и уточнения насчет фотографии на Соловках. Она продолжала существовать и в мое время, т.е. до осени 1932 года, а возможно, и несколько позже, что, однако, не исключает временного перерыва в ее работе по разным причинам в период пребывания отца Польского на Соловках. У меня, как единственная память с Соловков, сохранился и сейчас один из сним-

ков, посланных маме (три снимка стоили 1р. 50 коп.). На обороте его еще не потускнела надпись:

Ост. Соловки, 2 июля 1932 г.

...Знать, судьба такая!
Нам не дано увы! — уменья
Прозреть грядущей жизни тьму
И знать не можем мы мгновенья,
Когда отправимся в тюрьму.

Из пластинки Бим-Бома.

**

Все перечисленные авторы описывали концлагерь, населенный каэрами, духовенством, уголовниками и штрафными и вольными чекистами. Но на Соловках в первые годы параллельно существовал и другой концлагерь для политических, к которым большевики причисляли только членов партий социал-революционеров, правых и левых, социал-демократов — меньшевиков и анархистов, т.е. членов тех партий, с которыми большевики рука об руку подтачивали монархию, вместе стреляли или отстреливались на баррикадах, но в ссылках или в тюрьмах держались обособленно. Они же помогали большевикам в первые два года укреплять их власть, входили в «коалицию», пытались «существовать». Крупные деятели этих партий на Соловках не побывали, кроме двух. В воздаяние их заслуг перед революцией, Ленин вышвырнул их за границу или упрятал в довольно либеральные в начале политизоляторы. Среднее звено «деятелей на ниве народной» тосковало в ссылках по захолустным городишкам, не ведая, что «досье» их в местных «органах» пополняется и пополняется доносами и дело только за сигналом сверху.

На Соловки попали в основном рядовые члены этих партий, в большинстве безусая молодежь. Редкие из них могли щегольнуть дореволюционным стажем и никто, хотя бы строчкой, в истории России.

Перевозили их на Соловки из концлагерей под Архангельском и из тюрем Москвы и Петрограда небольшими партиями с июля 1923 года и сначала заполнили ими Савватьевский скит, а потом Мускальмский и Анзерский.

«Социалистический вестник» в номере 16-м от 1923 года первым сообщил эмиграции и социалистам всего света о закрытии Пертоминского концлагеря и переводе содержавшихся там социалистов на остров.

«Администрация концлагеря — читаем в статье — состоит из уголовных и полууголовных элементов, получающих назначение «за хорошее поведение» и заслуги перед начальством. Во власть этих элементов и отданы заключенные социалисты и анархисты. ...Несколько времени тому назад группа жен заключенных получила разрешение ГПУ съездить на Соловки для свидания... Немедленно же, по выходе на берег, они были взяты под стражу и отведены в здание, громко именуемое гостиницей...»

Условиям пребывания социалистов на острове — они там содержались изолированно от прочих заключенных с июля 1923 г. по июль 1925 г. — отводится особая глава, основанная на двух книгах их сокамерников и на информации «Социалистического вестника». Из этих двух книг одна принадлежит меньшевику Борису Сапир. Его «Путешествие в Северные лагеря» в сущности не книга, а большая статья, включенная отдельной главой в книгу на английском меньшевиков-публицистов Давида Далина и Бориса Николаевского «При-нудительный труд в Советской России». Книга с этой главой вышла в Америке в 1947 году и затем неоднократно переиздавалась и переведена на многие языки.

Вторая книга «Мои воспоминания» в двух томах написана эсеркой Е. Олицкой и напечатана «Посевом» в Германии в 1971 году. Олицкая за три десятилетия побывала и в тюрьмах, и в ссылках, и на Колыме, а не только на Соловках и все испытанное подробно изложила.

**
**

Заканчивая эту главу, добавлю, что из всех упомянутых в ней авторов в настоящее время доживают в Америке четверо: Я, Андреев-Отрадин, Борис Сапир и, вероятно, Пидгайный. Остальным, чье младенчество прошло в девяностых годах прошлого века или судьба урезала годы жизни —
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Глава II

СМУТНЫЕ ГОДЫ — ГОДЫ ТЕМНЫЕ

Кого интересует главное о дореволюционной истории Соловецкого монастыря или об условиях на царской каторге 1890-1910 годов, найдет их в приложениях во второй книге. Наша цель — рассказать историю Соловецкого архипелага за советский период, т.е. с 1921 года по 1939-ый, как микрокосма более позднего и гигантского по масштабам солженицинского «Архипелага». Советские энциклопедии, большие и малые, о ней молчат, и только первое издание БСЭ глухо заканчивает свою статейку о Соловках темной фразой: «В первой четверти двадцатого века монастырь был закрыт», не уточнив когда именно и кем: Святым Синодом, указом императора или наганами большевиков... Из энциклопедий на английском только «Американа» заканчивает справку о Соловках добавлением, что «бывшие цари и Советская власть использовали монастырь, как место ссылки политических и уголовных преступников».

Не столь давно Советы объявили Соловки «историческим и архитектурным памятником, взятым под охрану государства и ныне реставрируемым, как центр туризма на Европейском Севере СССР». В подтверждение такого почтения к прошлому Руси, в советском журнале на английском для стран, говорящих на этом языке («Советская жизнь» за январь 1968 г.), опубликован дневник Всеволода Твердислова «Паломничество в монастырь» и несколько снимков московских студентов-добровольцев его бригады, занятых бесплатной «реставрацией»: прокладывают дорожки, гоняют тачки, чистят стены, исправляют мосты и т.п. Когда-то все подобные работы выполнялись по обету богохульцами, трудниками, за что монастырь содер-жал и одевал их. Ныне таких трудников сменили комсомольцы уже без всяких обетов перед Марксом — по разверсткам райкомов, а в промежуток между трудниками и комсомольцами гнулись и загибались, подгоняя страхом, голодом, холодом и комарами, советские заключенные.

Вдоль северной стены кремля теперь появились древние пушки, прежде стоявшие врытыми в землю вместо тумб у коридора за концлагерным лазаретом. Из амбразур Прядильной башни высываются жерла пушек 17 и 18 века. Монахи па-

лили из них в дни царских торжеств. В первые месяцы концлагеря эта башня и все содержимое ее, включая пушки, при пожаре рухнула и только благодаря Соловецкому обществу краеведения из заключенных — СОК, у — башню отремонтировали и пушки втащили на прежнее место.

Твердислов новейшую полувековую советскую историю Соловков тактично обошел, но похвалил хозяйственность монахов, климат и природу острова и прежнюю роль монастыря, как российской цитадели на Севере, не преминув, впрочем, напомнить, правда, одной только фразой, что «На Соловках были ужасные тюрьмы и казематы, куда царское правительство ссылало особенно опасных ему людей и революционеров».

Какой же вывод из внешнего знакомства с Соловками сделал Твердислов? Очень немногословный, но многозначительный: «Соловки учат нас думать, оторвали нас от поверхностных суждений в городе. Вот почему мы тут и почему мы сюда еще вернемся». Действительно, глядя на обгоревшие соборы и полувековую мерзость запустения, как следы чьей-то разрухи крепкого, хозяйственного былого, у студентов даже с комсомольскими билетами, невольно возникают мысли, от которых не отвязаться и в стенах университета. За них ныне вместо Соловков сохранены пока Потьма, Владимир, Дуброво, психушки, да низовья Оби...

Надо признать, что про Соловки 1918-1920 годов мы ничего достоверного не знаем, кроме того, что монастырь существовал, монахи молились и работали, т.к. на Севере тогда были годы правительства Чайковского, белой армии Миллера и английских отрядов.

В 1921 году все хозяйство монастыря было перелано — точную дату пока не нашли — Архангельскому губземотделу, под руководством которого оно стало быстро хиреть. Тогда за дело взялся Наркомзем РСФСР, чтобы превратить Соловки в образцовый совхоз, поручив выполнение этого задания коммунисту из рабочих Александровскому. Он-то и доканал монастырское хозяйство, попутно занимаясь со своими подручными грабежом монастырских ценностей. Но на Лубянке уже облюбовали Соловки для своих нужд. Опасаясь, что хищения его обнаружатся при передаче дел, Александровский устроил поджог, при котором в первую очередь погорели все документы. «Монахов, в то время еще не изгнанных, поспешившим тушить пожар, Александровский разогнал силой, заявив, что они вносят только панику. Следственная комиссия из Архангельска в составе начальника губернского ГПУ Стуликова и

пом. прокурора Абрамовского виновных в пожаре не нашла». (Клингер, стр. 159) Вороны воронам глаз не выклонули. В другом месте вычитали совсем иное: «Здания (в кремле) были разрушены пожаром, кажется, в 1923 году, а причиной пожара был поджог, учиненный агентами белогвардейцев...» Кто же это «валит волку на холку»? ОГПУ? Нет, великий гуманист Максим Горький в очерке «Соловки» после посещения им острова в июне 1929 года. К голословным утверждениям и отрицаниям Горького порою на уровне брехни лагерного воспитателя мы еще возвратимся.

Вот как почти официально описывается советами теперь этот пожар (В книге члена Географического общества СССР Г. Богуславского ОСТРОВА СОЛОВЕЦКИЕ, на стр. 99. Издана книга в Архангельске в 1966 г.):

«...Именно здесь, в жилом корпусе, стоявшем перед Успенской башней, и начался в ночь на 26 мая 1923 года страшный пожар, что произвел в кремле разрушения, следы которых заметны и поныне... Пожар возник в два часа ночи, совершенно неожиданно. Причины его так и не удалось выяснить, но следствие не исключало поджога: контрреволюционные настроения части соловецких монахов (а их оставалось здесь еще около полутора сотен) были известны. Огонь бушевал трое суток... Пожар уничтожил или повредил большую часть кремлевских построек. Выгорели Успенская церковь и трапезная палата с часовой башней. Сгорел шатер колокольни и деревянные балки, на которых висели колокола; сами колокола упали, некоторые распаялись, спеклись... большой колокол (весом 1100 пудов. М.Р.) треснул насквозь. Погибли часть архива и библиотеки. Сгорели главы всех соборов, сильно пострадали Никольская церковь... корпуса, галереи; повреждены башни, особенно Прядильная и Успенская... Комиссия определила общий убыток от пожара в семьдесят с половиной тысяч золотых рублей».

Что-то уж очень занижены комиссией убытки от пожара! Пожалуй, что раз в десять даже в золотых рублях. Не монахов же покрывала комиссия. А у Александровского в Москве была сильная защита Шлихтёра, в ту пору занятый мирным договором с Финляндией (Клингер). В каком месяце 1922 года прибыли на остров первые чекисты, еще не установлено, во всяком случае не раньше мая и не позже конца июня, потому что в августе уже привезли белых офицеров и каэров из Архангельских лагерей. Во всяком случае, передача острова от одного органа другим «органам», как отмечено выше, прошла без пролития крови.

Наиболее достоверной датой фактического превращения Соловков в концлагерь надо считать лето 1922 года и вот почему. Клингер вспоминает:

«В некотором смысле я могу считать себя «соловецким старожилом». Привезенный с жалкими остатками почему-либо не расстрелянных или не умерших от голода заключенных лагерей Архангельска, Пертоминска и Холмогор в Кемь в 1922 году (Мальсагов уточняет: в августе месяце. М.Р.) я пробыл в Кеми всего четыре дня и прибыл на Соловки в первый же день превращения их в СЛОН».

Значит, когда «в конце 1922 и начале 1923 года монастырь стал жертвой огня», Клингер и его партия уже были на острове. В пожаре 1922 года он прямо обвиняет Александровского, но упоминая пожар 1923 года не дает к нему никаких пояснений. Мальсагов подтверждает на стр. 55-й, что «пожар осенью 1922 г. уничтожил все деревянные здания монастыря». Седерхольм (стр. 281) также относит пожар к 1922 году, не указывая ни причин, ни размеров его. Ширяев (стр. 26), прибывший на остров 17 ноября 1923 года, относит пожар Преображенского собора к 1922 году как «поджог его первыми большевистскими хозяевами острова, чтобы скрыть расхищение ценностей», не применяя слова «чекистские» т.е. тоже винит Александровского. А про пожар 1923 года у Ширяева нет ни слова. Однако полуофициальный журнал Соловецкого общества краеведения — СОК — от 1927 года (имеется в нью-йорской Публичной библиотеке. М.Р.) прямо указывает, что пожар был в 1923 году и что среди экспонатов СОКа хранятся снимки Соловков до и после пожара 1923 года. Солженицын указывает датой пожара 25 мая, очевидно, основываясь на книге Богуславского или на журнале СОКа.

Был ли один или два пожара и кем они устроены или произошли совсем случайно по чьей-либо небрежности, сейчас гадать бесполезно. Добавлю только, что в конце июля или в начале августа 1932 года кремль горел еще раз и этот пожар при страшном ветре был не менее ужасным. Сгорели оба собора и постройки между ними, а также сильно пострадали корпуса келий вдоль восточной стены кремля. Лагерный режим сразу же был круто изменен. Следственная комиссия арестовала многих вольных начальников и коллегия ОГПУ дала им разные сроки за либерализм и халатность. Этот пожар на моих глазах и его последствия я помню очень хорошо, т.к. тогда жил за кремлем в рабочем городке. Более подробно о пожаре сказано в «Завоевателях...» на страницах 55-59. Разрушения именно от этого пожара, а не от тех, что были в

22 и 23 годах, видны и поныне (См. подтверждение у М. Пришвина в очерке «Соловки» 1933 г.). Но Богуславский относит эти разрушения к 1923 году. Либо он не знает, либо — и это вернее — ему запретили упоминать о пожаре 1932 г. И только последний соловчанин Пидгайный вскользь отмечает: «кремль горел в 1941 г.» (!!). Очевидная описка или опечатка: вместо 1931 года, но и тут ошибка на год... Олехнович, находившийся в дни пожара в кремле или около него просто забыл упомянуть о нем в своей короткой летописи.

Что же стало с монахами? Энциклопедия Брокгауза называет цифру в 230 душ в конце девятнадцатого века, не считая богомольцев-трудников. По Седерхольму (стр. 289) около 700 душ перед революцией, да тысяча трудников, но тут уже явный «перехлест». При пожаре 1923 года, еще до выселения монахов с острова, их было по Богуславскому 150 человек. Вполне заслуживающие доверия цифры приводит доктор П.Ф. Федоров в своей малоизвестной книге «Соловки». В 1885 году в монастыре числилось 228 монашествующих, из них 43 священника, 30 диаконов, 96 «монастырских» монахов и 59 послушников, да еще 570 обетников — трудников, при чем больше половины монашествующих и обетников принадлежат к жителям севера России.

Клингер (стр. 160) пишет, что:

«Комиссия ГПУ, прибывшая на остров для организации лагеря, потребовала списки монахов, переносивших все ужасы и издевательства «аграрных» властей, но не покидавших острова... Настоятель обители и наиболее видные лица соловецкого духовенства были расстреляны в монастырском кремле, остальных монахов чекисты послали на принудительные работы в тюрьмы центральной России, Донецкого бассейна и Сибири, и лишь небольшому проценту братии — около 30 человек — разрешили остаться на Соловках, так-как ГПУ нуждалось в «спецах».

Седерхольм передает (стр. 290), будто Советская власть, достигшая Соловков в 1918 году, часть монахов убила, часть отправила в тюрьмы, часть — служить в Красную армию, в общем — типичная лагерная параша, проверить которую у него не было времени.

ВЧК декретом ВЦИК, а от 6 февраля 1922 года была упразднена и создано ГПУ. Следовательно «Комиссия ГПУ» не могла прибыть на остров раньше мая 1922 года, а поскольку в тушении пожара в конце 1922 года хотели помочь «еще не изгнанные монахи» (Клингер, стр. 159), то выселить или изгнать их на материк до поздней весны 1923 года было бы

физически невозможно. Связи с материком остров зимой и весной, примерно до середины мая, не имеет. По той же причине эти «полуторы сотни» монахов должны были быть очевидцами пожара 1923 года, был ли он в начале года по Клингеру или в ночь на 26 мая по Богуславскому.

Есть еще три версии о судьбе монахов. По первой, у Ширяева (стр. 21 и 39):

«Когда последний Соловецкий архимандрит уводил чернечев в Валаам в 1920 году (в то время и до 1940 года Валаамский монастырь находился на территории Финляндии, т.е. за пределами РСФР. М.Р.), иные из них по древности лет или по усердию остались в обители, а древние книги и рукописи... скончали в потаенном месте».

По второй версии, Пидгайного:

«...В 1919 году, видя невозможность существовать, почти все соловецкие монахи покинули остров и уехали в Лондон, где обосновались на так называемом Соловецком подворье».

Это из книги «Украинская интеллигенция на Соловках» стр. 6 и 7, а в книга «Недострелянные», на стр. 52-53 он добавляет:

«Вся подготовительная работа и сама эвакуация легли на широкие плечи иеромонаха Никодима, но сам Никодим остался на острове и умер много лет спустя в ночь перед выселением его на материк».

Пидгайный оставил целое «жизнеописание» этого Никодима от младенчества до кончины, хотя в годы его пребывания на острове там не оставалось ни одного монаха и не было даже старых соловчан для сочинения легенд о Никодиме и отъезде в Лондон, конечно, на английских кораблях, капитаны которых, разумеется, знали, с каким позором ретировалась от соловецких стен английская эскадра в 1854 году...

Третья версия — Зайцева (стр. 13). Не указывая года, он пишет:

«После ограбления монастыря, чекисты начали разгонять монахов. Настоятель, архимандрит и несколько иеромонахов были увезены на материк и там расстреляны. Группу престарелых монахов, около сорока человек в возрасте от 55 до 80 лет, решительно заявивших готовность сложить свои кости на острове, чекисты все же оставили».

Все перечисленные версии далеки от правды и противоречат одна другой и только в одном они сходятся — в том, что какую-то часть монахов ГПУ оставил, но отнюдь не из милости и сострадания, а потому, что для ухода за каналами, огородами, скотом, для ловли рыбы и засола ее неопытными заключенными нужны инструктора-специалисты, а такие были

только среди монахов. Из них и отобрали наиболее опытных и физически крепких.

Кого именно из монастырского начальства, когда и почему расстреляли, мы пока убедительных сведений не нашли. Все первые летописцы — Клингер, Ширяев, Зайцев — общались с оставшимися на острове монахами-инструкторами. Трудно поверить, чтобы монахи скрыли от них подробности расстрелов, еще труднее поверить, чтобы монахи оставались о них в неведении. Даже такой сведущий и авторитетный соловецкий узник с 1924 года, как протопресвитер Михаил Польский, собравший сотни имен уничтоженного духовенства всех рангов в ссылках, тюрьмах, в подвалах ГПУ или в церквях в часы службы, или на глазах семей, ни словом не обмолвился о судьбе монастырского начальства. И только на странице 211 первого тома из общего списка погибших узнали, что:

«Архимандрит Вениамин, последний настоятель Соловецкого монастыря, жил отшельническою жизнью в одинокой избе в окрестностях гор. Архангельска. Ночью местные большевики сожгли его избу вместе с ее наследником, предварительно забив окна и двери».

Комментарии, как говорится, излишни, потому что этими двумя фразами сразу ставятся под сомнение все приведенные выше версии летописцев. Более чем вероятно, что выселенное на материк монастырское начальство сразу же или вскоре официально получило «статус» ссыльных на Север и только сохранившие родственные связи рядовые монахи могли вернуться в отчие дома.

**

Освободившись от излишних, ненужных монахов и приняв первые партии заключенных, СЛОН стал единоличным хозяином Соловецкого архипелага и его богатств. Тут как раз приспел момент внести ясность в расшифровку СЛОН или СКЛОН: Соловецкий лагерь особого назначения или концлагерь? У меня, да и у многих других, в приговорах коллегии или троек ГПУ стояло: заключить в Соловецкий концлагерь (без прописки «особого назначения») на такой-то срок, обычно с добавлением «считая срок с момента вынесения приговора», т.е. без зачета следственного периода, а он часто тянулся по году.

Другой, уже более авторитетный источник — это недавно упомянутый журнал СОК.а. Там записано буквально вот что:

«В 1923 году все Соловецкие острова перешли в ведение

Управления Соловецкими лагерями особого назначения ОГПУ и на них был сформирован концлагерь».

Это из отчета СОКа за 1924-1926 гг., выпуск третий, тираж 250 экз. Карлит № 4386.

Лагерь «особого назначения» и есть концлагерь и нет смысла такое звучное название растягивать на три слова...

**

О судьбе первых соловчан есть два противоположных свидетельства. Ширяев на стр. 41 пишет:

«Первые узники Соловецкой каторги прибыли на разоренный остров в 1922 г. Это были в подавляющем большинстве офицеры Белых армий ...Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилых баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами».

Первым узником из офицеров на Соловках был уже неоднократно цитированный Клингер. Перечисляя множество зверств соловецкой администрации, он должен был знать и непременно рассказать, как, когда были потоплены баржи с офицерами в 1922 году. Этого в его воспоминаниях нет. Нет подтверждения и в книге Зайцева, вскоре привезенного на Соловки. Не нашли упоминания о том ни в одной из книг о Соловках. Впрочем, обычно всякая лагерная «параша», т.е. выдумки или сплетни часто сродни фактам, если «параши» эти не сфабрикованы в ИСЧ и ею не пущены через стукачей. А факт, если верить книге на английском Георгия Попова, таков:

«21 ноября 1921 года восемьсот царских офицеров, включая моего брата, были выведены из концлагеря вблизи Архангельска под предлогом отправки их морем на Соловки... Они уже знали, что Архангельская ЧК потопила не один транспорт «контрреволюционеров» на пути в Соловки. Делалось это так: заключенных грузили в баржи и, под охраной чекистов в катерах, выводили пароходом в море, а когда город оставался далеко позади, с катеров стреляли по баржам и они с людьми погружались в море. Это подтверждают многие очевидцы. Вот почему восемьсот офицеров боялись, что их ожидает та-кая же судьба».

На самом деле, как узнаем от Попова дальше, их не потопили, а расстреляли на пустынном берегу Двины. Русский конвой для этой «операции» заменили венгерским... (Подробнее прочтете в его книга ЧЕКА, глава вторая, стр. 215-223).

П. Милюков в своей книге «РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ» (т. 1-й, гл. 5-я, стр. 198, 199. Париж. 1927 г.) добавляет, что:

«Лагерь смерти в Холмогорах, куда свозились со всех концов России пленные офицеры, был знаменит тем, что еще до устройства лагеря этих офицеров топили целыми тысячами на баржах и расстреливали».

В эмигрантских газетах в Риге, Берлине, Париже, Варшаве за 1919-1922 года тоже печатались подобные сообщения. Вот, возможно, откуда лагерная «параша» заимствовала «две баржи с офицерами», заменив Архангельск Соловками. Впрочем, одна баржа или баркас была действительно отведена из соловецкой бухты в море и содержимое ее потоплено, но офицеров на ней не было и произошло то в конце семнадцатого века при «соловецком сидении».

«Бунтовщики — писал П. Казанский, богослов и историк Московской Духовной Академии — потопили новоисправленные богослужебные книги (присланные им патриархом Никоном), как несогласные с их заблуждениями»...

Почти все летописцы согласно утверждают, что выбор Соловецкого монастыря на острове, отрезанном от материка на шесть месяцев в году, был идеей Дзержинского и Глеба Бокийя. Идея, впрочем, не нова. Во многих странах наиболее опасных или государственных преступников для большей уверенности, что не сбегут, держат или держали на островах. Так, Франция в своей колониальной Кайене для уголовных, для политических выделила там Дьявольский остров, на котором, правду сказать никогда не содержалось больше семи человек (один из них был Дрейфус, по нашумевшему процессу в Париже); в Америке, на островке в бухте против Сан-Франциско была «самая надежная» тюрьма Алькатрац; Наполеона союзники отвезли на остров Св. Елены и т.д., примеров сколько угодно, вплоть до Шлиссельбурской крепости на Неве у Ладожского озера и до Сахалина, где в девяностых годах — годах его «расцвета» — содержалось до 20 тысяч уголовных каторжан и ссыльнопоселенцев и до пятидесяти политических преступников.

Когда выяснилось, что политических каторжан очень трудно изолировать от вольного населения (например, на Нерчинской каторге или в главных каторжных централах — Орловском и Александровском) и они оттуда продолжают мутить народ, то Иркутский генерал-губернатор Селиванов в поисках новых мест и форм содержать их, в 1908 и в 1910 гг. выдвинул проект «изолировать политических преступников от населения устройством каторжной колонии на Ольхоне» — на острове, площадью около 730 кв. км. (т.е. втрое больше Соловков) у северо-западного берега Байкала, куда по тем временам, три года скаки — не доскачишь. Проект хотя был одобрен и принят, но нашлись мастера втыкать палки в царскую тюремную колымагу (в советскую колесницу — не находятся...) и проект захирел.

ГЛАВА III

«СТОЛЫПИНСКИЕ» У НОВЫХ ХОЗЯЕВ

Едва ли нужно объяснять, что это за вагоны для арестантов, появившиеся в России после бунтарского 1905 года. Оказалось, что они пришли более чем кстати и другому строю. А в период особого разгула террора, т.е. с 1930 и, пожалуй до пятидесятых годов, они растворились в массе арестантских эшелонов из товарных вагонов с зарешетчатыми или оплетенными колючкой люками, с охранниками на тормозных площадках, а иногда и с пулеметами на крышах вагонов.

До этого периода осужденных «органами» перевозили по жел. дорогам почти всегда в «столыпинских», зачастую прицепляемых к пассажирским поездам, благо внешне они мало отличались от обычных почтовых вагонов. Со всех окраин страны в них, обычно, свозили осужденных в два сборных пункта: в московские Бутырки и в петроградские «Кресты». Если путь для арестантов был дальний, «отдыхали» в промежуточных пересылках, так сказать «перевалочных пунктах»: для следующих с Дальнего Востока — «широкая страна моя родная! — в Чите, Верхнеудинске, Новосибирске и Свердловске, для туркестанцев и кавказцев — в Ташкенте, Ростове и Харькове. Тут, продержав этапируемых по несколько дней, к ним добавляли пополнения из других мест, и тогда плотнее набивались «столыпины». Летописцы не всегда сообщали, каким путем их доставляли в столицы.

Мальсагов, например, пишет, что от Грозного до Владикавказа его перевозили в арестантском вагоне, а как он ехал дальше с остановкой в ростовской тюрьме и после — до Таганки — не пишет. Видимо, не столь уж плохо по тем временным, иначе не умолчал бы. Той же неясностью отличаются и остальные мемуары.

Только из столиц до Соловков и Вишеры всех везли в «столыпиных». Мальсагов даже уточняет, что «из Петрограда — Ильич тогда еще дышал — арестантские этапы в «столыпиных» отправлялись раз в неделю по четвергам. Это было в 1924 г. А у Зайцева находим и подтверждение: В 1925 году из Бутырок этапы отправлялись: первый — 30 мая, второй — 6 июня, третий, его, — 11 июня, каждый в составе 600 человек (стр. 36).

Ширяев осенью 1923 года от Москвы до Кеми ехал девять дней (стр. 29):

«Клетки в три яруса, в каждой клетке — три человека,* в коридоре — решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища — селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона, потом узнали: мертвца, чахоточного, взятого из тюремной больницы».

Еще легче был путь у Зайцева в июне 1925 г. из тех же Бутырок (стр. 46):

«Наш поезд с 640 арестантами оказался экстренным, для курсантов школы ГПУ. Конвоиры — курсанты, будущий комсостав для войск ГПК, были весьма корректны и предупредительны. Сами приносили кипяток и покупали нам на больших станциях что что заказал и даже дешевле в цене, чем мы платили в тюрьме. На мою просьбу остановить бесчинства шпана, курсанты перевели ее в соседний вагон. За двое суток мы прибыли в Кемь».

Зайцев, вообще не щедрый на похвалы, тут умилился комвою, не зная причин его вежливости, о которой и мечтать никогда не могли этапы каэров и уголовников. Конвой из курсантов сопровождал этап попутно, он направлялся в Соловки, чтобы оттуда развести по политизоляторам всех, содержавшихся на Соловках социалистов. Когда этап в Кеми шагал строем к пересылке уже под лагерной охраной и конвоир по-нуждал Зайцева не отставать и «держать затылок», шедший с боку Дукис, комендант Лубянки, крикнул лагерному «попке», как передает Зайцев (стр. 48):

«Дай ему прикладом, гав-гав-гав! Видишь, набрал вещей!.. На дачу что ли собрался? На Соловках покажут тебе дачу! — и снова мат. А Дукис (или Дукис по Клингеру) отлично знал, кто я и как попал к ним в когти. Тип из «надзора» сильно толкнул меня в бок прикладом. Я упал, а вещи разлетелись. Спасибо соседям: помогли собрать и донести».

Всего через два месяца после Зайцева везли в тех же вагонах Седерхольма. Разрыв по времени небольшой, а по условиям — не дай, Боже! Вот краткие выдержки из его «летописи»:

«...Уже первая ночь в «столыпинском» была столь ужасна,

*) Очевидно, описка. Не в каждой клетке по три человека, а в каждом ярусе клетки, почему они и лежали всю дорогу. Это еще по — Божески. После набивали и по двадцати, а то, писали, и по столько, что и назвать цифру боюсь...

что моя следственная одиночка № 26 показалась бы сейчас верхом блаженства... Тут я не мог даже повернуться! Сосед-старик крестьянин кашлял мне прямо в лицо,, а под утро сплевывал кровь... С верхних полок прямо на наши лица сыпался сор, а вши и блохи окончательно одолели нас. Верхом моего несчастия был дрялый священник на третьем ярусе, кто хотел бы, но не мог спуститься и пойти в уборную. Его жидкость протекала вниз между полок и капала прямо на нас и на мои продукты... В одной из клеток ночью умер чахоточный татарин и люди оттуда с шумом требовали убрать труп. Особенно истерично кричал Шевальер, инженер-американец из Луизианы, лежавший рядом с татарином... Когда приказ умолкнуть не помог, начальник конвоя из нагана пристрелил ему предплечье. Шевальер утих, и до самой Кеми оставался без перевязки. В Кемперпункте ему отрезали руку... Я подметил, что двум из нашей клетки — Калугину и Кости-ну — конвой оказывает предпочтение, выпуская их в уборную. Оба они оказались осужденными чекистами, а Калугин к тому же и кокainистом с запасом наркотика. Сделав «понюшку», морда его принимала выражение идиотского удовольствия. Однако, я воспользовался его соседством, и через него на мои деньги конвой купил мне хлеб, яйца, молоко и сало. По дороге в уборную, Калугин однажды былбит уголовниками котелком по голове, в другой раз облит кипятком и кто-то кричал: «Вот он, подлый стукач!» — Ладно, ладно — отвечал им на все Калугин. — Скоро уже Кемь. Там не шутят. Вы узнаете счет чекиста и заплатите по нему».

Никонов-Смородин трижды, в 1927 и 1928 годах путешествовал в арестантских вагонах (стр. 73, 81, 89, 91 и 93). Впервые — летом, когда раскрыли его подлинную фамилию и дела:

«Конвой в Новороссийске привел меня с этапом к зловещим вагонам. Каждое купе в них забрано в клетку и расчитано на шесть человек по числу спальных мест (по нормам царского тюремного ведомства! М.Р.), а нас набили туда по четырнадцати... Приютившись среди груды кое-как сваленных вещей в неудобных позах, с остановкой в Екатеринбурге, 27 октября 1927 г. добираемся до Москвы. Бутырки... После «Октябрьских торжеств» снова на этап в Казань на следствие и расправу за организацию восстания в 1919 году. Чем дальше отъезжали от Москвы, тем легче себя чувствовали. Русские конвоиры и татары относились к нам с сочувствием, покупали на наши деньги продукты и папиросы и опускали наши письма в почтовые ящики вопреки правилам... Ждал расстрела, но его

заменили десятью годами Соловецкого концлагеря (т.е. применили «ленинскую амнистию»). Что ж, и в Соловках солнце светит!.. В конце мая 1928 г. я вновь попал в могучий поток обреченных на каторгу. Снова в Бутырках, откуда теперь уже каждый день отправляют этапы на Соловки и Вишеру».

В 1928 г. и каждый день по этапу? Ну, это уже отдает «головокружением от успехов»: 365 дней по 600 чел. — это 220 тысяч новых арестантов только из Бутырок, без «Крестов», без Шпalerной, а в Соловках и на Вишере в том году не было и ста тысяч. Оно, конечно, у страха глаза велики...

«Мой этап — продолжает Никонов — завернул в Петербург. В пути выбрасывал почтовые открытки близким с просьбой к неизвестному опустить их в почтовый ящик. Уже на Соловках узнал, что все они дошли по адресу... К счастью, в нашей клетке штаны не было и мы не волновались за наш арестантский скарб... Наконец приехали. Под крики и ругань конвоиров толпа за толпой валят из вагонов люди, нагруженные вещами. В хвост партии поставили пятьдесят женщин и мы — от пятисот до шестисот человек — через полчаса ходьбы остановились у бараков, обнесенных проволочными заграждениями».

Розанов (март-май 1930 г.) рассказывает:

«С полным правом могу причислить себя к советским этапным рекордсменам по быстроте и расстоянию, покрытому в столыпинских вагонах. От Читы на восток до Хабаровска, а от Хабаровска до Ленинграда на запад с остановками в новосибирской пересылке 11 тысяч километров, да от «Крестов» до Кеми тысяча с хвостиком — посмотрел родину... Не зря, видно, нас на киноленту накручивали в читинском ГПУ. Не зря порою и к скорому поезду прицепляли.

...Почти половину клеток в «столыпинском» занимали мы, манчжурцы, народ теперь безденежный. А остальные этапники — дальневосточники с мошной, и конвой покупал им то молоко, то рыбу, то шаньги. На станциях по Сибири бабы еще торговали продуктами. На Пасху в новосибирскую тюрьму сердобольные сибирячки по традиции нанесли несколько пудов снеди и при дележе нам, этапникам, тоже кое-что перепало. Да фунтов пять сухарей отсыпал мне из торбы мужичёк, явно по ошибке загробастанный милицией (это ГПУ только не ошибается!..) Написал для него жалобу прокурору и — говорите после этого, что чудес не бывает! — выпустили чалдона.

...В пути за Байкал из уборной выбросил открытку маме, что еду на Соловки «яко наг, яко благ»... Не вымерли пока

сердобольцы — дошла открытка, только лучше бы она пропала. Старушка-мама трое суток металась от этапа к этапу у Бутырок, проливая слезы, а нас без заезда в Москву да прямо в Ленинград. Успели таки выгрузить нас в полдень 1-го мая и на открытом грузовике — с «Воронками», то было еще туго — да по Невскому, да навстречу волнам демонстрантов! После за такую «политическую неподкованность» весь конвой, а уж начальник его непременно, угодил бы на Колыму. Из рядов демонстрантов порой слышались молодецкие выкрики к нам: «Не горюй, братва! Еще свидимся!»

...Ну, и славно же покормили нас в тот день в «Крестах». Такого густого супа с макаронами и мясом, да еще до отвала, с добавками, никогда больше не было.

...Через девять дней снова на этап, уже последний. На тюремном дворе еще раз проходим нудный шмом-обыск — и невской белой ночью, подбадриваемые освежающим матом конвоя, наконец то достигаем ж.-д. путей. По массе колыхающихся рядов сообразил, что едва ли хватит для нас «столыпинских». Так и оказалось: подали состав из двадцати пригородных пассажирских вагонов, и давай нас туда натискивать. Справились, дело им знакомое! Тысячи две понапихали. (Ну может, я прихвастнул, какихнибудь 10-12 сот, да и вагонов не двадцать два — надоровался бы паровоз, а, может, 12-14.) Но все-же, и сбросив со счета несколько сот душ, пришлось поработать локтями, чтобы приступиться на краешке полки. В пути как-то утряслись, вагона не загадили и хотя по ногам и мешкам, а добирались туда, куда и Ленин пешком ходил... Вот уже позади Кемь с ее Курилкой: наслушался о нем в «Крестах» изрядно. Пронеси, Господи!.. Пронес! Поехали дальше на север, вот лишь бы не в Хибины ради каких-то апатитов. Не доехали. Стал поезд. Тут что ли? Так и есть! — А ну, давай вылезай! — раздалась команда. Двери вагонов раскрылись и мы, как стадо баранов, двинулись к выходу.*

Отсюда начиналась прокладка Лоухи — Кестеньгского тракта к Финляндии. Было 11 мая 1930 г. и солнце не скучилось на лучи, но зима все еще удерживала свою власть».

Годом позже, в мае 1931 года в Кемь прибыл один из последних «привилегированных» этапов, т.е. еще в «столыпинских», но уже ясно отражавший обстановку первой пя-

*) С этого окрика конвоя и начинается книга Розанова. Все до этого изложенное здесь, в его книге, из-за экономии места, отсутствовало.

тилетки. С ним привезли профессора В. В. Чернавина, но уже не в СЛОН, а в Соловецкие и Карело-Мурманские исправительно-трудовые лагеря ОГПУ — в УСИКМИЛ. Из Ленинграда до Кеми этап добрался только на шестой день, а пайком на дорогу снабдили из расчета плановых двух суток — по килограмму хлеба, да по две селедки, а от конвоя — два ведерка горячей воды на 60 чел. на весь путь, чтобы не подмывало рваться в уборную (стр. 233 -234). С такого пайка и от таких забот конвоя люди из вагонов под команду «Вылейт пулей!» едва-едва вываливались.

«Мы еще больше ослабели на ноги, чем когда покидали «Кресты», мы были не в силах нести, что взяли в дорогу, но конвой не давал передышки и гнал нас по топкой дороге и талому снегу, пока мы не подошли к колючей ограде с вышками для часовых и не прочли на приемных воротах надпись: МОРСПЛАВ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Кемперпункт, значит, не на долго пережил своего Курилку — закрыт, и пересылкой стал Морсплав, куда раньше с Соловков буксировали плоты с лесом для выгрузки и перевозки на иностранные лесовозы, вначале самими заключенными, потом «вольными» ссыльными крестьянами. Часть леса отсюда своими пароходами СЛОН отвозил в Архангельск и там Севлаг таким же способом, как на Морсплаве, «заряжал туфту» иностранцам, пользуясь ссыльными.

**
*

Любителям исторических параллелей пригодится такая справка со стр. 118-й книги Н. Б. Голиковой: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ, Изд. МГУ, 1957 г.:

«Вологодская пересыльная тюрьма Петровской эпохи являлась местом сбора всех колодников, приговоренных к ссылке в Сибирь. Оттуда ссыльные отправлялись далее уже целыми партиями В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЧЕЛОВЕК (Разрядка моя). Иногда в ожидании такой партии колодники просиживали в Вологде несколько месяцев».

Комментарии, как говорится, излишни... «Прогресс» очевиден.

Глава IV

ПОПОВ ОСТРОВ — ПРЕДДВЕРИЕ ГОЛГОФЫ

Кемперпункт или пересыльно-распределительный пункт Соловецкого концлагеря на Поповом острове вблизи Кеми — это его чистилище, первые круги Дантова ада. Тюремная обстановка позади, впереди — лагерная, или, как образно до весны 1930 года втолковывали всем новичкам: «Тут кончилась власть советская и началась власть соловецкая».

Хуже всего угодить на перпункт зимой, когда море замерзло, а этапы из тюрем хотя и реже, но продолжают поступать. Бараки переполнены, шпана бесчинствует, начальство звереет; холодно, голодно, страшно и вши с клопами заедают. А и того хуже попасть в это время прямо с перпункта или этапа, да на лесозаготовки или прокладку трактов. В 1923-1925 годах их еще не было, а потом начались и с каждым годом все больше и больше. С 1928 года этапы на них направлялись уже прямо из тюрем столиц, минуя Кемперпункт. Лучше тем, кто попал в пересылку в навигацию. Их, обычно, с первой оказией отправляют на Соловки либо на большом винтовом пароходе «Глеб Бокий»,* либо в барже «Клара Цеткин» на буксире меньшей «Невы».

Первые соловчане Клингер и Ширяев пробыли на пересылке лишь по несколько дней и не оставили о ней своих записей. Зато довольно обстоятельно описана обстановка там Маль-

*) Переименован «в честь» члена коллегии ОГПУ монастырский пароход для богомольцев, под новым названием которого разобрали его старое: Ширяев — «Святой Савватий» (стр. 117), Клингер — «Жижгин» (стр. 194), а Никонов — «Архистратиг Михаил» (стр. 227) ...Вероятно, прав Никонов, потому что на монастырском пароходе почти под таким же названием — «Михаил Архангел» — в 1918 году английские войска спустились по Белому морю на юг и заняли Онегу (смогр. стр. 309 «Морской истории России за 1848-1948 гг.» М. Митчеля, на английском). Другой монастырский пароход назывался «Соловецкий», переименован в «Новые Соловки», а третий, вероятно, «Надежда» назван «Нева». Олехнович пишет (стр. 58), что «Нева» в 1931 или в 1932 году в пути из Архангельска на Соловки со всей командой пошла ко дну, а причины гибели так и не установлены.

саговым, даже с приложением плана, Клингером за зиму 1925 года, когда его отправили с острова досиживать последние недели в пересылке (стр. 206-209), Седерхольмом за сентябрь 1925 г. и Зайцевым за июнь 1925 г. и за зиму 1927-го. (стр. 78), а Никоновым-Смородиным за июнь 1928 г. (стр. 92-95).

Наиболее ясное описание пересылки дал Бессонов:

«Попов остров небольшой, километра три в длину и два в ширину, связанный с материком дамбой и мостом. На юго-западном его берегу расположена пересылка. С трех сторон этот кусок сплошного камня в полкилометра в длину и в одну треть в ширину омывается морем. Здесь нет ни одного дерева. Со стороны моря он окружен колючей проволокой, от суши — высоким забором. За проволокой и забором вышки часовых. От ворот в длину, как «линейка», настланы доски. Здесь летом, а иногда зимой, происходит поверка. Говорят, что лагерь начат при постройке Мурманской жел. дороги (plenными немцами и австрийцами. М.Р.), продолжен англичанами и закончен большевиками» (стр. 167).

В книге Мальсагова на стр. 80-й напечатан план пересылки, при котором указано назначение каждого из 39 помещений, в том числе восемь бараков для этапных и рабочих. Остальные постройки для начальства, охраны, конторы, мастерских, карцеров, каптерки и т.п., включая восемь избушек для часовых за оградой. От ворот «линейка» уже с 1924 г. называлась «Невским проспектом»... Вот на этот «проспект» и привели его этап. Дадим теперь слово Бессонову:

«Нас было около ста человек, и над этими голодными, истощенными и заморенными людьми измывались 25 чекистов. С палками в руках, в самой разнобранной одежде, с малиновым цветом на шапке и на петлицах сбежались они к нам со всех сторон. Это была соловецкая аристократия — внутренняя охрана из бывших сотрудников ГПУ, наше начальство. Они изощрялись один перед другим, но чего они хотели от нас, ни мы, ни они не понимали. Мне кажется, это были люди, перешедшие в стадию зверя, которому нужно порычать. Стоял сплошной никому не нужный рев. Вдруг сразу несколько человек вытянулись по военному и заорали исступленным голосом: — Смирно! Товарищи командиры!..

Шел помощник командира полка, бывший чекист, бывший проворовавшийся начальник конвойного дивизиона Соловецкого же лагеря. Теперь тоже арестант. — Ты что? Ты где? Как ты стоишь? — переплетая каждую фразу руганью, заревел он на одного из нас. — Помни, что ты в лагере ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ! — кричал он, ударяя на последние два

слова. — В карцер его! — и опять ругань. — Пусть знают, сукими дети, что они на СОЛОВКАХ, — растянул он последнее слово».

Бессонов забыл уомянуть, что слышал каждый, вступивший на соловецкую землю. На Поповом острове и на материковых командировках это был вопрос к этапу: — Кто раньше работал в органах ЧК, ГПУ, милиции или уголовного розыска? Кто осужден по службе в Красной армии? Выдите из строя на левый фланг.

На новых лесных и дорожных командировках на материке с 1927 года к этим вопросам добавляли еще такой: — Кто здесь инженеры, техники или десятники по лесному (или дорожному) делу? Отойдите сюда.

Этих сразу назначали производственным начальством без оглядки на их статьи и срок. Иногда — но это уже проявление личной инициативы начальства — отделяли в сторону тех, кто вторично попал в лагерь. Порою таких «миловали» более легкой работой, порою — наоборот.

Мальсагов (стр. 83-84) объясняет вызов тех, кто работал в «органах», милиции, уголовном розыске тем, что их, якобы, немедленно убьют уголовники. Это не совсем так. Уголовники знают, чем пахнет такая расправа и решаются на нее только в случаях, когда известный им работник милиции или агент уголовки, или судья превысил на воле по отношению к ним существующие законы. Преступный мир тоже имеет свой «кодекс возмездия» и своих судей. Причина отсева лагерем «своих» иная: знать сразу же, на кого можно положиться, кому доверить винтовку, дать «право» сколоверчения и отдельную нару в родственной семье.

«Обыскав этап, продолжает Бессонов, нас распределили по ротам и к вечеру развели по баракам. Мой барак шагов сто в длину и двадцать в ширину. Несмотря на мороз, дверь открыта, и все же ужасающий воздух... Все арестанты были дома... Нары в четыре ряда, идущие в длину барака, были сплошь завалены лежащими и сидящими людьми с изможденными, усталыми лицами... Внизу мороз, наверху нечем дышать. Под двумя тусклыми лампочками сгрудились голые тела с бельем и одеждой в руках — бьют вшей. На одном конце барака загородка. Там «аристократия» — наш командный состав. На другом у окна — столик, лучшее место и тоже «аристократия», но денежная... Вот где придется жить...

...Прозвонил колокол. Тишина сменилась прежним диким ревом. На середину барака вышел командир роты Основа: — На поверку становись! — исступленно заорал он. — Просить

что-ли? Выгоню на мороз — пожалеете... А тебя, Калинка, что, отдельно просить? Делай себе гроб! Вгоню в него! — продолжал издеваться над стариком Основа.

— Стыдно вам, товарищ командир, глумиться над старостью.

— Ты отвечать еще?! Дежурный, в карцер его. С поддувом. ...Подожди, я сам отведу.

Барак притих от мерзкой сцены... Наконец, пришла и ушла «проверка», гремя шпорами и шашками. — Калинка, сюда! Да не одевайся. Все равно раздену и поддувало открою, — опять заревел Основа. Я видел, как он взял старишку за шею и толкнул его с крыльца так, что тот упал. На Поповом острове были устроены особые карцера, построенные из досок и никогда не отапливаемые. Чтобы арестованному было холоднее, там открывали окно, а то еще вдобавок и раздевали до гола.

...Свободного места, т.е. тех восьми вершков, которые мне полагались на нарах, не было и я расположился спать на единственном столе.

День на Поповом острове начинался рано. Летом в пять, зимой в шесть часов утра звонил колокол (В те же часы «продолжительный, пронзительный гудок оглашает Большой Соловецкий остров» сообщает Зайцев на стр. 69). Кто постарше, первыми вскакивали и бежали за кипятком. Его давали только по утрам, да и не всем хватало. Воду привозили из Кеми по жел. дороге (в двух цистернах). Чтобы согреться днем после мороза, покупали кипяток на кухне за продукты или деньги. Умывались зимой снегом.

...После утренней проверки, подобной вечерней, читали наряд на работы. Весь барак был в расходе: на пилку и укладку дров, на заготовку льда, на водокачку, на лесопилку, на погрузку и разгрузку и т.п. Нарядчик вызывает, конвой окружает раздетых, голодных, уставших каторжан и выводит их на работы. На внутренних работах начальство свое, из арестованных. Хотят выслужиться: гонят, доносят, и нет никого хуже их. На внешних, за проволокой — красноармейцы конвойного дивизиона. Бывали работы иочные. Ожидали какую-то ревизию из Москвы и наше начальство решило для нее украсить остров дорожками. Целый месяц день и ночь около тысячи человек заняты были на этих дорожках.

...Полдень. Колокол. От кухни к баракам идут «чекисты» с бачками, наполненными рыбой. За ними, отставая свои права, с руганью, а иногда и дракой, получает свой обед шпана. Затем наливают суп и нам. Он должен быть с рыбой, но ее в нашем бачке на трех нет — одни сущеные, разваренные ово-

щи. Рядом обедает группа цынготников. У некоторых щынга задела только десны, другие уже еле-еле двигаются и ходят скрючившись. Первое время мне даже есть было нечего — не было ложки. На Поповом острове не выдают ничего — устраивайся, как хочешь. Открыта, правда, лавочка, а деньги хоть воруй. У большинства арестованных есть родные, которые недоедая сами, посылают продукты и деньги своим близким. Остальные пытаются за их счет, получая остатки хлеба, обеда и ужина, а зачастую поддерживаются и посылками. Умереть с голоду не дадут.

...День кончался поверкой. Затем приносилась «параша» и выход из барака запрещался. Всего на Соловецком острове сидело около шести тысяч, на Поповом их было тысячу пятьсот (Это весной, перед навигацией 1925 г., т.е. перед отправкой с перпункта на остров. М.Р.)

Всех сидящих — продолжает Бессонов — можно разделить на четыре категории. Первая — из исключительно привилегированных, бывших сотрудников ГПУ, отправленных сюда за «должностные преступления» — за воровство, взятки и т.п. Они физически не работают и занимают командные и административные должности. Из них состоит также внутренняя охрана для конвоирования работающих.

Вторая категория — «политические» из социалистов правого и левого толка. Они одеты, сыты, на лучшем пайке, не работают, имеют свой коллектив и старосту. Их не расстреливают. Я не говорю об исключениях. Причина — поддержка их западными социалистами и их организованность, как следствие неприменения к ним смертной казни. Социалисты помешались в отдельном бараке и связь с ними не разрешалась. Их было около ста пятидесяти мужчин и женщин.

Третья категория — обвиненные в различных контрреволюционных заговорах, делах, в шпионаже, восстаниях, по церковным делам и т.п. Сюда входит духовенство, белое офицерство, казаки, кавказцы и много возвращенцев из заграницы. На мой взгляд, на Поповом острове нет действительно совершивших те к-рев. преступления, которые записаны у них в приговорах ГПУ. Всякого кто на самом деле участвовал в том, что приписано, Советская власть не посыпает на Соловки, а расстреливает. Другого наказания таким нет. На Соловки отправляют второстепенных и большую частью по сфабрикованным делам».

Этот последний вывод Бессонова согласно повторяется всеми «летописцами» от Клингера до Солженицына, в част-

ности Ширяевым (стр. 50), у которого и заимствуем следующий абзац:

«Основную массу соловецких каторжан того периода — 1922-1927 гг. — составляли каэры, осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами каэров были офицерство (как белое, так и привавшее революцию) и духовенство. Но, кроме них, в этот разряд попадали самые различные лица: камергеры Двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик в прошлом и кавказские мстители-кровники; фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной го-довщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их деньгищики, профессора, финансисты, влюблечики, вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы... кого только не было! Термин «бывший» или «знакомый с НН» служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на Соловки, а к расстрелу. Действительными, активными контрреволюционерами можно считать лишь офицеров Белой армии, хотя и амнистированных декретом Ленина, но все же ссылаемых и истребляемых».

Вернемся к Бессонову.

«К четвертой и последней категории — пишет он — относятся уголовные преступники, главным образом шпаны, урки, — мелкие воришки, торбохваты, выросшие в советские годы. Уличенные на воле в краже, они по суду получали короткие сроки исправдома и отбывали их в значительно лучших условиях. В Соловки отправлялись те, о которых говорит пословица «Не пойман — не вор».

Да, верно: не пойман, но были судимости, есть подозрение, к тому же имеются приводы в уголовный розыск, как задержанного при облавах. Этого вполне достаточно «органам» отправить молодца на север в родную среду для повышения квалификации... «Непойманный» доставлялся на Соловки в первые годы по 49 статье потом, по новой редакции Уголовного Кодекса, по 35 статье или как СО — социально-опасный. Но поскольку это СО получали и лица, коим за полным отсутствием «состава преступления» не приписывали 58-ю статью, но и освободить не хотели, Особое Совещание с 1933 или с 1934 года награждало репрессированных уголовников другим «штампом» — СВ — социально-вредный, тем более, что на вер-

хах кто-то доказал, что ворье большевизму не опасно, а только вредно для общества, но не для власти. Крупных уголовников в Соловецких лагерях было мало и они, особенно те, с «дореволюционным стажем», не занимались мелкими кражами и не изводили каэров насмешками, бранью, тычками. Такие и впредь заслуженно получали СО от троек и Особого Совещания.

Наивные иностранцы, в сороковых и пятидесятых годах побывавшие на Воркуте, искренно считали таких за анархистов...

Вернемся снова к Бессонову:

«Шпана — продолжает он — хорошо сплочена и живет по своим законам. В то время, как каэры никак не хотят понять, что тюрьма и концлагерь — это их участь чуть ли не на всю жизнь, не хотят объединиться и, в конце-концов ценой нескольких жизней добиться прав (как пытались социалисты на Соловках и каторжные пятидесятых годов. М.Р.), уголовники считают тюрьму своим домом и устраиваются в ней как можно удобнее для себя. На Поповом острове право это они себе отвоевали (как и когда, расскажут сейчас Клингер и Мальсагов. М.Р.). Вначале их грели, потом оставили в покое. Все равно ничего с ними не поделаешь. Помещаются они (в 1925 г.) в отдельных бараках. Хороший процент их сидит совершенно голыми. И когда им нужно пойти в уборную, то занимают штаны у приятеля. Большинство голышей — проигравшиеся... «Клуб» там открыт круглые сутки. Играют все».

«Грели» шпану, как передает Клингер (стр. 206), первые два года, т.е. до 1925-го первый комендант Попова острова Гладков из Калуги, безграмотный рабочий, и его жена, бывшая проститутка (по другому свидетельству — из крестьянок, что менее вероятно). Оба сидели в калужской тюрьме, сам Гладков — за кражу. «Освобожденный революцией», Гладков был принят в партию и с партбилетом приехал в Кемь «возглавлять». Жена его, ненавидя «буржуев», командовала и мужем, и всем лагерем. Одного ее слова было достаточно, чтобы партию шпаны освободили от работы и переложили ее на каэров. За это уголовники в глаза и за глаза называли ее «родной матерью». По чьей-то жалобе в Москву на Гладкова о присвоении казенных сумм, оттуда прислали комиссию. Жалоба подтвердилась, но Гладкову применили амнистию, освободили от наказания и перевели в родную Калугу.

Период беспредельного поощряемого разгула шпаны при Гладковых почти целиком прошел на глазах Мальсагова, и вот что он о нем пишет (стр. 84-87):

«Опекаемая «мамой» — женой Гладкова, шпана тогда составляла большинство населения пересылки, занимаясь лишь карточной игрой, пьянством и открытым грабежом каэров. Жалобы на бесчинства уголовников были бы не только безрезультатны, но и опасны. Лагерное начальство держало сторону воров, т.е. соблюдало принцип «классовой солидарности». Все работы были переложены на плечи каэров. Мы не только заготовляли дрова, подвозили воду, очищали снег, кололи лед для погребов начальства. Первое, что приказывали новой партии каэров — очистить бараки, занятые шпаной, а бараки их настолько запакошены, что у некоторых из нас начиналась «морская болезнь». Они не стыдились даже спрятать нужду, не выходя за дверь, а нам пришлось убирать за ними... Однажды, вместо благодарности за такую работу, урки предъявили нам требование: немедленно дать им такое-то и такое-то количество хлеба, сахара, махорки, чая или быть битыми и ограбленными. Пришлось подчиниться: тут была их власть. Со «сменой кабинета», т.е. с отправкой Гладкова и его супружницы-командирши, положение несколько улучшилось. Теперь и шпана посыается на работу, если ей есть во что одеться».

В конце 1924 года из Москвы на место Гладкова прислали нового коменданта Ивана Ивановича Кирилловского, быв. унтер-офицера Петербургского гвардейского полка. Отличался он, по словам Клингера, поразительным даже для чекиста пьянством. Через год его перевели (очевидно, в связи с делом его лагстаросты Тельнова, о ком в конце второй книги будет отдельная глава. М.Р.) на Соловки начальником 4-го отделения, т.е. штрафизолятора на Секирной горе, а в зиму 1926-27 года в период тифозной эпидемии, он всего лишь лагерный староста Савватьевского сельхоза, где после социалистов, вывезенных на материк, живут и работают женщины.

На место Кирилловского сначала прислали чекиста-пьяницу Петра Головкина, но вскоре из Москвы приехал новый начальник, а Головкина назначили помощником начальника Первого кремлевского отделения. Федяков — новый «хозяин» Кемперпункта — молодой, малограмотный крестьянин из Иркутского ГПУ, по единодушной оценке, если верить Клингеру (стр. 208) «был такой дурак, какого на Поповом острове еще не видывали». При такой характеристике, мне думается, заключенные пересылки вспоминают Федякова добрым словом. Долго ли и как он там начальствовал, летописцы запамятали отметить. В 1930 году Федяков выплыл в Северных (Архангельских) лагерях, но и там удержал свою оценку, о чем узнали от Китчина.

В 1926 и в 1927 годах обстановка на Поповом острове для казарв не была столь жуткой, как при Гладкове и Кирилловском в 23-25 годах или при Курилке с 1928 года. Кто был начальником и лагстаростой там в 1928, 1929 и в первые месяцы 1930 года, т.е. кто допускал и поощрял зверства Курилки и почему, мы так и не знаем. Уже после московской комиссии, т.е. с весны 1930 года Кемперпунктом командовал какой-то вахмистр Потемкин, прогремевший в «Архипелаге» (стр. 52) тем, что «в Кеми открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки в шелковых платьях. Приезжие товарищи из Гулага могли здесь роскошно пировать, к столу им подавала княгиня Шаховская (с этой целью, для «фасона», вывезенная с острова. М.Р.), а счет был условный, копеек на тридцать, остальное за счет лагеря». Но вскоре Кемперпункт был закрыт и его функции перешли к соседнему Морсплаву. Начальником Морсплава в 1932 и в 1933 годах был «Крутиков, лет 35-и, работник «органов», давно служивший в лагерях и хорошо понимавший и наше и свое положение. Спокойный, деловой он не был самодуром «(Отрадин в НРСлове от 25 декабря 1977 г.). Очевидно, под этой оценкой подпишется и Пидгайный, называвший начальника Морсплава «дядей Ваней».

В 1926 и 1927 годах мало-мальски одетую, относительно здоровую и без лагерного блата шпану с Кемперпункта разсылали, кого куда: на Соловки, на Парандовский и Кемь-Ухтинский тракты, на лесные Баб-дачи. Оставшуюся шпану, отребья ее, упрятали с глаз людских во вторую роту и окрестили таких «леопардами». Ширяев на стр. 345 объясняет, будто такая кличка дана нищим за их беспримерную неутолимую жадность на пищу. Но нищие тут абсолютно с боку припека. Правда, нищих тоже вылавливали в столицах, но они не составляли и одного процента по отношению к шпане в лагере. Что это за типы и как они выглядывают, довольно художественно описал, даже не будучи мастером слова, Зайцев (стр. 79), когда, ожидая ссылки, зиму 1927-1928 года провел в Кемперпункте по соседству с ротой «леопардов»!

«Отхожее место было в ста пятидесяти метрах. Стояла приполярная зима. Подошла очередь второй роты. Часовой у барака командовал: — Вылетай по пяти на оправку!

И вот из роты «леопардов» высекали пять звероподобных типов: босые, без кальсон, в лохмотьях от рубашек, со всклокоченными, длинными волосами, покрытые слоем грязи, по цвету как-бы негритянской расы, — многие не помнят, когда умывались. Эта пятерка с места неслась карьером по

снежным тропинкам к отхожему месту, перегоняя один другого. Быстро завершала свои надобности и прежним карьером неслась обратно в барак. Мгновенно вылетала новая пятерка и проделывала такую же экскурсию. В виду многочисленности — более трехсот человек — такие скачки голых людей по снегу в мороз продолжались более часу».

Однако мы отвлеклись от последовательности изложения. Вернемся к июню 1925 года и послушаем, как на пересылке принимали этап Зайцева.

«Военная организация на Кемском перпункте — пишет он — заканчивалась полком. Командиром полка был Основа, убежденный анархист и адъютант Махно по его собственным словам, служивший затем в ГПУ (При Бессонове, в апреле-мае, он был командиром роты. М.Р.). Высокий, крепкий мужчина, брюнет, с ястребиными на выкате глазами, всегда мрачный, обладал зычным голосом, большой любитель рукопашных избиений, особенно жесток был со шпаной. Тут же на первых порах избил несколько человек за непорядок в строю. Этот тип произвел на нас самое страшное, угнетающее впечатление... Продолжаем стоять в строю, ожидая обыска. Со стороны Управления появился тип в чекистской форме, с фуражкой набекрень, со стэком в руке, сильно подвыпивший. Основа заорал: — Смирно! Равнение направо! Товарищи командиры! (оказывается, у нас уже есть и ротные, и взводные). Тип подходит к правому флангу и громко кричит: — Здравствуйте, граждане! Несколько человек ответили: — Здравствуйте! Тип со стэком рассвирепел: — Товарищ комполка! Научите их немедленно здороваться.

Оказалось, этот тип — начальник Кемского пункта, главное начальство.*



*) То-есть Иван Иваныч Кирилловский, тот самый, кто, судя по стэку, у Солженицына на стр. 38-ой этим стэком «разгоняет толпу заключенных», расчищая дорогу трем хлыщеватым, с лицами наркоманов, которые волокли уже подобие человека на расстрел под колокольню. Отрадин отметил в НРСлове, что никакого подземелья под колокольней, возведенной на скале, не было. К этому я добавлю, что Кирилловский, переведенный из Кеми на остров в 1926 г. начальником Савватьевского отделения, мог появиться в Кремле со стэком лишь с 1927 года и не для описанной «операции». Местом расстрелов уже давным-давно выбиралась ночь и лес или кладбище, а не день на кремлевском дворе, о чем свидетельствуют и Ширяев, и Зайцев и Олехнович. В 1923 и в 1924 годах Ногтев, принимая

...Согласный выкрик «Здра» у 650 человек никак не удавался. Начальство свирепело. Бешеный Основа кричит владыке Глебу, епископу Воронежскому: — Ты, толстопузый, почему зажал губы? Бедные архипастыры — их было много в этом этапе — должны по-собачьи лаять это «Здра!». Более часа обучали нас и здороваться, и расчитываться в строю, пока «командиры» не утомились... Потом, на вечерней поверке, лагерный староста Тильнов (И. Тельнов. М.Р.) прочитал нам несколько руководящих приказов. Все они угрожали суровыми репрессиями нарушителям лагерного режима. Отложив приказы, Тильнов объяснил нам перспективы. Мы хорошо и надолго запомнили его слова:

— Товарищи заключенные! Помните одно: вы в лагере принудительных работ Особого Назначения ОГПУ. У вас три пути: первый — спокорно работать и спокойно сидеть, ну, а если некоторые обретут на Соловках могилу, что ж, умирать когда-нибудь надо; второй путь — путь непокорных, их отправляют без вещей на луну (т.е. расстреливают), а третий — побег, за который отправляют на дно морское... Нечего сказать — резюмирует Зайцев — перспективы наши весьма и весьма жуткие».

Прервем рассказ Зайцева и вернемся к Бессонову, который всего лишь месяц назад бежал с пересылки.

«Странные установились у меня отношения с Основой. Мои восемь вершков на нарах приходились как раз против его загородки, так что мы хорошо видели жизнь друг друга. Он никогда меня не трогал. Часто лежали друг против друга и в упор смотрели в глаза, но редко разговаривали. Как-то раз он попросил меня зайти и поговорить с ним. Нарисовав картину жизни на Соловках, Основа предложил мне занять командную должность. Я наотрез отказался, а на вопрос о причинах ответил: я считаю недопустимым строить свое благополучие на несчастьи страдающих людей. Разговор затянулся и перешел на тему о духовной жизни. Я предложил ему отказаться от должности и всю энергию обратить на пользу заключенных. Он оборвал разговор, лег на койку и задергался в судорогах. Этот припадок продолжался минут пять, затем он впал

новые этапы, пристреливал на берегу по одному из «свеженьких», и этого уже было достаточно, чтобы вселить ужас в тысячи и убедить их, что тут не шутят. Это, конечно, не относится к положению на лесных командировках, где полнейший произвол продолжался до 1930 года.

в забытье. С тех пор мы долго не разговаривали и только месяца полутора спустя, он неожиданно спросил меня: — Послушайте, Бессонов, когда же вы бежите? Да, да, не удивляйтесь! Для вас есть только этот выход.

Я осталенел: сам Основа бухает такую вещь. Отделался какой-то фразой, но принял это во внимание... Однажды в марте, вернувшись с работы, услышал выстрелы. Кто-то бежал по замерзшему морю и красноармеец стрелял в него. Вдруг беглец остановился, встретив широкую трещину. Подошли охранники и прикладами погнали его обратно. А тут Основа обломал о него палку. (Мальсагов на стр. 145 поясняет: это был финн, его потом пристрелили). Нельзя было бежать так глупо. План должен быть прост, конечно, рискован, но не глуп, решил я. События ускорили решение бежать (но об этом во второй книге в главе о побегах. М.Р.).

**

В главе об этапах в столыпинских вагонах Седерхольм рассказывал об осужденном чекисте Калугине, которого шпана, обзвавая подлым стукачом, сперва ударила котелком, потом облила кипятком, когда Калугин из клетки проходил в уборную. В ответ, Калугин им пригрозил расплатой в Кеми, где они узнают, что такое «счет чекиста». Спишем у Седерхольма как и чем закончился этот эпизод:

«В конце угрожающей речи перед строем, начальник Кемперпункта передал нас «товарищу Михельсону, который проведет моральный карантин до отправки на Соловки». «Товарищ» Михельсон, существо с изношенным лицом, в очках и хромой на одну ногу, прошел вдоль рядов, пытливо экзаменуя нас. Михельсон был известен по Крыму,* где после Врангеля

*) Михельсон, по словам Клингера, был «председателем Особой тройки по проведению красного террора в Крыму после Врангеля». Клингер на счет Бела-Куна, его секретаря Землячки и Михельсона записывает 40 тысяч жертв только за ноябрь-декабрь 1920 г. «по советским данным». В приказе армиям Южного фронта от 16 ноября 1920 г. пом. командующего Южным фронтом К. А. Авксентьевского (о ком в моей книге «Завоеватели...» есть большая глава «Командарм кураlesит на Печоре») в Крымский ревком назначены: председателем Бела-Куна и членами Лиде, Гавен, Меметов, Идрисов и Давидов-Вульфсон, с правом кооптации на месте еще одного члена, которым, возможно, и был Михельсон. К тому же «совершенно секретный» первый параграф этого приказа, очевидно, самый важ-

лично из пулемета расстрелял три тысячи белых, их жен и детей. После он отличался новыми зверствами во Пскове, и, наконец, в Холмогорах (о чем рассказывает Клингер на стр. 172). Шептали, будто здесь он — жертва интриг других чекистов, опасавшихся растущего влияния Михельсона на Дзержинского... После обыска, вскоре проведенного самим Михельсоном с несколькими подручными, один из них прочел список чекистов из нашей партии. К великому изумлению, больше десяти человек покинули наши ряды и ушли в особый барак. Двое из них внешне были столь импозантны и благородны, что я никогда бы не поверил тому, кто назвал бы их мне чекистами. (Такими же словами, но о других чекистах в его этапе отзыается Зайцев на стр. 55 и 56, особо выделяя «кокоритного» Николая Александровича Иванова, в прошлом подполковника артиллерии Кронштадской крепости. «Благодаря провокациям его и его жены, много московской аристократии и интеллигенции отправлено ГПУ к праотцам».)

Во время обыска Калугин подошел к Михельсону и что-то тихо сказал ему, указывая на уголовников из нашего вагона. Михельсон взглянул на них и спокойно спросил: «Кто ударил котелком тов. Калугина? Сознавайтесь сразу. Откажетесь, сию же минуту пристрелю вот этих четырех». Не прошло и минуты, как из группы был вытолкнут один парнишка. Его увели. Таким же методом, на сей раз за кипяток, которым ошпарили Калугина, выудили еще двух. Спустя полчаса нас отмаршировали к берегу моря и показали три трупа с головами, пробитыми пулями. Калугин застрелил их собственной рукой. Тут мы все уяснили себе, что такое СЛОН и «счет чекиста».

Описывая дальше обычные в Кемперпунктеочные работы без отдыха, сна и пищи, во время которых потерял сознание и умер вице-губернатор Павел Иннокентьевич Попов, Седерхольм подводит итог:

«Четыре дня прошло, как мы оставили Петербург, и вот шестерых уже нет в живых: троих убили, двое умерли в вагоне, шестой Попов, седьмому прострелили плечо. На другой день нам зачли приказ местной «коллегии» о расстреле уголовников. Не могу понять, когда же у этой «коллегии» оказалось время собраться, обсудить вину, вынести приговор и привести его в исполнение. Выходит так: сначала расстреляли,

ный — о цели и методах работы этого комитета, пока что за семью печатями» (Стр. 765 и 766 третьего тома «Гражданской войны на Украине»).

ков, да и сам он потом показывал нам их трупы «как пример их меньше чем за полчаса после своей жалобы Михельсону. А сам Михельсон, «председатель коллегии», некоторое время провел в нашем бараке после того, как увекли трех уголовника потом уже «оформили» приговором. Ведь Калугин застрелил на будущее».

**

По всем советским тюрьмам и подвалам ГПУ в сотнях вариаций, действительных или присоединенных, путешествовали рассказы о соловецком мучителе на Поповом острове в Кемперпункте ротном Курилке, кто с 1928 по 1929 год и вначале 1930-го «крестил» всех новых соловчан, проходивших через его карантинную роту.

«Летопись» наша уже подошла к 1928 году — году начала его власти, а мы никаких подробностей о нем так и не знаем. Из статей Отрадина в НРСлове выясняется, что Курилка уже подвигался в ротах общих работ в кремле, не ясно только взводным, ротным или нарядчиком и, надо полагать, уже зарекомендовал себя верным пском. Иначе не откомандировали бы его с острова на (материк) принимать и перемалывать лагерных новобранцев, выбивая из них остатки надежды на советскую законность и человечность и вбивая в них страх и безнадежность. Тысячи и тысячи таких — от академиков и архиепископов до шпаненков и безграмотных узбеков и туркменов — прошли сквозь «огонь, воды и медные трубы», уготованные Курилкой. Курилка показал образцы, как «брать в оборот» соловецкие пополнения и его методы незамедлительно нашли способных последователей на всех вновь открываемых командировских УСЛОНа и в Севлаге. Из наших летописцев только Никонову-Смородину выпал жребий выдержать тяжесть его длан и понять, почему вплоть до весны 1930 года из всех концлагерей на море, в Карелии и Архангельской губернии неслись вопли истязуемых, сначала услышанные за кордоном и наконец-то глухим в таких делах ГПУ, и побудили его еще раз — и не последний — свалить собственные преступления на подъяремных холопов поневоле или зверей по натуре.

Пусть теперь уж сам Никонов расскажет, как его этап в 600 человек летом 1928 года был «крещен» на пересылке: «Партию нашу — пишет он — окружили конвоиры (стр. 93, 94 и 95). Полчаса ходьбы, и мы у проволочного ограждения. Из барака вышел рослый человек в военном обмундировании и с места обдал нас потоком грязной браны. Это и

был Курилка, человек криклиwyй, с жестоким нервным тиком лица. — Что вы их сюда привели? — орал он на конвоиров, гrimасничая, будто от острой боли. Промуштровать их, да хорошенъко!

Нас погнали дальше, к самому морю, на довольно широкий досчтый мол. Красноармейы сдали нас Курилке с его командой. Начался опять, как неизбежный ритуал, нудный личный обыск, ощупывали самих, одежду. Но вот обыск окончен и раздалась команда: — Стройся по четыре в ряд! Низенький, но коренастый крепыш отделился от начальства и резким голосом, кипятясь непонятной злобой, принялся обучать нашу пеструю ораву военному строю, пересыпая команду потоками ругани шпанского образца. Дико было видеть, как епископы и священники в рясах и престарелые монахи, почтенные люди науки повертывались в строю сотни раз направо и налево под команду горлана-изувера, не устававшего притом же ругаться под угрожающее щелкание затворов винтовок прочих охранников. Наконец, после трехчетырех часов муштры и обучения идиотскому «здрав!» этап повели внутрь ограды. Натискали нас в барак так, как не приходилось видеть ни в тюрьмах, ни в подвалах. Но только мы разместились, как новая команда выгнала нас вон. Началось заполнение анкет. Двадать пять «имяславцев» в нашем этапе отказались назвать свои имена и их поставили на валуны. Почти целые сутки выстояли они под дождем и холодным ветром с моря, но имен так и не открыли «Антихристу». Впрочем, и нам было не легче. После анкет сразу погнали на пристань, и под крики десятника, по здешнему — «гавкало», начали погрузку бревен из штабеля. Здоровые и больные, старые и молодые — тут различий нет, работай до изнеможения. В одурелой голове ни единой мысли... Все шатаются от усталости... Проработали всю ночь и утро и к полудню вернулись в барак. На валунах по-прежнему безмолвно стоят «имяславцы». На обед и «отдых» нам дали два часа... И снова усталых, полусонных отмаршировали на новую работу — очищать какую-то площадь под непрерывную брань надзирателей. Не дав закончить очистку, конвоир повел нас обратно и с угрозами и ругательствами через минуту приказал бежать. Сам бежал сбоку, поминутно щелкая затвором и орал: — Не отставать! Убью!

Кому и зачем нужен был этот бессмысленный и беспощадный бег, я и посейчас не знаю (Редактор книги в сноске поясняет: «Такова там система: — довести до полного исто-

щения сил телесных и духовных и этим сразу сломить силу и волю к сопротивлению».)

...Добрели до проволоки. И едва глазам верим: «имяславы» все еще стоят на своих местах... Из барака выходит ротный Курилко и злорадно оглядев нас полумертвых, стал вызывать по списку.* Отсчитав полтораста человек, нас спешно погрузили на пароход и повезли на Соловки».

Им посчастливилось. Быстро распрощались с Курилкой. Вот зимним этапам — тем доставалось полной мерой.

Так было при Курилке с начала 1928 и почти до весны 1930 года, когда из Москвы прислали следственную комиссию, чтобы попутно отблагодарить Горького за ложь о Соловках, которую от его имени распространяли по всему свету.

О положении на Кемперпункте в 1923, 24, 25, 27 и 28 годах мы привели наиболее характерные выдержки из воспоминаний летописцев. Лишь Ширяев, видимо, из-за краткости пребывания там, вообще не нашел ничего достойного отметить, но за него, за 1923-й год, рассказал Мальсагов. Лишь в пути на остров в ноябре 1923 года Ширяев, как бы между прочим, записывает:

«...Ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков — голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемской пересылке проиграть с себя все. Блатной закон не знает пощады: проиграл — плати. Не знает пощады и ГПУ: остался голый — мерзни. Ноябрь на Соловках — зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбиваются мелкую дрожь».

Возможно, этот рейс парохода был последний. Иногда,

*) Солженицын (стр. 31 и 32) художественно описывает, будто «Курилко и сам уже, как трагический артист к пятому акту перед последним убийством «бегает вместе с этапом вокруг столба». Из-за того-то и облачился Курилка в командирскую форму со всеми ее привилегиями в лагере, чтобы самому-то не бегать, не быть гоняемым, а только наблюдать из окна, как его холуи терзают вновь прибывших. Видимо, кто рассказывал Солженицыну, сам не побывал на пересылке в годы Курилки или вообще слыхал о нем через пятые уши и ввел автора в заблуждение. Поверив ему или им, Солженицын тут же относит годы Курилки — 1928 и 29-ый — к «благословенным допереломным, докультовым, до-искаженным 1923-1925 годам, а про 1927 год передает, будто «тогда урки лежали на нарах и постреливали вшами в интеллигентов на полу» — это, значит, «леопарды» — то, описанные Зайцевым!»

впрочем, навигация продолжалась и в декабре. Море, скованное льдами, прекращало связь пересылки с островом обычно до середины или конца мая. Ни одного человека ни пешком, ни с лодкой никогда с материка на Соловки зимой не отправляли и никакой, даже самый озверелый и отчаянный конвой не пошел бы сопровождать этапы за сорок — пятьдесят верст по замерзшему, в торосах, но с трещинами и полынями морю. Кто-то и тут оказал медвежью услугу Солженицыну, и он на той же злосчастной 32-ой странице записывает: «Потом крикнет конвой: — В партии отстающих нет! И, клацая затворами, зимой погонят по льду пешком, волоча за собой лодки, — переплывать через полыньи».

В действительности, дело обстояло совсем иначе. На Соловках с 1925 года и по 1932-й, а, может, и позже — не знаю, существовала добровольная артель лодочников из заключенных, которая за зиму с лодкой на полозьях и с печкой на ней делала 2-4 рейса на материк, доставляя в оба конца почту и наиболее ценные и нужные грузы, помогая в этом единственному потрепанному и старенькому самолету на Соловках. Лодочники были, как на подбор, ребята кровь с молоком и шли на риск погибнуть в пути в обмен на спирт, жиры, шоколад и какао, чем страдать на лесозаготовках. В рейсы свои они отправлялись без конвоя. Не было дураков среди чекистов и конвойных сопровождать их. Только однажды в пути занесло их штормом на льдине много южнее Кеми, но никто не погиб. В артели не было ни каэров, ни шпаны, ни бандитов, а только отборные бытовики, в большинстве северяне. Однажды, в 1932 году, и меня они взяли с собой, да не в Кемь — что я, белены что ли объелся? — а на соседний остров Анзер. Об этих лодочниках вспоминают: Розанов — на 53-й стр., Андреев — на 62-й, Никонов — на 148, Олехнович — на 96, 97.

**

В лапищах Курилки я не побывал, но духу его, точнее — духу Лубянки, ибо приписываемые только ему «приёмы» уже давно применялись на всех командировках северных и соловецких лагерей, где многие про Курилку и слыхом не слыхали, — духу его, говорю, хватил на материке в ста верстах севернее Кемперпункта на Мурманской жел. дороге в мае 1930 года, т.е. когда приговор коллегии ОГПУ о «произволе и бегловардейском засилье» в Соловецких и Северных лагерях еще не был объявлен заключенным и всякие формы надругательств и насилий над ними все еще «по традиции» продолжались.

Вот как описана мною, в сокращенном тут изложении «каторжная присяга» на прокладке тракта от ст. Лоухи к пос. Кестеньга, к границе Финляндии.* (стр. 6-14 «Завоевателей...»):

— Чего рты-то разинули? Тут ваш лагерь.

На дощечках, прибитых к соснам, стояло: «Командировка 6-го км.».

— А где ночевать, гражданин конвой?

— Номеров пока не припасено.

— Как же так: в снегу?

— Не надо было против советской власти итти. Тут из вас агитацию-то повыбьют.

... Из разговоров с появившимися из сарайчика старыми соловчанами будущее наше понемногу прояснялось. Мы работаем для лагеря, а лагерь кормит нас и одевает. Голодному брюху не до сложной философии... Нашлись охотники мастерить козлы и укладывать на них жерди. Пусть такая ограда примитивна, но каждый слыхал: «При попытке перехода через установленную линию конвой применяет оружие без предупреждения».

...За соснами показались груженые подводы. — А ну, стройся! Буханка на четырех.

— Ого! По восемьсот граммов. Жить можно. Правду ребята сказывали, кормят подходящие.

...Жизнь налаживалась. Уже трещали костры. Свернувшись калачиком на расчищенной от снега почве, люди как-то ухитрялись дремать... В лесу с треском рушились деревья, люди таскали на прогалину двухметровые бревна... Надежда отдохнуть у костра испарилась. Вторые сутки проводим под открытым небом то в очередях за хлебом и кашей, то в строю, обучаясь согласному «эдза»; то анкеты заполняют на нас, то категорию трудоспособности устанавливают. Тут даже умереть не выберешь минуты! Шатаясь от сонливости, и я побрел таскать накатник для будущего барака. Три сотни людей все же натаскали солидную кучу строительного материала. А остальные 1700 из нашего этапа (Приврал в книге. Каюсь.

*) На тракте этом летом уже работало до 6 тысяч заключенных. Он входил в 3-е Кандалакшское отделение УСЛОНа, а в отделении было больше арестантов, чем на всем Соловецком архипелаге, но, уж, конечно, не 80 тысяч, как по привычке без удержу привирает Киселев-Громов на стр. 88-ой своих «Лагерей смерти».

Сот двенадцать привезли, не больше) партиями по 200-300 человек уже отправлены дальше по просеке на запад.

...Перед строем показался белобрысый в бродовых сапогах и лагерном бушлате. — Смирно! Запомните: кто думает бежать, пусть сейчас же прыгает в это озеро. Поймаем — семь шкур сдерем, а уж поймаем непременно. Забудьте привычку жаловатьсяся. Тут кончилась власть советская и вступила власть соловецкая. С сегодняшнего дня я ваш царь, бог и начальник. Все приказы от меня до десятника выполнять без возражений и полностью... Вы, я вижу, еще не привыкли к строю, так ротный научит.

...Проходя вдоль строя, ротный своими каблуками топал по выступавшим лаптям сумских и псковских мужиков, наводя порядок. Потом снова часа два орали «здрава», пока ротному не почудилось, будто нас уже и Соловки услышали...

Затем повели нас на «санобработку» в избушку карелов, где топилась «буржуйка». Ни раздевалок, ни полок, ни окон. Теснота — плонуть некуда. Тут же у котла на снегу парикмахер нещадно выдирил тупой машинкой наши волосы, где бы они не росли... Не попадая зубом на зуб, получил из котла в шайку литра два теплой воды. Не густо дают за три-то месяца!.. — Добавь, — прошу. — Кому там мало? — переспросил за дверью ротный. — Обратись в Особое Совещание, оно добавит, ха-ха-ха!

С остервением размазывая грязь, блаженствуя в тепле. Так бы и просидел тут все свои десять лет. Экое счастье — быть бандюшником! Двое суток на снегу уже оттеснили память о душном вагоне, когда мечтали о пригоршне снега. Но минуты блаженства истекли. — Кто еще там застрял? — ревел ротный: — Пулей вылетай, не то дрыном огрею... А тут еще пришлось всем голышами стоять на ветру и на снегу, пока наша одежонка парилась в перевозной вошебойке. За одной бедой пришла другая. У кого-то шпаненок выкрал кошелек, а потерпевший пожаловался ротному. — Что? Красть? Выбью эту привычку. Ну-ка в шеренгу! Продержу, пока кошелек не выплынет наружу.

И представьте: выплыл, когда мы, да и вор тоже, уже совсем закоченели. Кошелек свалился будто с неба, а вора так и не накрыли.

...Жизнь налаживалась. Заболевших и отправленных в лазарет в Кандалакшу не считали. Каждый думал, как бы самому не свалиться... За пять дней вырос рабочий барак и ряд других избушек. Уже отсиживались в карцере первые отказчики — «филоны» и лагерные блатари. — С вещами стройся! — услы-

шли мы, наконец, радостную команду. Сейчас нас будут все-лять. Барак без крыши, да с потолком... — А ну, бегом! — командовал ротный партиям по пятидесяти душ. ...Вспрыгнув на верхние нары, плечом пропахиваю себе место. Вклинился!..

— Жирно устроились! — решил ротный: — На дворе еще сорок «гавриков». А ну, подвиньтесь вплотную! Еще теснее, ла на боку, чтобы кости трещали!

Послышались стенания, но чудо совершилось: у дверей очистилось пространство. Самые робкие и слабые тоже получили кров. Уплотнение кончилось. Я блаженно улыбаюсь и пытаюсь перевести дух. Пытаюсь, но не могу. Сосед справа жмет, сосед слева жмет... А какая теплынь! Правду в «Крестах» говорили: и на Соловках солнце светит, и мир не без добрых людей...

Через два дня, подбравшись шестерками, мы «втыкаем» на тракте, корчуя пни, копая кюветы, выравнивая полотно дороги в новых кожаных сапогах, которых иные из нас от роду не нашивали по бедности, в шерстяных портнянках, в новых фуфайках и бушлатах, в шапках и с накомарниками. Кто из нас тогда мог предвидеть, что еще три-четыре года и такое «вещевое довольствие» превратится в приятный сон. Но дрын еще не ушел в прошлое. И если на тракте им мало пользовались, то оттого, что не было «готовых кадров», а наука бить своих требовала времени. Наше начальство вышло из нашего же этапа, еще не обученное ремеслу скуловерчения. Да с июня уже и шептались по углам о чем-то новом на Соловках, вспоминали Курилку. В конце июня или вначале июля нам зачли приказ коллегии ОГПУ о «произвольщиках и белогвардейцах в лагерях». И какие же если не милые, то терпимые на другой же день оказались и взводный, и ротный, и нарядчик, и комендант, сам белобрый оскалился улыбкой, а командир взвода охраны «братался» с нами, гоняя по лагерю футбольный мяч. Раздолье подошло и воспитателю. Запили-кала гармоника, зазвенела гитара. Нам даже позволилиходить на станцию взглянуть на «волю»... И снова мы на время забыли, что для ГПУ наш срок — не только наши мускулы и пот, но и наши слезы. Глубокой осенью того же 1930 года нам об этом и напомнили. Обстоятельного рассказа об этом у соловецких летописцев нет, зато он хорошо изложен Китчинным о Северных лагерях и включен в главу об «оттепели».

**

В мае 1931 г. через Морсплав УСЛОНа, куда перекочевал Кемперпункт, прошли Розанов и профессор Чернавин. Розанов

с первым пароходом отправлен на остров, а Чернавин осел на материке и первые две недели провел в карантине, уже мало чем напоминавшем времена Курилки. Маршировкой, битьем, работой не донимали, зато как прежде, страдали от недостатка воды, а с питанием дело обстояло совсем швах, только те, у кого были деньги, через надзор и шпану могли подкупать хлеб и рыбу по ценам, во много раз превышавшим официальные. Через две недели Чернавина, как специалиста рыбного дела, перевели в Вегеракшу в лагерь, построенный в 1929 году на левом берегу р. Кемь для obsługi и специалистов Управления СЛОНа. Внешне бараки выглядывали солидно: двухэтажные, рубленые из бревен, но внутри мало чем отличались по чистоте от Морсплавских и Кемперпунктовских с той только разницей, что они были громадные — на тысячу человек каждый, и вместо сплошных нар устроены вагонки в два этажа, с шириной для каждого, как в годы Бессонова и Мальсагова — восемь вершков или 50 сантиметров.

По два раза в день под конвоем маршировали от Вегеракши до Управления его рядовые работники: с утра до обеда и с ужина — с восьми вечера до 11 ночи. До управления было два километра и следовательно, ежедневно приходилось отмерять по восьми километров. Кормили впроголодь, но лучше, чем на Морсплавском карантине: рабочим — по восемьсот грамм хлеба, чиновникам в бушлатах — по пятисот, остальным по четыреста, но, очевидно, кое-что перепадало из двух ларьков, существовавших в Вегеракше, но чего и сколько, из книги не узнали.

Вскоре Чернавин был должным образом переоценен и уже ходил в Управление, в свой Рыбпром, без конвоя, а потом и разъезжал по побережью до Мурманска, инструктируя лагерные рыболовные артели и попутно изучая возможности своего с семьей побега.

**

В конце зимы 1933 года в Кемь привезли украинского литератора и националиста Семена Александровича Пидгайного. Вначале по ошибке включили его в небольшую группу при одном конвоире, назначенную на Вегеракшу, о которой только что рассказывал нам Чернавин. Тут он на очень короткое время попал в бригаду кустарей Навроцкого из кавказцев и туркестанцев.

«Когда бригадир Навроцкий представил меня бригаде, кто-то позади сказал: «Русская собака!». Я ничего на это не

ответил, но понял, что теперь я среди друзей... Первой моей целью было разъяснить бригаде, что я — не русский и как они, ненавижу их... Через неделю каждый в бригаде признал меня за своего друга...»

Но долго «разъяснять» Пидгайному не дали. В УРО — в учетно-распределительном отделе лагеря — прочли, что в его сопроводительной записке «содержать на острове», и Пидгайному уже с двумя конвоирами отправили на Морсплав до открытия навигации. Тут он от урок прослушал «курс лекций» о прошлом Кемперпункта и Соловков. Да, власть теперь была тут советская, а не соловецкая, но бубликов от нее ожидать не стоило. Правда, в мешках или голышом шпана по лагерю не гуляла, но как и встарь, одной ночью человек тридцать урок со своими «девочками» заявились в барак Пидгайнного и обчистили новичков, а в чем были своем, то еще до шпаны забрал лагерь, выдав взамен все, что полагалось, казенного. Тут этапные прошли медицинское освидетельствование и получили каждый свою категорию трудоспособности. Их было теперь три: первая — «тракторная», вторая — «лошадиная» и третья — с правом на 25 процентную скидку с нормы. В первые годы концлагеря тоже делили на три категории, только в обратном порядке, при чем первую получали полные инвалиды, верные кандидаты на «разгрузку» или в могилу (Зайцев, стр. 62). После 1927 года каторжан делили на четыре категории и «лошадиной» считалась четвертая, а с 1929 или с 1930 года счет снова перевернули, и четвертую давали тем, кто по образному лагерному выражению «таскает голову подмышкой»...

Пидгайный передает, будто в его время первые шесть месяцев все, независимо от возраста, болезней иувечий, привлекались к самым тяжелым работам и только после того принимались во внимание категории трудоспособности. Это уже хуже всяких произволов и курилок и поверить сказанному одним Пидгайнным не позволяет опыт прошлых лет. Была, помню, инструкция использовать по специальности только после шести месяцев физического труда, но с ней мало считались. Вот что теперь пересылка стала освещаться мощными прожекторами с пятиметровой запретной зоной перед проволочным ограждением и многочисленными вышками для часовых, этому верим: сильна советская власть!.. Верим и тому, что с Морсплава на работы за лагерные ворота даже под охраной никого непускают — бдительность стала законом, и Бессонов с Мальсаговым в 1933 году уже не могли бы обезоружить стражу и бежать из лагеря. Новичков Секиркой не

пугали, а какой-то Ташкатуркой, откуда, мол, тоже нет иного пути, как в яму, но где она и чем ужасна, Пидгайный не объяснил.

С первым весенним этапом 1933 года он вступил на соловецкую землю. Как со своей шовинистической начинкой Пидгайный воспринял монастырь, его основателей, архитектуру и прошлое — узнаем в конце следующей главы.

Покидая «Большую землю», Пидгайный все же помянул добрым словом «дядю Ваню», начальника пересылки (Круткова, о котором вспомнил и Отрадин в статье в НРСлове от 25 декабря 1977 г.). Не в пример прежним Гладковым, Кирилловским и Федяковым, он запросто заходил в бараки, беседовал и даже угощал водкой, ободряя будущих «островитян», чтобы не унывали, что, де, и «Соловки — тоже русская земля», хотя Пидгайный расценил его слова, как иронию.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

НА ЗАРЕ ЛЕНИНСКИХ СОЛОВКОВ

Летописцы обычно ведут лагерную историю от Ногтева и Эйхманса, а Ногтев до Соловков словно-бы начальствовал над Северными концлагерями, тоже «особого назначения», состоявшими из трех концлагерей: Архангельского, Холмогорского и Пертоминского. Борис Сапир (стр. 173) вспоминает:

«...29 июня (1923 г.) начальник УСЛОНа Ногтев явился к нам (социалистам в Пертоминском лагере. М.Р.) с вооруженной охраной и приказал немедленно готовиться к этапу... 1-го июля наш этап в 150 человек доставили в Соловки... Теперь Соловки вобрали в себя все Северные лагеря и управление ими (видимо, вместе с Ногтевым и Эйхмансом) перебралось из Архангельска в Соловки».

**

Но крест над Северными лагерями Лубянка еще не поставила. Через несколько лет они снова разрослись, сначала, как и Соловки, — «Особого Назначения», а с лета 1930 года — как Северные исправительно-трудовые лагеря и в оба периода для заключенных каэров и уголовников были не лучше, а даже хуже Соловков. Начальствовал в них латыш Бокша, до того известный своими расправами с повстанцами.

Севлаг занимался лесозаготовками для экспорта, снабжал своей рабсилой архангельские лесопильные заводы, грузил иностранные суда досками и бревнами, прокладывал железную дорогу Пинюг-Усть-Сысольск (Сыктывкар) и тракт Усть-Вымь-Ухта (вспоследствии — Устьвымьлаг) к первым «метастазам» ГУЛАГа в бассейне Печоры. Есть очень хорошая, обстоятельная, без особых прикрас, вымыслов и домыслов и без патетики книга о Севлаге 1929-1932 года на английском языке финляндского подданного Георгия Китчина «Арестант ОГПУ» — «Prisoner of the OGPU», изданная в Лондоне в 1935 году и в 1970-м году переизданная. Это — одна из ред-

ких книг на иностранном языке, достойная почти без исправлений и пояснений быть переведенной на русский. Как без очерка Клингера мы не знали бы ровно ничего о первых днях Соловецкого концлагеря и его начальстве, так без книги Китчина оставались бы в полном неведении о положении заключенных в Севлаге — его меньшем брате. В ней упоминаются фамилии вольных и заключенных соловчан, откомандированных в Севлаг в 1928-1931 годах, впоследствии известных нам по Ухтпечлагу. Из Соловков в помощь Бокше прислали начальника адмчасти СЛОН,а «звероподобного» Васькова, помощника Френкеля и его однодельца Бухальцева и начальника Кемперпункта Федякова, «дурака, подобного которому на пересылке еще не бывало» (Клингер, стр. 208). Федяков состоял «для особых поручений» при Бокше и, как Васьков, уже достаточно поумнел, чтобы перекладывать работу на заключенных специалистов и слушаться их советов. Васьков из Севлага в 1932 году переведен в Магадан, в Колымский лагерь, к Эдуарду Берзину, где тюрьма носила его имя — «Дом Васькова». В 1937 году Васьков «ликвидирован» со всем колымским начальством. Шаламов, тамошний летописец и большой литератор, в овчарке «Как это началось» («Новый журнал», № 119) сообщает, что Васькова расстреляли в Москве. Судя по описанию Китчина, отлично знатившего Васькова, как и все начальство Севлага, благодаря своей работе в управлении лагеря, вернее, что он не дожил до пули, а помер во время следствия от разрыва сердца. От ожирения и беспрерывного пьянства Васьков постоянно имел сердечные припадки. Что стало с Бокшой, когда первый начальник ГУЛАГ,а Лазарь Коган в конце лета 1930 года, «подмораживая оттепель», порасстрелял «стрелочников», мы от Китчина так и не узнали. Его место занял Сенкевич, до того — начальник Вологодского ГПУ,а еще раньше — начальник пограничных войск. Вскоре — с 1931 года — он начальствует над Соловецкими и Карело-Мурманскими лагерями (УСИКМИЛ), в которых численность арестантов тогда уже перевалила за сто тысяч, заняв трон за что-то снова свергнутого Ногтева.

Если Кемперпункт известен своим Курилкой, то не лучше его был в Севлаге ротный котласского перпункта Григорьянц. Оба словно состязались, кто быстрее муштрай и «здрав!» доведет лагерных новобранцев до грани отчаяния. В Котлasse Григорьянц зимой наказанных уголовников поливал водой. Начальником пересылки был осужденный чекист Монахов. «Террор на пересылке ввел он и его приспешники, присланные с Соловков», т.е. уже не новички в этом деле. Сам Монахов, как

сообщает Китчин, не дожидаясь допроса его Коганом пустил себе пулю в лоб.

Я уклонился от основной темы, пользуясь информацией Китчина, для того, чтобы читатель уже теперь лучше уяснил: творимое на Соловках, творилось и в Севлаге, и наоборот, потому что «кадры» их поставлялись либо Соловками, либо Соловки и Севлаг наследовали их от архангельских концлагерей 1921-1923 годов. Да и дальше в этой работе еще не раз придется ссылаться на Китчина, как летописца «младшего брата». Китчин оказался близким и наблюдательным очевидцем событий 1930 года в Севлаге, хотя происходивших также и на Соловках, но описанных с пятого на десятое. О них он нам расскажет в главе «Лагерная «оттепель» и расстрельные приказы».

Кто же тогда, до привоза социалистов, т.е. с августа 1922 г. до июля 1923 года начальствовал в Соловках над первой тысячью каэров из белых офицеров, кронштадских матросов, антоновцев и махновцев? Ответ нашли только у Клингера: «Комендантом был Ауке». И все. Какие работы тогда выполнили первые соловчане, Клингер тоже упустил рассказать. Сам он часть срока, судя по содержанию рассказа, провел на работе в учетно-распределительной части — УРЧ — или в административном отделе, имея под руками формуляры заключенных, и не пропуская мимо ушей разговоров среди начальства о поступках и биографиях первых творцов советско-соловецкой истории.

Борис Сапир упоминает, что подходя к Савватьевскому скиту, они увидели дозорные вышки для часовых и проволочное ограждение. Можно без ошибки утверждать, что сей «архитектурный ансамбль» не создан в ХVI веке, что он не творение зодчего Трифона, монахов и трудников по обету, и даже не архангельского земотдела и не Наркомзема, а первых заключенных по приказам первых чекистов. Это был «архитектурный ансамбль» эпохи большевизма. Наконец, непечатый край работы для арестантов оставил пожарище кремля. Им же предстояло привести в жилое состояние для начальства и солдат полуразрушенные здания в кремле и вокруг него и переоборудовать храм на Секирной горе под «Секирку», уже заселяемую с конца 1923 года.

Этот Ауке, как комендант Соловков (не смешивать его с Бариновым, начальником Первого кремлевского отделения с 1924 года или с осени 1923 г., состоявшего из 15 рот) подвигался и после, при Ногтеве, еще летом 1925 года, когда социалистов вывозили в политизоляторы (Клингер., стр. 194).

Ауке начал, а Ногтев поддержал травлю комсостава СПОН,а — Соловецкого полка особого назначения. Полк — 600 штыков — был прислан для береговой охраны Петроградским военным округом и, естесвенно, находился в его подчинении. Побаивались возвращения англичан. Но где ГПУ, там нет двоевластия. Лубянка прислала своих начальствовать над полком — пьянчуг из заслуженных партизан Петрова и Сухова. Комполка Лыков отказался сдать полк. На жалобу Ногтева, Бокий ответил: «Арестовать и судить Лыкова». Так и поступили. С того дня без позволения Лубянки или Ногтева ни одно официальное советское лицо не допускалось не только на остров, но и на материковые командировки СЛОН,а. Вот это и все, что удалось от Клингера узнать о делах на острове до организации управления Соловецкими лагерями в составе шести отделений: первого — кремлевского, основного, второго — Саввательевского, третьего — Муксальмского, четвертого — штрафного Секирного, пятого — на Кондострове для стукачей и нетрудоспособных, по разным причинам потерявшим ценность для лагеря, и шестого — на острове Анзер для «леопардов», сифилитичек и «мамок», а позже также для полной изоляции неработающих сектантов и «князей церкви». На Большом За-яцком острове вскоре открыли штрафной изолятор для «объя-вившихся», т.е. заявивших о своей беременности или пойман-ных за «наукой страсти нежной» с теми, кто по чину не имел на это неписанных лагерных прав. Сообщник шел на Секирку.

С весны 1929 года, когда Управление переехало с острова в Кемь, где уже расплодились десятки материковых команди-ровок, Соловки стали всего лишь Первым отделением УСЛОН,а, куда влились все шесть прежних, а с 1932 года — четвертым отделением УСИКМИЛ,а — Управления Соловецкими и Ка-рело-Мурманскими исп.-труд. лагерями. С 1934 года Соловки подчинялись Белбалтлагу, как его Третье отделение, а при Ежове получили «статус» особой тюрьмы.

Только что перечисленные первые шесть отделений обра-зовались не сразу, а в течение 1923-1925 годов, по мере за-полнения острова жертвами ГПУ. В начале, до привоза соци-алистов, почти все заключенные содержались в кремле и от-туда под надзором одна часть их отправлялась подготавливать новые пункты для пополнений в Саввательево, Муксальму и на Секирку, другая — на работы поблизости от кремля, приспоса-бливая многочисленные заброшенные постройки, гостиницы и службы для размещения управления, охраны и разных пред-приятий. Все этапы до 1924 года проходили карантин не в Преображенском соборе, а в трапезной, в которой затем — в

конце 1924 г. — устроили соловецкий театр на 700 мест.

Вместе с первыми партиями каэров из трех северных лагерей переехало на Соловки и их начальство из тех, кого комиссия ОГПУ под председательством Фельдмана в 1922 году почему-либо не наказала за зверства в этих лагерях. Рангом в УСЛОНЕ ниже Ногтева и Эйхманса, это начальство второго разряда, вполне понятно, перенесло на Соловки и свои, не отмененные Москвой, методы обращения с заключенными. От них эти методы переняли последующие поколения комендантов, старост, ротных, надзора. С расширением лагерной системы, Соловки стали как бы «академией», поставляющей «руководящие» читай: зубодробящие кадры для вновь открываемых лагерей. К сожалению, не много узнали мы о первом соловецком начальстве. Клингер приводит их имена в «галерее первых соловецких палачей» (стр. 172), но в очень скучной обрисовке. У других летописцев, привезенных годом-двумя позже Клингера, мы вообще этих имен больше не встречаем. Видимо, они не очень долго задержались на острове и вскоре были отозваны Лубянкой на более важные должности в «органах», чем простых палачей на Соловках. Только один из них — Михельсон — задержался до осени 1925 года, когда Дзержинский назначил его начальником ГПУ Киргизии. Об этом Михельсоне, как старосте в кремле, а после расстрела Тельнова (о ком — особая глава) — старосте на Поповом острове — тоже кратко, зато убедительно рассказал Седерхольм (В главе «Подготовка к Голгофе»). Добавим, что в Пертоминском лагере Михельсон недолго, весной 1923 года, был комендантом вместо снятого (и, может быть, расстрелянного) Бахулиса, забавлявшегося стрельбой с колокольни по работавшим в поле арестантам и по окнам корпуса, занятого социалистами, которым Бахулис не давал ни топлива, ни света.

До Михельсона старостой в кремле был некто чекист Савич, а в зиму 1925-26 года сей пост — не выборный для защиты интересов заключенных, как всюду в тюрьмах, а назначенный начальством — занимал Яковлев, — «неимоверно толстый, грубый и глупый бывший начальник московской милиции, известный среди заключенных как генерал, страдающий пародоманией, установивший особую таксу, от полтинника и выше, за разные поблажки и льготы лагерникам». Вообще, у Клингера все начальство Соловков, начиная с Ногтева, взяточники и вымогатели, каких поискать. Насколько это правда и почему, в меру возможностей, рассмотрено в главе о материальном быте на Соловках.

Вторым по зверствам после Михельсона в «галерее» Клин-

гера стоит Квицинский, чекист и коммунист из поляков без указания, какую он должность занимал и в чем состояли его зверства. Судя по прошлой деятельности, руки этого Квицинского, действительно, по плечи в крови и ничего хорошего соловчане от него ждать не могли. Клингер пишет (стр. 172):

«...До 1922 года Квицинский состоял помощником коменданта Холмогорского концлагеря, о котором не могут без ужаса вспоминать немногие уцелевшие, перевезенные оттуда в Соловки. Он начальствовал и руководил расстрелами в «Белом доме» — в заброшенной усадьбе вблизи лагеря. Разлагающиеся трупы казненных белых не убирались, новые жертвы падали на трупы убитых ранее... Перед ликвидацией лагеря Квицинский взорвал «Белый дом».

По сведениям из другого источника, председатель следственной комиссии и член коллегии ОГПУ Фельдман приказал скечь усадьбу и трупы. Третьим в «галерее» помещен Марьян Смоленский, польский коммунист, «известный архангельский палач» (стр. 173). А заслужил он известность тем, что первым ввел особые крючковатые палки, названные его именем — «смоленскими», которыми соловецкие чекисты лупили заключенных. Но трудно произносимое слово долго не удержалось в лагерном жаргоне и с 1925 было вытеснено более удобным, гибким и звучным — дрын, что, впрочем, не принесло соловчанам облегчения...

Клингер добавляет к «галерее» многих других, преимущественно из команды надзора, укомплектованной вольными и ссыльными чекистами, в чью обязанность в первые годы Соловков входили также расстрелы по приговорам. После, с осени 1925 года и до 1929 г., расстреливали солдаты соловецкого полка под контролем и при участии ИСО.

В надзоре служил некий «вольнонаемный полуграмотный рабочий Зубков, отличавшийся доносами не только на заключенных, но и на ссыльную (из чекистов) часть команды надзора». Этот Зубков — добавим мы к оценке Клингера — на острове уже настолько выслужился и понаторел в лагерной обстановке, что с переводом Управления в Кемь, его утвердили начальником пятого отделения на Кольском полуострове. Его заключенные прокладывали железную дорогу зимой от разъезда Белый к апатитовым залежам в Хибинах. Вместе с ссыльными, там работало до сорока тысяч человек. Сам Киров не раз наезжал туда для контроля и директив. Кирову поставили памятник в Хибиногорске (с 1935 г. город Кировск), а Зубкову дали новое задание: заготовить в зиму 1930-31 года 3 млн. кубометров экспортного леса для карельского Жел-

леса. Под начальство Зубкова свезли до 50 тысяч заключенных. Вместо дрына, Зубков придумал «бродячие командировки», или, на официальном языке, «кольцевые этапы», укомплектованные лагерными ворами, отказчиками, беглецами и промотчиками обмундирования. В любую погоду зимой конвой и собаки гоняли их с командировкой на командировку. Считалось, что в штрафном изоляторе сидеть на штрафном пайке легче, нежели бродить с «этапом» (Розанов, стр. 31-41).

Можно продолжить «галерею» Клингера еще десятком менее заметных фамилий, но в летописях с 1925 года они уже не упоминаются. На смену им пришли другие. О них в разных местах и за разные годы и рассказываем со ссылками на летописцев.

Конечно, сведения Клингера, приведенные в этой главе, отрывочны, полной картины событий первого года Соловков они не дают. Но без Клингера, повторяю, мы вообще бы ничего не знали об этом периоде.

Глава 2

ГОЛГОФА ВСТРЕЧАЕТ...

— Какая красота! — воскликнул бы турист, рассматривая в бинокль после сытного обеда соловецкий кремль, пока пароход подчаливал к пристану в бухте Благополучия. — Так это же советский северный курорт в живых декорациях шестнадцатого века! Изумительно! Природа-то, природа-то какова! — истинно в первозданном очаровании. И крики чайки белоснежной, запах моря и сосны...

...Нет, не мастер я по части громких фраз. Даже эти две ворованные, одну из романса, другую у Гете приkleил не к месту и опошили многоточиями. Пусть уж продолжит, кому и перо в руки — наш маститый М. Пришвин.

«...Мне бы хотелось, чтобы в будущем... здесь, в Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего севера (Был, был там такой, даже для всего Советского Союза и его братских компартий. Запамятали вы, Михал Михалыч!.. М.Р.) ...Здоровье приходит к человеку в действии (Именно так «они» и говорили: с пилой, тачкой или в упряжке... М.Р.) ...в действии, согласованном с его интимнейшей природой... в будущем доктора не станут посыпать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Вот тогда-то Соловки и сделаются любимейшим островом здоровья для всего севера...»*

*) М. Пришвин. Весна света. Глава: Соловки, стр. 497-515. Эта выдержка приведена крупным шрифтом, как эпиграф, в книге Богуславского: Острова Соловецкие. Забегая вперед, тут же добавлю, что Пришвин в августе 1933 г. в группе из 120 писателей тоже обезжал Беломорский канал. Он как-то словчился на короткое время отделиться от этих трубадуров Усатого и с Демьяном Бедным провел время в Зверосовхозе Белбалтлага — метастазе соловецкого Пушхоза, собирая там более безопасный, пригодный и действительно интересовавший его материал о жизни четвероногих диких зверей в неволе, оставив трубадурам обязанность описать двуночих, одичавших в ББК.

Но курортникам по путевкам лубянковских докторов было не до соловецких красот. Каждый гадал об одном: насколько хуже — а вдруг, да лучше? — встретят его в этом «санатории» после «амбулаторного лечения» на кемском перпункте и чем тут щедрее кормят: трескою или затрецинами? А главное из главных — останется ли у него на острове надежда сохранить здоровье и вернуться к семье, или суждено ему вскоре пополнить братские могилы?

Рыба, говорят, тухнет с головы. Главою Соловков, а, значит, наставником всей лагерной камарильи и ответственным за все, что там творилось в начале, был Ногтев, как бы наместник Глеба Бокия, осевший в кремле со своей семьей. Матрос «Авароры», Ногтев по праву считался активным участником Октября, после чего, как пишет Ширяев (стр. 92), он «помогал Саенко, знаменитому харьковскому чекисту». После такой «школы», Ногтев, конечно, был вполне пригоден самостоятельно командовать тысячами безоружных и запуганных арестантов, ибо усвоил на опыте простую истину, что фундамент нынешней власти — страх, и его обязанность в интересах собственной шкуры нагнетать его. Вот как о с этим справлялся по описаниям Ширяева (стр. 32-37), привезенного на остров 17 ноября 1923 года:

«...Перед рядами «пополнения» появляется владыка острова — товарищ Ногтев. От него, вернее от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни, мы еще не знали этого. И он, и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, в лапах которых мы уже побывали... Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй. «Вот — начал он к нам речь: — вам надо знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах — изумление), а соловецкая. То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас свой закон...» Далее дается пояснение его в выражениях мало понятных, но очень нецензурных, не обещавших, однако, ничего приятного. «Ну, а теперь, которые тут порядочные, три шага вперед, марш!»

В рядах полное недоумение. Молчим и стоим.

— Вот дураки!.. Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и прочие... Выходи.

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен (но к добру ли, вскоре узнают. М.Р.)... Больше половины прибывших шагает вперед и ряды снова смыкаются... Ногтев, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным

пошутить: — Эй, опиум! — кричит он седобородому священнику — подай бороду вперед, глаза — в небеса, Бога увидишь!

...Приветствие окончено. Начинается приемка партии. Ногтев в развалку отходит и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой показывается его голова.

Перед нами начальник административной части лагеря Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно не бритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшим, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова* списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Вызванные проходят мимо него и будки с Ногтевым и сбиваются в кучу за пристанью. После духовенства наступает очередь каэров.

— Даллер!

Генерального штаба полковник Даллер, полурусский, полушвед, выпрямленный, подтянутый, сидевший вместе со мною в 78-й камере Бутырок, размеренным броском закидывает мешок за плечо и четким шагом идет к будке Ногтева... Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, папаха — в другую. Выстрела мы не слышали и поняли происшедшее, лишь увидев дымящийся карабин в руках Ногтева. Два, очевидно, подготовленных шпаненка выскочили из будки и оттащили труп. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках.**

*) Клингер (стр. 169) называет Васькова, сапожника по профессии, начальником «следственной части». Возможно, что в первые два-три года концлагеря административная и следственная части (ИСЧ-ИСО) возглавлялись одним лицом, но вскоре каждая из них получила свой штат и свое начальство. «Васьков — это гроза на Соловках (Зайцев, стр. 103), опьяненный страстью к своей секретарше Томилиной, стоявшей на пороге освобождения, отправил ее мужа на Секирку, а сам вскоре зарегистрировался с нею. Седерхольм (стр. 332), отъезжая в октябре 1925 г. с Соловков, заметил, как «на берегу пристани «стоварищ» Васьков стоял, нежно обнимая свою молодую жену, укутанную в котиковую шубу». Жена-то оказалась молода годами, да стара норовом. В Севлаге, куда перевели Васькова, она уже чуть не в открытую лупцовала этого — «заслуженного чекиста». Кому другому не поверил бы, но не Китчину (стр. 211) Воистину: «Взял Фома Лукерью, так суд Божий пришел»...

**) Все-таки в 1923 году Даллера не свезли и не сбросили в лагерную скудельницу, а похоронили, очевидно, братья-офицеры на Ону-

...Перекличка продолжалась... — Следующий! — выкрикивает мою фамилию Васьков.

...— Да воскреснет Бог!.., — шепчу я беззвучно. Дуло карабина продолжает торчать из окна. Я не могу оторвать глаз от него и от волосатой красной руки с указательным толстым пальцем на курке... Ее, эту руку, я не забуду всю жизнь. Но я иду... Дуло все ближе и ближе... Нет, показалось... Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять. Зажмуриваюсь и прыгаю вперед... Должно быть роковая черта пройдена. Открываю глаза. Да... Окно будки с карабином позади... Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою! Жив! Жив!..»

Так переживал человек, уже дважды ожидавший расстрела. Что же чувствовали те, кто не видал войны, трупов, кого взяли от семьи, из научных кабинетов?

«Больше — продолжает Ширяев — выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору... Этими выстрелами он

фриевом кладбище за кремлем, и крест поставили, и даже четыре строчки из Блока выжгли на дощечке, если память и перо не зашли у Ширяева (стр. 331, 332). Впрочем, и Бессонов рассказывает, что в Кемперпункте в первые годы, когда умирал еврей, хоронить его выпускали единоверцев, если умирал лезгин или ингуш — покойника сопровождали мусульмане. Хоронили заключенных на кемском кладбище, за 12 верст от Попова острова, под покойника давали подводу, а единоверцам-конвой (Бессонов, стр. 175).

...Сколько же может быть Даллеров, полковников Генерального штаба? Не пристрелен ли Ногтевым Даллер, В.В., оставшийся служить большевикам? Он — один из сорока семи «военных специалистов, внесших важный вклад в достижение победы над врагом», поименованных на 158 странице книги «50 лет вооруженных сил СССР», Москва, 1968 г. В другой книге, Кляцкина «На защите Октября. 1917-1920» (Изд. Института Истории Академии Наук, Москва, 1965 г., стр. 72-ая), снова упоминается этот полковник: «...Представитель Генерального штаба полковник В. В. Даллер на совещании по демобилизации армии, созванном Наркомвоеном 28 ноября 1917 г., считал необходимым сохранить ячейки старой армии и свести их к 1 млн. 300 тыс., т.е. к довоенному уровню». Автор дает понять, что после «культа личности» они, историки войны, наконец-то получили доступ к засекреченным прежде архивам гражданской войны и ныне пишут об ее участниках вне зависимости от того, что стало с ними впоследствии.

стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому». Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, привлекшим чем-нибудь его внимание. Москва не могла не знать об этих беззаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах, но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного для ее жертв, террора».

После Ногтева, т.е. с осени 1925 года, когда начальником СЛОНа стал его помощник эстонец Федор И. Эйхманс из бывших студентов, тоже, конечно, большевик и чекист в чем-то провинившийся, «новоселов» на пристани не пристреливали, а приводили их к «закону соловецкому» иными средствами. Летописцы называют их так: Ширяев — «первичной обработкой» для 1925 года, Зайцев (1925-1927 г.) — «по чекистски взять в оборот», Никонов-Смородин (1928-1929 гг.) — «Каторжной присягой». В годы Розанова — 1931-1932 — эти методы подавления временно были отставлены и вновь прибывающие на остров просто били баклужи в двухнедельном карантине, а чтобы не было пролежней, их водили в баню, вошебойку, заполняли на них формуляры, переоблачали желающих и нуждающихся в лагерную одежду, устанавливали категории работоспособности, проверяли для формы наши чесомданы и сидора, а порою вручали метла подмести карантинный «проспект». Да и карантин тот проходил не в соборах с 2-3 этажными нарами, а в специально для того построенных бараках поблизости от пристани. Над воротами в карантин, помнится, красовалось какое-то приветствие новоселам, но какое именно — забылось.

Что же это, однако, за «иные средства подавления»? Обратимся за разъяснением сначала к Ширяеву (стр. 265):

«Всех прибывших, проверив их по списку, загоняли в одно из отделений Преображенского собора и тотчас же, разбив на группы, усыпали в лес на работу. (Это говорит он про свой и последующие этапы до 1930 года. Первые партии с лета 1922 года отбывали карантин в бывшей трапезной, с 1924 года отданной под лагерный театр. Проработав пять-шесть часов, они возвращались; если спали четыре-пять часов, затем их снова угоняли на работы, снова возвращались, и так в течение

10-15 дней. В это время на острове стояли белые ночи... Представление о времени терялось. На измученных, истомленных тюрьмой и следствием людей накатывалось раздавливавшее их волю бремя беспрерывного, бессмысленного труда. Ими овладевала безнадежность. Такова была цель «первичной обработки».

Так было в 1923, в 1924 годах. Годом-двумя позже та же система продолжалась под другим названием: «По-чекистски взять в оборот». Зайцев рассказывает (стр. 54, 57, 59, 67):

«Ночью привели нас к величественному собору, где новички впервые вкушают чашу душевных и физических мучений. После сортировки на «чистых» («своих») и нечистых, т.е. нас и уголовников, начался обыск, правда, поверхностный. Священные книги, отобранные у духовенства, так же, как литература и бумаги, изъятые у каэров, были потом полностью и в целости возвращены... Наконец, смешанными группами по 25 человек, нас заводили в собор и указывали место. Рядом с отлично одетым нэпманом с вещами лежала оборванная шпана, по бокам архиепископа — убийцы».

Клингер вспоминает (стр. 167), что в 1925 г. в Троицком и Преображенском соборах в трех общих и в одной карантинной ротах размещалось до 900 человек, а Седерхольм (стр. 294) для сентября 1925 года приводит цифру в 850 чел. в трех ротах: в 11, 12 и 13. Все они размещались на топчанах. Двух и трех-ярусных нар там тогда еще не было. В соборах зимой — пишет Клингер — невыносимо холодно, печи дымят, сквозняк, сырость. За отсутствием места и дерева для топчанов или нар, многие спят на полу даже зимою (1924, 1925 г.). Но вернемся к Зайцеву:

«Справа от входа в собор — продолжает он — в пристройке, где хранились уже разворованные вещи, служившие святому Зосиме в его обиходе, устроили отхожее место, и прямо на полу, а очищать его посыпали наказанных арестантов... Проверка... Развод... Рытье канав на торфяном болоте... Ночной ударник: делаем спортивную площадку для красноармейцев. (Так им объяснили, но спортом на ней занимались также ссыльные чекисты, нэпманы и вообще лагерные счастливчики и удачливые ловчилы. М.Р.) Еще не управились с полутора фунтами хлеба и супом из гнилых селедок, опять: — «Вылетай на поверхку. Гав-гав-гав!». За поверхкой — развод. Теперь таскаем горбыли с лесозавода в кремль... Итак, за двое суток мы были на работе 36 часов лишь с тремя перерывами по два часа, без сна и голодные... Вот это чекисты и называют «взять в оборот», отчего иные измощденные падали на месте работ, у других

были разрывы сердца... На поверхке, наконец-то, порадовали: не будет ночной работы. Вот теперь-то поспим, пусть на пустой желудок! Возвращаемся на свои места и обнаруживаем, что шпана обчистила своих соседей по нарам, особенно духовенство, да и у меня распороли чемодан. Всех выгнали из собора и сделали поголовный обыск. Конечно, как и всегда впоследствии, ничего не было найдено. Шпана препроводила украченное в другие роты и за кремль. Все же после этого нас пересортировали: уголовников — на одну сторону, тех, кто с багажем — на другую. Особое снисхождение сделали духовенству, как тяжело пострадавшему: его и меня с ним поместили в бывшем алтаре. Утром мы обнаружили, что наши архиепископы (Зайцев поименно перечисляет их. М.Р.) спали на досках, положенных на жертвеники...* Вот в таких условиях держат новичков две недели. Заболевшие в это время уже непременно слагали свои кости на Соловках. В нашей роте один повесился, двое отрубили себе кисти рук и пятеро бежали в лес. При облаве на них, двоих, кажется, убили в лесу, а троих расстреляли по приказу Москвы, в том числе Драгуна и Зайцева (О бандите Драгуне, его побеге и расстреле красочно как всегда, рассказывает Ширяев на стр. 288, 289. М.Р.).

Через три года — летом 1928 года — после знакомства с Курилкой в Кеми, на «остров слез» ступил Никонов-Смородин (стр. 19, 21, 95, 114-117). Кремль в то лето был переполнен узниками, как улей пчелами, а этапы все прибывали и прибывали принимать «каторжную присягу».

«После нудной процедуры приема, обыска и бани, нас, наконец, водворили в 13-ую карантинную роту в Преображенском соборе. Ротный Чернявский из заключенных, не глядя на нас, пробежал к окну и оттуда глухим, надтреснутым голосом дал «наставление»: — Сейчас на поверхку. Здесь — не дача... Дежурному стрелку отвечайте дружно, иначе... После поверхки пойдете на ночную работу».

— Но мы и прошлую ночь не спали, — осмелился возразить инженер Зорин. Чернявский даже позеленел, пораженный дерзостью: — Я из вас повыбью сон!.. Ваша жизнь кончилась. Распустили вас в тюрьмах. Запомните раз и навсегда: вы не имеете права разговаривать с надзором и охраной. Никаких

*) Киселев-Громов на стр. 105-ой утверждает, будто существовало устное распоряжение начальника ИСО командиру карантинной роты Чернявскому помещать духовенство всех религий на нарах в алтаре вместе со шпаной.

вопросов! Поняли? Вы на Соловках и вам нет возврата.

Чернявский выбежал, а один из его помощников выстроил нас и вывел на поверку в самый собор. В роте было около 3 тысяч человек.* Прибывшие с нами «имяславцы» и муссаватисты отказались выходить на поверку. Их потащили силой... Два с лишним часа шло построение, счет, перекличка. Дежурный красноармеец принимает рапорт ротного, подходит к строю: — Здравствуй, тринадцатая! — «Здра!» — гудим в ответ. В камеру мы не вернулись. Всю ночь в кремле перетаскивали железный хлам и бревна, мели и чистили мощеный камнем монастырский двор. А завтра и послезавтра те же хлам и бревна таскаем на прежнее место... Такова одна из особенностей соловецкой каторги: нет настоящей работы, так занять арестантов водотолчением, лишь бы не давать им отдыха. Только к утру, всего за 2-3 часа до поверки, добрались мы до своих нар. А после поверки погнали на торф. Сквозь кремлевские ворота текло два потока людей: больший — наружу, меньший — с работы внутрь, в свои роты. Торфяная машина работала беспрерывно и мы едва-едва успевали обслуживать ее. Только на время передвижки вагонеточных рельсов выпадал короткий отдых. Вдали по дороге в лес через луг шли женщины с граблями и лопатами и до нас доносилась их песнь... Не брежу ли я в кошмарном полусне?.. А вечером, после торфа, снова выгнали на «ударник» по очистке кремля, а днем опять на тяжелую работу — возить сырец на кирпичном заводе из сушилки в печь. Петр Алексееви Зорин (инженер) свалился с тяжелой тачкой в канаву и лишился чувств. Его отправили в лазарет... Только две ночи за неделю мы спали по шести часов и почитали это за счастье... Две недели карантина кончились и трое из нас попали в сельхоз на уборку сена».

Спустя три года весной 1931-го на Соловках оказался и Розанов, уже переживший на материке весною 1930 года «крещение новоселов», летом — приказ коллегии ОГПУ о расстреле соловецких «произвольщиков, искривлявших лагерную политику».

«Здесь, на Соловках — читаем у Розанова (стр. 43 и 45) — то же кончились черные дни дрына. Лагерная администрация

*) Такая численность возможна, как исключение и только для лета 1928 г. Арестантов не успевали распределять по другим ротам и пунктам сообразно трудоспособности, специальностей и «особых указаний». Зимой, как правило, карантинная рота почти пустовала. М.Р.)

из вольных и заключенных теперь держала себя чинно. Двухнедельный карантин в пересылке — не в кремлевских соборах, как прежде, а за кремлем в новых хороших бараках — прошел совсем иначе, нежели «боевое крещение» на Лоухи-Кестеньгском тракте. Нас не учили кричать «Здра!», не гоняли в ледяную баню, не томили на построениях, поверках и разводах. Никто не напомнил, что «тут кончилась власть советская...» и что «сюда прислали не для исправления, а для истребления». Время текло спокойно и однообразно. Нас даже на работу не посыпали. Невероятно, однако факт! В этапе нашем преобладала интеллигенция церской школы.* Тут были научные сотрудники по «Делу Академии Наук» в Ленинграде, по «Делу Промпартии» и «Союзу Освобождения Украины» — СВУ, но были и урки из тех, кто бежал и был пойман на материке. Их ожидала Секирка, правда, не прошлых лет, но и теперь в ней калачами не кормили.

В 1933 году с открытием навигации переправили на Соловки Семена Пидгайного, летописца их последних концлагерных лет, вот так судившего далекое прошлое монастыря и современные события в нем через свою шовинистическую призму:

«...Мрачно, подозрительно и угрожающе смотрел на нас Соловецкий кремль, — начинает Пидгайный описывать первую встречу с островом. — Он схож с гигантским саркофагом из колоссальных камней, построенным, чтобы стоять вечно... Кремль прославляет Бога даже не Москвы, а этих островов Смерти. ...Это Иван Грозный потребовал, чтобы монастырь превратили в крепость против западных народов, и монах Трифон составил план, включивший мощные башни, подземные камеры и казематы... с подземными проходами и лабиринтами... Московские цари от Ивана до Петра держали среди монахов своих подосланных шпионов, чтобы предупредить измену, но все же она произошла, когда Петр Первый запретил пользоваться старыми книгами...

Нужно ли дальше цитировать? Приведенное выше, взято со стр. 65-ой английского текста, а вообще «истории» монастыря отведены страницы с 61 по 69 вкл., из которых, между прочим узнаем, что на Соловках умерли заключенные там декабристы

*) Начисто перезабыл всех из моего этапа на остров, кроме однофамильца Сергея Александровича, библиотекаря Академии Наук, чуть ли не втрое старше меня, да еще Ивана Хрисанфовича Озерова, профессора финансового права по делу Промпартии, да и то потому что он лежал на нарах по соседству со мной, и рассказывал интересно о прошлом.

Трубецкой и Волконский (конечно, князья), о чём даже большевики не знали, перерыв все архивы о декабрьском восстании 1825 года... Пока соловецкое начальство готовилось к приему новоселов, они, вместе с Пидгайным, с открытыми ртами слушали рассказы урок, уже вторично попавших на остров:

«Да разве это этап! — передает их побайки Пидгайный:

— Вот нас везли в двадцать девятом — три тысячи!.. Багаж?! Какой багаж?! Не до него тогда было. За десять минут всех построили. Сам Курилка вышел к строю. — «Здра, заключенные!» Ответили ему, конечно, да не так, чтобы и на Соловках услыхали. Ну, и досталось же от Курилки его гавкалам! Как пошел он лупить их своим суковатым дрыном, только повертывайся! «Царю-кричит — служили, а пролетариату не хотите? Даю вам час обучить строй здороваться. Не справитесь, дам дрыны тем, кто в строю, — пусть сделают из вас мокрое место... А потом подошел к матросу, приметив, что не ответил тот «Здра!» и раскровил ему лицо дрыном, скомандовав: — «Пулеметы вперед!» А сам направил свой револьвер на матроса и снова крикнул «Здра!». Бедный матрос, прежде пожимавший руки Ленину и Троцкому, ответил «ЗДРА» и заплакал, покоренный Курилкой. Вот было времячко! Теперь — то Соловки уже не те, не сравнить их с прежними, — резюмировал урка (видимо, готовясь еще чем-нибудь ошараширить фрайеров. М.Р.).

Про таких и пословицы добрые сложены: что больше врет, то пуще развирается; врал до обеда, и к ужину оставил; на одного враля по семи ахальщиков. Но Пидгайный передает эту чепуху иностранцам за чистую монету, а, может, он и сам ей поверил. Однако, обстоятельства не дали уркагану времени перейти ко второй части «лагерных страстей»:

«Раздалась команда: — Встать и разобраться в рядах! Постыдился стук колес и мы увидели двух чистокровных жеребцов, запряженных в экипаж, и кучера. Ну, уж и кучер! — словно с дореволюционной картинки: борода окладистая, расчесаная, кафтан зеленый, кушаком красным перетянутый, и в довольно театральной шляпе. За его спиной сидел сам начальник острова Иван Иванович Пономарев».

Дальше от автора узнаем всю подноготную о Пономареве, словно он рылся в его личном деле. О прошлом Ногтева, Эйхманса, Зарина, Солодухина — начальников острова — прочие летописцы почти ничего не знали и судили о них по их поступкам в лагере, да по лагерным парашам: приехали, мол, на остров в наказание за взятки, за «искривление чекистского пошиба» и т.п., но все это, хотя по существу и верно, но фор-

мально бездоказательно. Пономарев у Пидгайного весь на ладони: верой и правдой служил царю, потом Деникину и, разумеется, в карательных отрядах. Смекнув, кто победит, перехватнул к красным. Скрывая прошлое (Еще бы не...), пролез на работу в Особые отделы ЧК и в 1921 г. вступил в партию. Уже поднялся высоко по чекистской лестнице, да встретился знакомый по прошлым делам и опередил Пономарева с донесением. Исключили из партии на пять лет и отправили на Соловки «до искупления». Шел третий год, как он управлял островом... Выходит по Пидгайному, что Пономарев на Соловках либо с осени 1931 г., либо с весны 1932 г. Но как раз в эти годы я был на острове, часто заходил в управление Четвертого отделения и фамилии начальства его знал и помню очень хорошо. Пономарева среди него не было. Он мог занимать какую-нибудь должность на материке в Управлении всеми лагерями, но тогда так и надо было сказать, а не сажать Пономарева на занятые места... На Соловках начальствовал Солодухин, с двумя ромбами, т.е. в генеральском чине, а его помощником был Квитневский, с одним ромбом; в культивоспитчасти сидел серенький незаметный Истомин, а в ИСЧ — стройный, худощавый Мордвинов. Все это начальство так или иначе пострадало за пожар в кремле в конце лета 1932 года, а фактически за то, что мы его не видели и почти не чувствовали, если сравнить с тем, что творилось на Соловках прежде, при другом начальстве и других инструкциях от ОГПУ.

«С важностью царя — описывает Пидгайный — Иван Иванович, сопровождаемый свитою, медленно прошел вдоль рядов заключенных, что-то шепнул начальнику 3-ей части (ИСЧ) и, возвратившись в карету, оттуда обратился к нам с речью».

Речь в передаче Пидгайного заняла полторы страницы и сводилась к тому, что, мол, вас, контриков, лучше бы шлепнуть, чтобы не путались под пролетарской колесницей, но великий и мудрый Учитель приказал сохранить вам жизнь и перевоспитать в сознательных помощников партии и правительства, но... и потянулись вереницей эти «но»:

«...Мир ваш ограничен: кремль и Секирка. И я обещаю вам: за отказ от работы — расстрел, за попытку побега — расстрел, за контрреволюционную агитацию — расстрел... Поняли?».

С такой речью к пригнанным на истребление не обращался даже Ногтев десять лет назад. «Здорово, грачи!», — так иногда приветствовал он «рекрутов» по воспоминаниям Ширяева и даже порой угощал спиртом, консервами или освобождал от

работы., а шлепал одного-двух «просто так, для острастки, по должностной нужде»...

Целую неделю (а все же не две, как предписывалось ГУЛАГом), этап Пидгайного провел в бараках карантинного городка, уже описанного Розановым. На работу их тут «принимать присягу» тоже не выгоняли, а хлеба давали даже больше, чем Чернавину в Кемперпункте — по 600 граммов и суп называли не баландой, а тюремным, т.е. словно погуще, попитательней. И на клопов не жаловались — справились, значит, с этой казнью египетской. Этап Пидгайного вскоре рассортировали: одну часть отвели в закрытый изолятор, т.е. к запретникам (14-я рота), другую разместили по трем рабочим ротам в кремле, а остальных отправили на разные работы по острову. Пидгайный попал на Пичуги сжигать высушенные морские иодосодержащие водоросли. Этот промысел зародился на Соловках (и продолжается поныне вольными) еще с 1929 года. В 1931 году уже добыли из этих водорослей первый пузырек кристаллического иода и заведующий йодной лабораторией — известный профессор, вскоре самолетом переброшенный в лабораторию Радиевого промысла Ухтпечлага на р. Ухте, не раз угощал меня спиртом, отпускаемым для лабораторных опытов с водорослями. Фамилию его забыл, но Филиппов, сотрудник НРСлова побывавший на этом промысле, возможно, его помнит.

Глава 3

НА КАЗЕННЫХ ХАРЧАХ

Ногтеву пришлось кормить своих «грачей» — первых соловчан — тем, что удалось найти и захватить на месте. На их счастье, как сообщает Клингер (стр. 182):

«При эвакуации, армия Миллера и английские отряды оставили в районе своих действий значительное количество муки, плененного сахара, американского сала, консервов, мыла, даже английского обмундирования. За невозможностью вывезти все эти «трофеи» в центр (а там в них в 1921 и 1922 гг. очень нуждались. М.Р.), продукты выдавались нам, но с таким расчетом, чтобы заключенные лишь не умерли с голода. Но запасы были и выдавались они регулярно и, главное, на руки, в сухом виде... Как ни странно, но (благодаря этому) питание заключенных вначале было поставлено лучше, чем теперь (т.е. в 1925 г.).

Мальсагов подтверждает (стр. 160):

«Пища из английских продуктов была лучше и на Кемском перпункте до «смены кабинета Гладкова» (первого там начальника, т.е. до весны 1924 г. М.Р.).

К этому следует добавить, что монастырские запасы зерна, крупы, муки, овощей к моменту превращения Соловков в концлагерь, еще не были полностью разбазарены и тоже оказались большим подспорьем. На другой, 183-й странице, Клингер поясняет:

«Чай, постное масло, мыло и прочее, хотя они и присылаются из центра, но еще на материке Ногтев с компанией продают их спекулянтам, присваивая деньги себе. Один из освободившихся чекистов сообщил об этом на Лубянке, после чего в Соловках стали выдавать махорку по четверти фунта на неделю, т.е. по две пачки».

Тут же он присовокупляет:

«Сам видел неоднократно в книгах, что табак значится выданным по полфунта на неделю».

Из полувекового личного опыта знаю, что выкурить за неделю четыре пачки махорки может только заядлый дымосос, но уж никак не на таких расчитываются нормы на Лубянке. Табачные нормы учитывают также наличие некурящих. Подо-

бные «перехлесты» в повествованиях Клингера могут быть поставлены в вину и другим летописцам, включая и автора «Завоевателей...». В одних случаях эти «пересолы» объясняются неосведомленностью, в других — легковерностью к разным лагерным «парашам», а в иных — у большинства летописцев — верой в то, что чем страшнее описать Соловецкий концлагерь, тем больше поможешь борьбе с большевизмом. Каковы бы ни были причины искажения, они подобны «соцреализму» и вводят читателя сначала в сомнение, а потом и в неверие всему, что напечатано о концлагере, особенно после описаний умилительной тюремной жизни в СССР таких лиц, как Горький, Б. Шоу, Ромен Роллан или профсоюзных делегаций из Англии и Соединенных Штатов. Я не приверженец еще более чернить и без того черное, а все ж доводилось...

Пишу, и предвижу окрик: «Цыц, недобитый! Доживал бы лучше не рыпаясь в своей конуре. Мы лучше знаем, как, что и какими красками описывать Соловки. Не учи ученых!». Особенно постараются те, кто не только не был в Соловках и вообще в лагерях, но и под советской-то властью не жил. Уже был такой несколько лет назад, скрывшийся под инициалами. На мою статью о забастовке каторжан на Воркуте, в которой я утверждал, что забастовщики добивались того, что в Соловках и в Ухтпечлаге определенных лет мы имели и без забастовок, он ответил, будто я скучаю по Соловкам и намекнул, что было бы лучше мне... Тут хорошо бы сослаться на мнение Гоголя о «патриотах за углом» из XI главы «Мертвых душ», но предвижу, что к тому найдется еще много окаяй... Так что вернемся к начатой теме.

Можно считать, что с 1925 по 1929 г. включительно до-вольствие заключенных на Соловках не претерпело каких-либо заметных ухудшений или улучшений. На оценке его летописца-ми за этот период не малое влияние оказали годы опубликования воспоминаний и личная судьба авторов в лагере. Приведем несколько выдержек. Самая краткая у Ширяева (стр. 45, 46):

«Кормили беспрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого — полкило. Жиров не было совсем... Пища была еще одинакова для всех».

Генерал Зайцев (стр. 74, 75; годы: 1925-1927) рассказывает о «кормежке» более подробно, потому что, в отличие от Ширяева, сам голодал там порядочное время:

«Горячая пища выдается арестантам два раза в день: в 12 ч. — обед, в 7 — ужин. Обед состоит из воображаемого супа

и мнимой каши. Суп — чаще всего из соленой трески и более или менее напоминает все-таки суп и имеет некоторую питательность. В мое время это было самое желательное для арестантов блюдо. Сколько закладывалось трески в котел, не берусь сказать. В таком супе нам иногда попадаются косточки от голов трески, хвосты, а мясо — редко. Если оно и было в кotle, то разошлось по «блатным» — по всякому лагерному начальству. Бывает суп из сухих овощей, конечно, порченых — одна мутная водица без вкуса. Иногда варят суп из селедок, само собой, сгнивших, назначенных в госторгах к уничтожению. По воскресеньям суп именуется мясным. В него закладывается сбой (внутренности и конечности), в большинстве — лошадиные ноги, даже с подковами казенного образца, как говорят, от павших лошадей (Вот классический образец «перехлеста»: раз подкова, значит копыто, раз копыто, значит от дохлой лошади... М.Р.)... Каши на обед выдается по четыре столовых ложки с приправой из трех капель растительного масла. На ужин столько же одной каши — гречневой или пшенной. Главный продукт питания соловчан — хлеб, но его выдают арестантам рабочих рот по полтора фунта... Заключенный доктор В. из санчасти, обязанный наблюдать за кухнями и продуктами (и закладкой в котел подков и копыт тоже?... М.Р.) говорил, что неработающий арестант получает лишь 50 процентов необходимых ему калорий и всего лишь 30 процентов тот, кто тяжело работает.

Однако дальше, через сорок пять страниц (на 119-ой) Зайцев вносит существенную поправку:

«Правда, питание лесорубов значительно лучше. Они получают усиленный паек: три фунта черного хлеба и в увеличенном размере приварочные продукты».

К этому следует добавить из Ширяева (стр. 224), работавшего одно время на вязке плотов, что:

«...хорошими вязчиками дорожили: их прикармливали, давали вволю хлеба, даже мясо. Работа на плотах считалась самой тяжелой на Соловках и немногие могли выдержать шестичасовое стояние по пояс почти в ледяной воде. Плохо связанный плот мог быть разбит при буксировке его к материку».

Седерхольм (стр. 119 и 320), в сентябре 1925 г. переведенный из карантинной роты в десятую канцелярскую, добавляет кое-что новое:

«Нашей роте и некоторым другим, а также занятым за пределами кремля (и там проживающим. М.Р.), выдают сухой паек на две недели, достаточный, впрочем, только на десять дней, не больше. Паек состоит из соленой трески, гречневой

крупы, сухих овощей — 600 гр., картофеля, подсолнечного масла — 500 гр., соли, влажного сахара — 150 гр. и полкило хлеба на день. Все же быть на сухом пайке лучше. Кто питаётся с общего кремлевского котла — а в него закладывают на пять тысяч ртов — получает и того меньше, ибо продукты раскрадываются».

Тремя годами позже, в 1928 и 1929 гг., Никонов-Смородин (на стр. 196) дополняет Седерхольма относительно сухого пайка:

«Наконец, я добрался до прилавка каптерки, где выдавали сухой паек. Этим делом были заняты священник и два монаха. Вообще, в первые годы соловецкой истории (не в «первые», а с осени 1925 года, когда убрали Ногтева с острова. М.Р.) на всех работах с материальными ценностями, где требовалась честность, работали священники.* Впоследствии их сменили евреи (т.к. лагерей стало больше, а священников осталось меньше — многих угнали в ссылку, других назначили счетоводами, — а евреев нагнали больше, чем стало лагерей. М.Р.). Священник нашел в списке мою фамилию и начал нагружать меня соленым мясом, соленой рыбой, картофелем, мукой для заправки, луком, свеклой, морковью (овощами лагерного сельхоза. М.Р.), маслом, крупой, сахаром... С общего котла — продолжает Никонов уже на стр. 168 — пища была грубая и скудная. Утром полагался кипяток, в обед суп-баланда и на второе — каша с растительным маслом. На ужин — каша или картофель. Такое питание плохо помогало обманывать голод. Но была еще третья категория довольства для привилегированных каторжан — денежный паек. Выдавали квитанцию на 9 руб. 23 коп. и по ней обладатель мог приобрести в розмарке или в ларьках все, что захочет, даже пшеничный хлеб. Только

*) В «Предистории...» Клингер (стр. 166) объясняет:

«Выдачей продуктов долгое время (1922-1923) заведывали чекисты из заключенных, обкрадывая всё и всех... Заняв более выгодные должности, они передали свою работу уголовникам. Грабеж продолжался, но не столь открыто. Тогда по настоянию всего лагеря каптерки были переданы духовенству». Ширяев (стр. 44) все это объясняет проще и правдивее: «Практичный Эйхман сдал снабжение продуктами духовенству, до того рассеянному по уголовным ротам и не допускавшимся к сравнительно легким работам. Епископы стали у весов за прилавком, дьяконы пошли месить тесто, престарелые — в сторожа. Кражи прекратились».

с 1931 года в них исчезли все продукты и наступило голодное время».

Относительно 1931 года Никонов, тогда уже отправленный с острова, не совсем прав. Розанов (стр. 53, 54) уточняет:

«На лагерные боны и на эти «расчетные квитанции» (выдаваемые со счета личных денег или как «премиальное вознаграждение» за работу) в соловецких ларьках, особенно в сельхозском, за кремлем, в 1931 и 1932 годах часто свободно продавались по терпимым ценам худшие сорта свежей рыбы своего улова, разные овощи, тюлений жир, кости, колбаса, начиненная всякой съестной дрянью, и кое-когда молоко. Лагерные рыбпром и сельхоз отпускали ларькам эту свою продукцию, но без прямого ведома Лубянки. Кому не хватало пайка, но были боны, мог купить картофель, капусту, свеклу, морковь, лук и полкило «мослов» и сварганить борщ или поджарить картофель на тюленьем жиру. Нужда и смекалка научили очищать его от противного запаха и вкуса. Но с лета 1932 г. повеяло другим ветром. Все запасы продуктов и овощей вывезли на Беломорканал. Предельную норму хлеба с 1300 граммов (кило пайкового на тяжелых работах и 300 гр. за счет прем-вознаграждения) снизили до килограмма: 800 гр. плюс 200 гр. Пошли в котел молодые листья брюквы, репы, моркови и крапивы (но зато эту бурду на первое и второе в Преображенском соборе, в столовой, канцеляристам, которыми продолжал кишеть кремль, подавали наши опрятно одетые девушки из жененара...). Вот тогда-то и опустели соловецкие ларьки. Вскоре стали исчезать чайки, за убой которых полагалась Секирка с первых лет лагеря. Кто-то увел с кремлевского двора в лес и там зарезал нашего старенького ручного Мишку-оленя, общего любимца и питомца».

Однако уж такой жути на Соловках в 1929-1932 годах, которой страшает американцев, англичан, канадцев и австралийцев Пидгайный в своих «Островах смерти» ни я, ни Никонов, ни Андреев, ни Олехнович, ни Витковский не видали и не слыхали про нее просто потому, что она приснилась Пидгайному где-то в ди-пи лагере западных украинцев в Баварии. А он вот что расписывает им, еще похлеще тех урок, что «врали ему до обеда и на ужин еще оставили». Возьмем для примера выдержку со стр. 104-й:

«В 1929 году во время произвола на Соловках зарегистрировано много случаев людоедства. Между 1932 и 1933 гг. учтены сотни подобных случаев, не считая скрытых начальством. С 1934 года администрация повела отчаянную борьбу с людоедством, потому что стало опасно без охраны выйти куда

— нибудь. Уголовники, бежавшие в лес, объединились в банды и съедали всякого, кто попадал к ним в руки. Позже на материке я встречался с такими людоедами и они объяснили мне, каким способом убивали и варили человечину...»

Известно, что на острове к зиме 1932 года осталось лишь пять, ну, может, шесть тысяч заключенных. Приняв на веру от Пидгайного сотни съеденных плюс скрытых начальством, приедем к выводу, что если не каждый десятый соловчанин, то уж двадцатый непременно пошел на «премиальное блюдо» бежавшим уголовникам. Это куда страшнее 105 самоубийств на 620 «индейцев» на Кондострове за лето 1929 года, чем пугает Киселев-Громов (на стр. 126-130). Такого, как Пидгайный, ни Киселев, ни Эссад-бей не придумали... Правду сказать, в лес уголовники в 1932 году бежали, но не от того, что животы подвело, а на время от этапов в Ухтпечлаг «на штурм угля и нефти» и на Белбалтлаг, чтобы «по берегам великого канала построить новые стальные города». Они знали, что их ожидает на материке в новых лагерях и предпочитали от этапов скрываться в лесу «у зеленого прокурора» до закрытия навигации, припевая:

Пусть там рвется динамит и аммонал,
На хрен сдался Беломорский нам канал...

Их вылавливали, запирали в карцер и в последний час перед отходом «Глеба Бокия» или «Невы», загоняли в трюмы. Такие были и в моем этапе осенью 1932 г. в Ухтпечлаг, но человечины они не пробовали. По закону блатного мира людоедство в побегах карается смертью, и ни один людоед не рискнет рассказывать о своей «кулинарии», тем более каждому встречному-поперечному, вроде Пидгайного, да еще в лагере, где за судом уголовников задержки не бывает. Летом 1931 года я, как таксатор соловецкого лесничества, в одиночестве искалесил десятки верст по лесным кварталам Соловков, определяя запас и породы леса, и ни разу не повстречал беглецов, да и слухов даже таких не ходило.

Да и Витковский (стр. 166) вот что пишет про лето 1931 г. на Соловках:

«...Чаще всего один отправлялся по острову. Через две недели на Соловках не осталось уголка, где бы я не побывал... Кормили лагерников тогда не так уж плохо».

Наиболее беспристрастную справку о нормах довольствия заключенных на острове дал Отрадин-Андреев (в НРСлове от 4 октября 1974 г.), с небольшим перерывом работавший в лагерной бухгалтерии с весны 1927 г. по лето 1929-го:

«В бухгалтерских бумагах наткнулся на первые нормы пи-

тания. Ахнешь от удивления! Красноармейский паек! Кто его получал? Может, политические, содержавшиеся на Соловках до лета 1926 года? (точнее: до июля 1925 г. М.Р.). И позже, до 1929 года паек оставался достаточным. Пять дней в неделю полагалось мясное и два — рыбных. Паек, правда, уже дифференцировали: для тяжелых работ, средних, легких и штрафной. Мяса в котел полагалось 100 граммов, рыбы — 200, крупы — 100, овощей — 300, хлеба — 600 (столько хлеба полагалось по «производственному», т.е. среднему пайку, а норма овощей никогда не была ниже 600 граммов, кроме штрафного довольствия. М.Р.), растительного масла 35 гр. (поллитра на две недели, как выше приводил Никонов. М.Р.)... С 1929 года граммы поползли вниз, кроме хлеба. В тридцатые годы гречиха, фасоль, горох исчезли и даже пшено стало вытесняться ячневой сечкой... О питании заключенных можно сказать: много было на бумаге, да не всем все попадало в желудок... И если, как правило, соловчане тогда (в 1927-1929 гг.) не умирали от голода и холода, то начальник-зверь всегда мог уморить заключенного, держа его на штрафном пайке, и довести до смерти морозами в лесу или в карцере. Ужас тех лет не сводился к недостатку лагерной одежды и питанию... Можно было подкупать продукты в ларьках и в розмаре на первом этаже управления (направо, последняя дверь с левой стороны, почти против типографии, где я иногда набирал газетный текст. М.Р.). Там были любые продукты (и арбузы, ей-ей! Сам видел, как лагерный барин едал... М.Р.) и по ценам даже ниже, чем на воле. Заключенный имел право получать из дома ежемесячно 50 рублей; тогда в лагере это были большие деньги, их редко кто имел.* На руки выдавалась «денежная квитанция» на ту или иную сумму».

*) Я чуть не взвыл, обнаружив в 1932 г. покражу зашитой в бушлате пятирублевой «расчетной квитанции». Выглядели эти «квитанции», как настоящие деньги, с серийными номерами за подписями члена коллегии ОГПУ Г. Бокийя и начфинотдела ОГПУ с оговоркой, что имеют хождение только в лагерях Особого Назначения ОГПУ. Датированные 1929 годом, они выпускались купюрами в 2, 5, 10 и 50 копеек, в 1, 5 и 10 рублей. Часть их переснята в книге Кравченко на английском «Я выбрал законность». Ни одна союзная республика не имела права печатать свои банкноты. ОГПУ плевало на право. Но в 1933 году Наркомфин СССР как-то добился отмены этих квитанций, как «незаконного суррогата» и в лагерях тогда их обменяли на советские дензнаки. Вольные в Карелии выменивали на водку или

Кому-то из информаторов-соловчан изменила память и Солженицын с его слов передает (стр. 48), будто «из денежных переводов можно использовать в месяц 9 рублей — есть ларек в часовне Германа (между соборами. М.Р.). Девять рублей — это, очевидно, те 9 руб. 23 коп. денежного довольствия для привилегированной категории арестантов, о которой упоминал выше Никонов. С лицевого счета, на который записываются отобранные или присланные родственниками деньги, можно взять или, точнее говоря, могли дать квитанцию и на рубль, и на десять, и на пятьдесят рублей или вообще отказать в выдаче. Это зависело от года, от настроения того или иного начальника, от положения заключенного и от суммы на его счету, а прежде всего и больше всего — от блата, самой действенной и мощной силы в лагере. Не зря из Соловков разошлись по лагерям поговорки: Не имей отца и брата, а имей кусочек блата; ГПУ сильно, а блат сильнее и др.

Кроме того, работавшим на производствах и в конторах стали начислять и выдавать с рядом оговорок и ограничений так называемое «денежное премиальное вознаграждение» вот этими квитанциями, которые мы часто называли бонами. Но практиковалась и другая система, заменявшая квитанции. Раз в месяц или каждые две недели — где как — составлялся список, кто сколько «заработал». В зависимости от суммы — от полтинника до нескольких рублей — в вертикальных графах ведомости проставлялось, какое количество тех или иных продуктов, кондитерских изделий и табака, с учетом наличия их в ларьке, разрешалось приобрести каждому. Там, где не было таких списков, выдавали взамен «премиальные карточки» с талонами на каждый вид продуктов и товаров. В книге Никонова есть фотостат такой карточки на его имя, только с Белбалтлага, но она — почти точная копия карточек соловецких. Карточки эти очень искусно подделывались урками, результатом чего был перерасход премиальных фондов с порчей нервов у начальства и следователей ИСЧ. Виновных, обычно, не находили.

Ларьки и розмаг были и до Андреева-Отрадина, чуть ли не со второго года существования концлагеря. Про них вспоминают все летописцы ранних периодов, начиная с Клингера, относя открытие «торговых точек» сразу и в вину, и в заслугу

обменивали на дензнаки с большим «бонусом» эти лагерные «квитанции», на которые потом в лагерных ларьках они могли купить многое из того, что уже исчезло на воле.

их инициатора — Френкеля, о котором дадим особую главу. Приведем в подтверждение сказанного несколько выдержек. Клингер (стр. 175), покинувший остров осенью 1925 г., пишет:

«В последнее время Френкель, начальник эксплоатационно-коммерческой части, увлекается новым «делом»: в самом кремле (в часовне Германа. М.Р.) и в некоторых скитах (еще не переименованных в «командировки» и в лагпункты. М.Р.) открываются небольшие казенные магазины. В них имеются любые товары: обувь, одежда, продукты питания, даже вино. Если вы имеете деньги на своем счету, то в лавочках по разрешению можете покупать и в кредит (не забывайте, что «расчетные квитанции «появились с 1929 г. М.Р.»), но процентов на 50, очень часто и на 100 проц. дороже общесоветских цен. За счет такого грабежа заключенных, товары продаются администрации, чекистам и красноармейцам на 50-100 проц. ниже их рыночной стоимости... Лишь малая часть заключенных получает из дома деньги, к тому же чекисты часто лишают их права на них и присваивают деньги себе».

«Присваивать» могло бы только главное начальство, кому подчинена финчасть (официально ответственная только перед финотделом Спецотдела ОГПУ), приказав составить фиктивную ведомость с фиктивными расписками или актами, либо таким же методом сам себе со своими помощниками начальник финчасти. Но это прямое и мелкое мошенничество, которое трудно скрыть и едва ли диктаторы острова, распорядители жизнью и смертью тысяч арестантов, шли на него. А вот куда перечислялись со счетов умерших оставшиеся суммы — это другой, пока темный вопрос. Не можем мы сейчас также проверить, действительно ли существовала и в таком большом разрыве разница в ценах для «чистых» и «нечистых». Ведь в те «докультовые» годы ларьками заведывали либо наказанные чекисты, либо уголовники, и очень возможно, что это они сами устанавливали цены для «своих» и для «фрайеров» и каэров. В мои годы и, видимо, в годы Андреева-Острадина, т.е. с 1927 года и до 1933 г. — такой картины в ларьках не наблюдалось. С оценкой Клингера соглашается только Седерхольм (стр. 299 и 302), но опять таки для «докультовых» лет — для осени 1925 г.:

«Покупать продукты и одежду позволялось в лагерном розмаге или в ларьке в кремле у главного сквера. Цены в ларьках (он их называет «особыми кооперативами». М.Р.) были невероятно высокие и товары не соответствовали требованиям наших желудков и возможностям наших карманов. Солдатам и чекистам эти же товары продавались по пониженным ценам».

нам. За мое время (сентябрь-ноябрь 1925 г.) в ларьках всегда было вино, сладости, варенье, повидло, ветчина и другие дорогие для нас продукты; зато хлеб, сало и иные съестные припасы, необходимые нам и доступные по цене, часто отсутсвовали... Продукты, купленные в ларьке, обычно держали в изголовье среди тряпья, мокрой обуви и грязного инструмента».

«В изголовье! Это в карантинной-то роте, по всем описаниям кишевшей голодной шпаной?! Что же она, в тот период, сыта что ли была, боялась начальства или совесть взыграла в ней? Удивительно!

Ширяев, прибывший на остров годом позже Клингера и выехавший двумя годами позже Клингера не очень многословен насчет ларьков и денег:

«Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, а заменялись выпущенными бонами универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились... Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет и можно было прилично пообедать за пятьдесят копеек...»

Большим подспорьем для желудков части заключенных были продовольственные посылки. Но зимой, на полгода, когда их не было, и такие счастливцы подтягивали пояса потуже, если и денег не осталось. Да и летом, как утверждает Клингер (стр. 175):

«Администрация задерживала выдачу посылок и тем самым вынуждала получателей их покупать в лавочках Френкеля по вздутым ценам».

О побочном влиянии посылок на быт и взаимоотношения заключенных высказывает свои, не лишенные обоснования соображения, Седерхольм (стр. 320, 321):

«Большинство заключенных в ротах специалистов (состоит в основном из интеллигентов, нэпманов, хозяйственников и мастеров. М.Р.) получали от родных и знакомых продуктовые посылки и деньги, но лишь в навигацию... Если в какой-либо камере (келье) нашей десятой роты канцеляристов (где он был посыльным), большинство не получало поддержки из дома, то счастливчики — меньшинство — перебирались в камеру, где такие, как они, преобладали. Но — предупреждает Седерхольм — подобные «артели посыльников» могли вызвать зависть у тех, кто сидит только на пайке, и донос кого-нибудь из них об артели, как об «опасной группе», мог повлечь отправку посыльников снова в карантинную роту, в эту кло-

аку — и тогда прошай чистая, светлая 10-я рота» (а то еще и следствие заведут, и на Секирку отправят. М.Р.).

Не берусь ответить, насколько распространена была в кремле такая причина доноса. Но достаточно ведь и одного-двух подобных фактов, чтобы сотни людей сделали из них «оргзы-воды», каждый для себя и на свой лад. Ногтев из первых 10-15 тысяч соловчан пристрелил на приемке этапов, может, 10-15 человек, а страху нагнал и на все последовавшие десятки тысяч арестантов, когда и Ногтева-то уже не стало на Соловках. Так и с доносами. Они тоже распространяют страх, только не столь панический, как выстрелы Ногтева.

Зайцев (стр. 24) подчеркивает другую опасность, подстегающую заключенных, получающих поддержку из дома:

«Арестанты, получающие посылки и переводы, подвергаются вымогательству со стороны многочисленного начальства, так как взяточничество на Соловках развито до крайнего предела».

Солженицын (стр. 48), не указывая о каких годах идет речь, а это очень важно, как бы дает пояснение к Зайцеву:

«Посылка в месяц одна, ее вскрывает ИСЧ, и если не дать им взятки, объявят, что многое из присланного тебе не положено, например, крупа».

Едва ли цензоры ИСЧ нуждались в крупе, получая высший на Соловках паек и другие поблажки. Да и не все цензоры были из заключенных чекистов, многие из них — вольные. Насчет шоколада, копченостей, сыров, дорогих папирос — да, проверяя такую посылку иные цензоры могли истекать слюной, но именно в таких посылках круп не было. Вымогательство начиналось, когда человек с посылкой возвращался в рогу. Ротный, взводные, нарядчик, даже дневальный — вот ближайшие вымогатели двадцатых годов, а тех, кто повыше, надо было подкупать, чтобы добыть определенный блат на работе или в быту. И все это, как характерное явление соловецкого быта, происходило в первые годы концлагеря.

Андреев-Отрадин, Никонов, Розанов и Чернавин свидетельствуют иное (о 1927-1932 гг.). Так, у Отрадина (НРСлово от 4 окт. 1974 г.) читаем:

«Посылки можно было получать без ограничения — и без дачи взяток. Посыпочной в кремле заведовал священник... Ему помогали еще два священника и о взятках помину быть не могло».

Никонов (стр. 170), найдя свою фамилию в списках на посылки (Развешивались в кремле и по всем главным ко-

мандировкам в тот же или на другой день после выгрузки их с парохода. М.Р.), отправился в кремль:

«Мы вскоре добрались до прилавка, где вскрывали посылки. Чекистка баронесса Эльза, высокая, темноволосая молодая дама, выдавала адресату все, что было в посылке, ограничиваясь только ее вскрытием. Мне, однако, не повезло: моя посылка попала к одному из двух других чекистов, и он долго копался в ней, прежде, чем отдать... Между прочим, письма и книги в посылках отбирались и шли в цензуру» (а та уж решала, как поступить: конфисковать, вычеркнуть «крамолу», если есть, или отдать. М.Р.).

Никонов пишет о 1929 и 1930 годах. Вполне возможно, что при Отрадине-Андрееве в 1927-1928 годах в посыльной работе священники и они вскрывали посылки, но кто-то из цензуры должен был в это время там присутствовать для формального контроля, не обязаный корпеть с посылками и тем унижать свое чекистское «достоинство». Чернавин (стр. 270) также подтверждает, что даже в Кеми осенью 1932 года при Управлении СЛОНа:

«Посылки благополучно доходят до нас, их, конечно, прове-ряют, но полностью отдают получателям, потому что в посыльной работают честные политические заключенные».

Это — на английском. На русском читайте — каэры.

Я получал посылки и на материке в 1930 году и на острове в 1931 и в 1932 годах и никогда не имел никаких неприятностей с цензурой. Никому не давал и никто не вымогал от меня за них взяток ни в посыльной, ни в ротах, ни в лагпунктах на Соловках. Даже книги, правда специальные по лесотаксации, не отсылались в цензуру. Посылки вскрывали и проверяли на острове уже не священники или каэры, а гепеушники из цензуры, корректные, в форме, одинаково относившиеся ко всем получателям, ну, прямо таможенные чиновники давних времен. К зиме 1931-32 года я подготовился, дай Боже, каждому. Родные в октябре и ноябре слали одну посылку за другой со всем, что могло пригодиться: было и топленое масло, и ветчина, и конфекты с сахаром, наволочка, полная деруна-самосада и барнаульский полушибок (да сперло его жулье на втором месяце, всего раза три и погрелся в нем) и в каждой посылке по пачке папирос высшего сорта. Ну, по папироске-то я угощал цензоров, а куда пошли остальные, лучше покаюсь в сноске.*

*) Пересыпал их с оказией со стишками — не своими, куда мне!

Пидгайный о посылках и ларьках и словом не обмолвился, словно ни тех, ни других с 1933 года на Соловках не было. Что ж, возможно: приближалась кировщина, но и при ней на далекой Печоре доставлялись в Ухтпечлаг посылки, летом — пароходами, зимой — санным путем за сотни километров.

**

Ознакомившись с пайковым довольствием, ларьками и посылками начиная с 1922 года перейдем теперь к вещевому довольствию, о котором вообще до 1926 года и помину не было. Как же до этого года и после заключенные прикрывали если не все тело, то хотя бы срамные места? Ведь, не хлебом единственным живы заключенные в холодных бараках и в приполярные морозы? А вот как. Клингер (стр. 167) о периоде 1922-1925 гг. сообщает:

«Весь лагерь донашивает то, что удалось взять из дома; многие и в Соловки прибыли в одном тряпье. В лагере не редкость увидеть почти голых людей».

Воистину: «И наго, и бoso, и без пояса»... Да и Мальсагов подтверждает (стр. 89):

«На Соловках и в Кемперпункте довольно часто можно встретить шпану совершенно голую. К этому ее доводит страсть к картам и водке. Проигравшие пайки и одежду, голодом и холодом вынуждаются грабить других заключенных».

Ширяев (стр. 30) вспоминает красочный пример о шпаненке, «одетом» в ящик, уже приведенный в главе «Попов остров — преддверие Голгофы».

Седерхольм (стр. 302, 303 и 305), чьи впечатления о Соловках осени 1925 года часто продуманно изложены, пишет: «В мои дни, грубо говоря, больше чем половина заключен-

— той, по которой не очень, но страдал, больше из-за жалости к ее хрупкому здоровью. Она была — вот ведь и имячко ее святое выветрилось! — племянница выкраденного в 1937 г. из Парижа ген. Миллера, переводчица в норвежском консульстве, Миллер-Соколова. Подозреваемая, очевидно, в близких отношениях с военным кра-савцем-грузином из каэров, она была отправлена медсестрой в лазарет на остров Анзер. Туда я порой и наезжал под предлогом проверки учета дровозаготовок. Там угощала она меня редкостным хлебом пекаря-монаха. Болтали, будто тот хлеб целиком отправляется в Москву самым «набольшим» на Лубянке. Ставлю точку и не подозревайте многоточий.

ных на острове, т.е. кругло четыре тысячи, не только не имели денег, но у них не было даже самой необходимой одежды. Большинство таких вымирало уже на второй год от холода, болезней, душевных страданий или чекистских пуль. Среди них преобладали крестьяне, рабочие и обычные уголовники, которым не откуда получать помощь. Инвалиды и старики вымирали, не выдержав не только года, но даже карантина... Как-то в сентябре (1925-го) под грозный окрик конвоя «Разойдись! Разойдись!» с Секирки прогнали на кладбище копать братские могилы партию штрафников. Некоторые из них были в мешках и ни одного в сапогах».

Зайцев (стр. 76), отбывавший соловецкое иго не два месяца, как Седерхольм, а выше двух лет и больше видел и сам испытал, утверждает, что:

«С 1925 по 1927 год соловчанам не отпускалось никаких предметов обмундирования, а в 1923-1924 годах лишь треть заключенных была нормально одетая. В 1927 году начали выдавать обмундирование лишь занятым на лесозаготовках, в строительстве, в лесничестве и на некоторых других работах. В самом ужасном положении находились уголовники, которыми ГПУ наводнило Соловки. В большинстве они были полуголые и босые».*

Лагерное начальство, основываясь на опыте, рассуждало, видимо, так: «Однем их — снова проиграют все, что выдано». А как оно поступало с такими, рассказывает Никонов (стр. 101 и 102):

«На остров Анзер сплавляют (в 1928 и 1929 годах) инвалидов со всех отделений УСЛОНа (т.е. и со всех материковых командировок, как уже больше непригодных к эксплоатации. М.Р.) и «леопардов», проигравших с себя все на Соловках. С Анзера они уже не возвращаются. Их сажают на голодный паек и к весне осенние пришельцы заполняют своими обезображенными цынгой трупами, вырытые с осени братские могилы у скита Голгофа. Этих «леопардов» нередко можно встретить на Соловках в костюме Адама с единственной «одеждой» — жестянкой от консервов на веревочке...».

Олехнович (стр. 121-125) отвел им даже особую главу «Голые... в декабре». Дело было в 1928 г., когда наш директор Витебского театра наконец-то был принят под сень Соловецких Мельпомены и Терпсихоры — переписывать роли для

*) Его образное описание, как таких «леопардов» выпускали на оправку зимой на Кемперпункте, включено в другую главу.

артистов в театральной канцелярии. За соседним столом в полной лагерной форме занималась театральная кассирша из генеральш (Ведь знал он ее фамилию, а скрыл!).

«Сюда, в театральный зал в свободное от постановки время, заводили проходные этапы. Так было и в этот день. Я не интересовался ими, т.к. уже насмотрелся на все, сам наконец-то жил в тепле, в келии, имел блат. Но генеральша выглянула за дверь и с испугом вскрикнула: — Голые! Голые!! Какой ужас!!! Тогда и я оторвался от переписки. Да, на самом деле так: среди входившего этапа были такие, у кого все имущество и облачение состояло из консервной банки на веревочке, одновременно служившей им и миской для баланды. Среди двухсот этапников, присланных, как я выяснил, с Анзера, оказалось, по моему подсчету, тридцать два голых. У всех у них зуб не попадал на зуб. За ночь несколько человек умерло, а утром часть голых отправили в лазарет. Как нам объяснили, в Анзере с отправляемых в кремль снимают лагерную одежду (т.е. мешки, т.к. другого обмундирования проигравшим все с себя уркам начальство не дает. Похожую на эту сцену приводят и Солженицын на ст. 34 при отправке заключенных из кремля на Филимоново. М.Р.).

Тут же Олехнович вносит еще одно пояснение:

«Описанное происходило в годы, когда шпану презирали, посыпали на самые тяжелые работы и старались всеми способами ее истребить. Теперь-то, в тридцатых годах, шпана признана социально-близкой и ей оказывают во всем поблажку».

В этом пояснении Олехнович, по моему, несколько пересосил насчет истребления уголовников и переборщил насчет поблажки им во всем.

Однако, вернемся к Никонову. На страницах 217 и 218 он передает такой рассказ работника Пушхоза, вернувшегося из поездки на Анзер:

«...Вот представьте себе такие ямы, наполненные голыми, застывшими трупами. Кругом бегают песцы. Зачем им искать мышей и прочую живность или приходить на подкормку к Пильбауму, коли тут столько человеческого мяса? Тут я, добавляет Никонов, припомнил, что Пильбаум недавно то же проговорился нам о трупах, обглоданных песцами».

В мехах из этих песцов, вскормленных человеческими трупами, и поныне форсят не скажу что только одни холливудские дивы. А какой ажиотаж стоял из-за этих мехов на их международных аукционах в Москве в двадцатых годах!

Переписывая эти строки из книги, я припомнил, как летом 1932 г., навещая Анзер, я тот километр, что отделял пристань

от Голгофского скита, проходил, всегда с трудом отбиваясь палкой от стаи нахальных, голодных песцов. Развелось их к тому времени на острове порядочно, подкормку от Пушхоза получали тощую, а новых братских незасыпанных могил не было. Концлагерная «оттепель» еще продолжалась и мертвых сваливали в ямы, засыпая землей трупы «по человечески»...

...Да, насчет мешков. Отрадин (НРСлово от 4 окт. 1974 г.) пишет:

«У Солженицына рассказано о диковинной форме из мешков... не пришлось мне ее видеть ни разу. Кто ее носил? Да урки. Они проигрывали все до нитки, пока начальство не изобрело им одежду из мешков».

Ни в 1930-м, ни в 1931 и 32-м годах, на материке и на острове мне тоже не довелось видеть живые существа в мешках. Очевидно, «мода» на них прошла... А если и удержалась, то, вероятно, на Секирке, да в РОЭ (Роте Отрицательного Элемента...), где арестанты сидели под замком. По описаниям Киселева, чуть не все соловчане донашивали мешки, начиная с Кондострова и Анзера, кончая Секиркой, штрафными командировками на лесозаготовках и этой Одиннадцатой ротой Отрицательного Элемента. Оно и понятно: Киселев бежал «отдать остаток жизни и опыт делу борьбы с большевизмом», которому служил до побега — ему и карты в руки, а остальные летописцы бежали, чтобы сохранить жизнь... А про свой «опыт» он лучше бы умолчал.

В году 1927 или 1928-м партию урок, облаченных в мешки, еще могли выслать с Кемперпункта на погрузку или разгрузку советских или соловецких пароходов. Но чтобы 20 июня 1929 года такую гоп-компанию выгнали грузить «Глеба Бокийя» в часы, когда всякое соловецкое начальство на материке и острове ожидало Максима Горького с высокой свитой гепеушников и всячески заранее «лошило показуху», выражаясь лагерным языком пятидесятых годов — это уже не присказка, а чистая сказка, и кто наплел ее Солженицыну (стр. 59, 60), тот оказал ему плохую услугу. Чтобы скрыть от Горького позорную картину, «нарядчик накрыл партию брезентом»... Нарядчики сидят или бегают внутри лагеря, а не на работах. Не их это дело и забота. А десятнику или часовому плевать на Горького, не он в ответе. Для Горького дорожку от пристани елками утыкали, а такой позор среди бела дня выставили на показ. Верите?

Надо считать, что с 1930 года вопрос с одеждой на острове перестал быть насущным. Концлагеря превратились в тресты, основная продукция которых — лес — через подставных Жел-

лесов, Кареллесов, Севлесов — шла на экспорт и давала первой пятилетке звонкую валюту. В мешках много не наработаешь. ГПУ заказало и получило от советских трестов, главным образом от Ленинградодежды и «Скорохода» достаточное количество отличных валенок, ботинок, сапог, бушлатов, фуфайек, ватных брюк, гимнастерок, шапок, рукавиц, портнянок и даже накомарников и, на пожарный случай, лаптей — их еще не додумались в лагере плести силами инвалидов, а где-то закупили, у пермяков да вятчей, думаю.

По отношению к этим лесным и дорожным «трестам», Соловки превратились в ноль без палочки. При высоком удельном весе шпаны в 1929-1932 годах, предусмотренные сроки носки одежды, расчитанные на хозяйственное отношение к ней оказались нежизненными. Шпана прожигала, рвала, проигрывала, а часто и пропивала вольным северянам новое обмундирование. Родилось — да не родилось, а воскресло старое слово «промотчик» — бытовало оно и в прошлом веке на Сахалине. Вскоре на командировках при разводах наготове стояли завхозы со связками лаптей. Полуодетых на работы зимой все-же не выгоняли. Кто охотнее носил свое, в чем в лагерь приехал, таким за это впоследствии доплачивали особо. Это я говорю о 1931 и 1932 годах на Соловках и 1933-1934 гг. в Ухтпечлаге.

Киселев (стр. 81 и 82), любитель щеголять скрупулезноточными цифрами, сообщает, что «на 1-мая 1930 года в СЛОНЕ было 14875 раздетых, прикрытых только рваным и вшивым бельем». Далее он приводит приказ УСЛОНА, командировкам «всех раздетых использовать на работах путем выдачи им одежды тех заключенных, которые возвращаются с работы». Из дальнейших объяснений Киселева следует, что первый, одетый, ночь проводит полуоголым, мерзнет; днем в его положении оказывается тот, второй, кто ночью работал в одежде первого. «Зато растет советский лесной экспорт» — иронизирует Киселев. Тут уж Киселев постарался не отстать от Пидгайного, правда, на другом участке. Никогда на лесозаготовках ни на острове, ни на материке заключенные не работали в две смены. Если первого раздели, чтобы отправить на работу второго, то первый переходил в графу раздетых; сколько плюсов, столько и минусов и в итоге — ноль. А на трактах зимой и в одну-то смену не работали, разве что в Хибинах, к апатитам в 1929-1930 годах у Зубкова и Рончина под страхом перед Кировым, хибинским «крестным отцом». Частично раздетость «кликвидировали» испытанным лагерным способом — туфтой. Таких способов было два: раздетых, кое-как прикрытых тряпьем, использовали внутри лагеря, вообще там, где не

поморозятся, а в «сведениях», в «рапортичках» их показывали «на производстве, в группе А» — на протаптывании дорог, на очистке котищ, на трелевке, т.е. там, где и самый дотошный контролер на второй день не докажет, что работы, показанные в бумажках, высосаны из пальца. Да и контролеры тоже со сроком. Второй способ состоял в том, что из трех-четырех полураздетых делали одного одетого и отправляли в лес, тем самым уменьшая число раздетых на 20-25 процентов.

На этом закончим обзор свидетельств о питании и одежде на Соловках и перейдем к выводам летописцев. Наиболее интересны и, по моему, наиболее близки к истине выводы Седерхольма. Хотя он меньше всех пробыл на Соловках, оказавшись «баловнем судьбы», но выводы его верны и для 24-го и для 26 и 27-го годов. Мы уже приводили его слова о положении и судьбе половины соловчан, числом около 4 тысяч в 1925 году, кто не ожидал ни посылок, ни денег и не был достаточно одет для работы, особенно зимней. Их поджидала братская могила.

«Интеллигентская часть заключенных — пишет он (стр. 303) — могла выдержать даже, потому что их родственники и друзья с воли ежемесячно высыпали им от 10 до 15 рублей и продуктовые посылки. С такой поддержкой, в состоянии хронического недоедания, еще можно существовать, покупая только такие по карману продукты, как сало, селедки, картофель, хлеб, лук и, порою, сахар и чай.* Есть с тысячу заключенных, кто может покупать все, что хочет. Это непманы всякого сорта и хозяйственники, осужденные за взятки, растраты и т.п. Они могут потратить и по полсотни в месяц, а то и больше. Старшие чекисты из заключенных тоже не голодают. Хотя «труд» их официально не оплачивается, но им выписывают специальный паек и обмундирование, да и живут они отдельно и довольно комфортабельно».

Это, так сказать, общая, суммарная оценка. Отличные иллюстрации к ней даны другими летописцами. Вот мнение Клин-

*) Седерхольм приводит и цены в ларьках, но в английской валюте. В скобках указываем перевод ее в рубли по курсу 1927 г. — 9 р. 46 коп. за фунт стерлингов, или 47 коп. за шиллинг и 4 коп. за пенс: кило серого хлеба — 1 шил. (47 коп.), кило коровьего масла — 5 шил. 7 пен. (2 р. 63 к.), кило свиного сала — 4 шил. (1 р. 88 к.), стакан молока с монастырской (лагерной) фермы — 5 с половиной пен. (22 коп.), 250 грамм консервированного мяса — 1 шил. 7 пен. (75 коп.) и 1 кило сахара — 2 шил. (94 коп.)

тера (стр. 175, 176, 182), вывезенного с острова одновременно с Седерхольмом:

«Эти ларьки доказывают неравенство даже среди арестантов. Ларьки, плюс продажность администрации, привели к тому, что попадающие в Соловки спекулянты, аферисты, фальшивомонетчики, крупные уголовники и вообще лица, имеющие и в тюрьме большие деньги, живут в концлагере не хуже, чем в своей квартире, при помощи взяток освобождаются от работы, покупают в ларьках щегольское платье, одежду, белье, вино, устраивают за взятку в отдельных комнатах, даже нанимают прислугу из безденежных заключенных. (Вот где-бы жил не тужил Иван Денисович! М.Р.)... Начальник 1-го (кремлевского) отделения Баринов, ж.-дор. весовщик из Москвы, совершенно открыто берет взятки за освобождение от работы... Таким образом, ни характер вашего «преступления», ни тяжесть приговора в Соловках не имеют абсолютно никакого значения. Есть у вас деньги — к вашим услугам все ларьки и все чекисты, включая Ногтева (Ну, это уже «перехлест», хотя и Ширяев поддерживает Клингера насчет Ногтева. Подождем историков... М.Р.). Нет денег — умирайте с голоду... Угощая папиросами и подкармливая красноармейцев (конвоиров), можно и облегчить свою работу и даже вовсе освободиться от нее... Деньги имеют первенствующее значение на Соловках. Для выкачки их Френкель открыл ларьки для тех, у кого они есть».

Зайцев подтверждает (стр. 68):

«Все зависит от ротного начальства и нарядчиков. При распределении заключенных после карантина на постоянные работы, творится самый наглый и открытый произвол. Подкуп, взяточничество и вымогательство процветают во-всю. Иногда («иногда»... М.Р.) здоровеннейшие, крепкие и молодые дети, имеющие деньги на подкуп, назначаются на легкие работы, например, в канцелярию, а какой-нибудь слабосильный и даже больной, но бедный, попадает на лесозаготовки или торфоразработки. Большое значение имеют рекомендации (уже «устроившихся». М.Р.) знакомых. Благодаря такому «блату» я попал на работу в лесничество... Правда — оговаривается Зайцев (стр. 80) после рассказа о жутком положении в Роте Отрицательного Элемента — в РОЭ — на тех же Соловках есть ссыльные, например, из спекулянтов, валютчиков и, особенно, из растратчиков.., которые —гуляют» в шубах на лисьем меху с борбровыми воротниками. Гуляют они в подлинном смысле, т.к. эти богатые господа, благодаря подкупам, состоят на каких-либо легких работах, в канцеляриях и даже лишь числятся номиналь-

но, а в действительности все время гуляют по соловецким лесам... Ссыльные чекисты и агенты ГПУ — пишет дальше Зайцев (стр. 112) — живут в отдельных комнатах, имеют деньщиков. Для их развлечения (и соловецких богачей и ловчил тоже. М.Р.) — театры, кино, концерты, спортсостязания, каток и прочее; они имеют возможность закупать продукты, добывая средства вымогательством у состоятельных заключенных».

Клингеру, Зайцеву и Седерхольму вторит Никонов (стр. 168):

Деньги на Соловках — это все. Всякий, имеющий их, мог итти в розмаг или в любой ларек и купить себе, что хочет из еды или одежды. Деньги помогали избавиться не только от общих работ, но вообще от всяких работ. Блат и деньги делали жизнь их обладателям в лагере пребыванием, как на курорте. У нас с Вершининым (его приятель. М.Р.) был некоторый блат и водились кое-какие гроши. У парандовца (крестьянин-цынготник) не было ни блаты, ни денег, и он, как многие тысячи соловчан, голодал и шел прямой дорогой в 16-ю роту — место последнего успокоения».

Спустя шесть лет после Соловков, в далеком Ухтпечлаге Розанов (стр. 198), ожидая лагерного суда в штрафизоляторе, «плоучает» своего, тоже арестованного однодельца начальника-инженера:

«...Да, в Чибью («столица Ухтпечлага») тоже танцевали. Прошло то время — оттанцевались! На Соловках в 1925 и 1926 годах, рассказывали мне тамошние старожилы, заключенным разрешали даже прогулки на лодке с оркестром по соловецким озерам.

Едут, любуются природой и услаждают слух музыкой. Будто в Крыму! А на Святом озере под кремлем был такой каток с оркестром, что закачаешься! Думаете, от доброты сердца ГПУ? Просто, ГПУ требовались деньги, а на Соловках тогда отсиживались нэпманы, у которых на личном счету в лагере были тысячи рублей (Перехлест. Каюсь! Может «только» сотни. М.Р.), не этих бумажных, а первых, полноценных. Вот и сдирали с них ГПУ за прогулку с каждого по сотне целковых (Опять перехлест! По червонцу только, а, может, и по четвертной, за всю компанию. М.Р.).

Отлично, просто превосходно, местами даже смакуя, описал этот соловецкий «пир во время чумы» его невольный участник и наблюдатель Ширяев (стр. 95-96):

«Свой собственный НЭП был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. По ночам в коммерческой столовой, где днем можно было прилично по-

обедать за 50 копеек, кутили под струнный квартет командиры охранного полка, вольнонаемные служащие и привилегированные ссыльные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не раздельно с ней, как обычно... В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой «экономической базе» и соответствующем ей «духе времени» и была разрешена встреча нового года (1926-го) в театре с высокой оплатой за вход — 5 руб. (Доступной, значит, только тем, кто был сыт, не истомлен трудом и по ком не гулял дрын. М.Р.). Зал разукрасили... Ни полотнищ, ни лозунгов, ни портретов. Как не верится этому теперь! В глубине сцены искрилась хрустальная глыба льда. В ней шампанское, которое продавали самые изящные из обитательниц женбарака: высокая, с профилем камеи Энгельгардт в парижском туалете, чайница Высоцкая и кто-то еще из «бомонда».* В переполненном зале танцы. Откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы... Кто-бы узнал тут бандита Алешку Чекмазу или ширмача Ваньку Пана (Я, я узнал Чекмазу! Летом 1929 г. его в дни М. Горького увез в свою Большевскую коммуну Погребинский, потом он что-то писал, где-то давал советы по литературе об

*) Об этих обитательницах скупо добавляет Седерхольм (стр. 330): «Я привык встречать в кремлевском сквере и в театре не мало заключенных женщин, отлично одетых и даже надушенных французскими духами Коти (Вот те и «а посылка одна в месяц... и скажут, что крупа не положена»... М.Р.). Это были жены нэпманов, сосланные с мужьями, или актрисы, а то и хорошо известные в Москве и Петербурге «дамы полусвета». Все они секретарствовали в различных конторах или играли в театре. Некоторые из них носили известные имена и титулы». Жаль, что Седерхольм не назвал их поименно. К ним я бы добавил еще две фамилии: дебелую Рябушинскую, благосклонную больше к молодым инженерам, и приезжавшую к нам на Филимоново петь романсы с летней эстрады худощавую, высокую Константиновскую, говорят — княжну. А про Рябушинскую болтали, будто бы муж из Парижа предлагал за нее ГПУ большой выкуп, но, кажется, не сошлись в цене. За что купил, за то и продаю...

Кадр о встрече Нового года в кинокартину «Соловки» (О ней особая глава), конечно, не был включен, чтобы у одних зрителей не вызвать зависти, у других — презрения, и у всех возглас про себя: — Ну и ну! Тут концы с концами не сведешь, а у тех там, видно, «середка сыта и кончики заиграли»...

уголовниках. О нем вспоминает в записках и Горький. М.Р.) Обстановка преобразила всех. Буфет торговал вином, водкой, крюшоном с консервированными фруктами. Некоторые «буржуи» изрядно подпили, но вечер прошел без единого скандала».

Встречали и 1928 год (в 1927 году было не до того из-за повального тифа), но уже не с таким размахом, как любовно описанный Ширяевым. Побывал на встрече Андреев и вспоминает (стр. 83, 84):

«Традиционно первым номером поется незамысловатая соловецкая песенка... Во мраке появляются и медленно колышатся, как от ветерка, разноцветные огни-фонарики. Кто-то невидимый грустно запевает:

Море Белое, водная ширь,
Соловецкий былой монастырь...

Вздохом откликается хор:

Со всей русской бескрайней земли
Нас на горе сюда привезли...

1929 год уже не встречали. «Горе» усиливалось и ширилось повсюду, не только в Соловках. НЭП корчился в конвульсиях.

1930-й пришел еще более мрачным. Свирипствовал тиф. Театр забит больными и умирающими, а репетиции к премьере идут на сцене своим чередом... Вообще-то, с лета 1930 года Соловки изменились и по режиму, и по составу заключенных, да и начальство перешерстили основательно.

В 1931 и 1932 годах лишь редкие старожилы-соловчане помнили новогодние вечера с танцами, вином и оркестром. Не больно-то мы верили им, понаслышавшись о Ногтеве, Васькове, Курилке, да Селецком и Чернявском.

«Сплошное мучительство в лесу одним и нэповское раздолье в кремле другим, шедшие рука об руку, — то и другое одновременно были заколочены в гроб и снесены на погост, а что выросло на их общей могиле — это вопрос особый. Говорят, однако же, что выросло нечто не особенно важное». (Почти по Салтыкову-Щедрину об отмене крепостничества). Это «нечто» — франкелизация концлагерей «империи». Об этом читайте других летописцев материковых лагерей 1938-ых — 1950-ых годов.

Глава 4

ЧИСЛЕННОСТЬ И СУДЬБЫ СОЛОВЧАН

Самая темная и скользкая глава из истории Соловков — это численность и социальный состав заключенных по годам, еще живых и вымерших. Пролить достаточный свет на нее едва ли кто сейчас сумеет. Очевидцы — в могилах, документация — за семью замками или уничтожена. В летописях об этом — пустые листы или общие фразы; заполняйте их какими угодно цифрами и начинайте спор о них...

Те же цифры, что порою приводятся, чаще всего отражают субъективную оценку и, конечно, не в сторону приуменьшения, по вполне ясным мотивам... Так уж заведено спокон веков. С советских Соловков началась история и, если хотите, предистория «Архипелага». На фоне десятков миллионов, прошедших за тридцать лет через все формы лагерей, ссылок, тюрем и колоний якобы «по вине культа», из расчета «свалить волку на холку», численность и участь заключенных только на Соловках теперь уже не вызовут ни содрогания у читателей, не говоря уже о политиканах, ни общественных судов, как в 50-х годах. Соловки дали первый ручеек крови, слез и пота, а потоки их полились позже из других мест «Империи ГУЛАГа». Предвижу мягкие возражения: «Да, конечно, и в первые годы большевистская власть не очень-то считалась с числом ее жертв, но припомните, во сколько голов обошелся Иван Грозный только псковичам и новгородцам, или Петр Первый Великий и своим и соседям только постройкой Петропавловской крепости и Петербурга, уж не считая других его незаконченных затей?» Так-то так, да цели-то государственные и моральные были иные. Но о том, если останется время и место, поговорим после. А пока что соберем воедино цифровые субъективные сведения, оброненные летописцами, и попробуем привести их к общему знаменателю.

Перечислим сначала в хронологическом порядке, кто из них и о каком году или годах приводит численность заключенных. Повсюду, кроме оговоренных случаев, имеется в виду только Большой Соловецкий остров с кремлем и командировками на нем и острова Соловецкого архипелага: Анзер, Конд и Большие и Малые Заяцкие, — значит — не забывайте! — без

Кеми с Поповым островом и его Кемперпунктом, без Вегеракши, Морсплава, без Вишерского отделения и без лесных, дорожных, рыболовецких и иных «точек», подчиненных Управлению Соловецкими лагерями.

1922 год. Никаких указаний о количестве заключенных нет. Прибывали на остров первые партии уцелевших из Северных концлагерей для подготовки помещений к приему социалистов, каэрв, уголовников, начальства и охраны.

1923 год. Борис Сапир называет цифру в 4 тысячи к концу года, а Солженицын (стр. 41) — свыше 2 тысяч.

1924 год. Мальсагов (стр. 57): «...свыше 5 тысяч на всех Соловецких островах». Бессонов (стр. 165): «6 тысяч, в том числе 1500 на Поповом острове».

1925 год. Борис Сапир определяет население Соловков в 7 тысяч. Борис Ширяев (стр. 43): «...В первые годы — 1924-1926-ой — от 15 до 25 тысяч», а Седерхольм (стр. 228) в 8500 чел. в сентябре-ноябре 1925 года, из них 850 человек в двух ротах общих работ и одной карантинной, размещенных в соборе, и 600 чел. в десятой роте канцеляристов (В десятой роте было, по Зайцеву, в эти дни 250 чел.).

1926 год. Клингер (стр. 167): «...Свыше 7 тысяч человек зимой 1925-26 года». Напомню: осенью 1926 года на Соловках разразилась сыпно-тифозная эпидемия, унесшая в братские могилы тысячи жертв.

1927 г. Андреев в «Посеве» от 9 янв. 1947 г. в статье «Артемий Самоцвет» указывает цифру заключенных от 12 до 15 тысяч, очевидно, к концу навигации, после тифозный эпидемии и летних пополнений с материка. Солженицын (стр. 41): «...К 1928 году было уже тысяч около шестидесяти». Борис Сапир: «Свыше 20 тысяч», но он уже давно — с июля 1925 года — был вывезен с острова.

1928 год. Никонов (стр. 96): «...В 1927-28 годах СЛОН насчитывал только десятки тысяч заключенных и в его состав входили и Вишерский лагерь, и Кемь, и все отделения в Карелии, занятые лесными и дорожными работами». Зайцев (стр. 83) называет цифру на начало 1928 года в 30 тысяч, но, как и Никонов, включает в нее всех занятых на Вишере и в Карелии. Олехнович (стр. 65) определяет численность соловчан на островах в 1928 году «больше чем в десять тысяч».

1929 год. Брошюра Чикаленко. Один из девяти опрошенных сообщает: «На острове из 29 тысяч выжило 9 тысяч» (Снова косит тиф. М.Р.). По Солженицыну (стр. 70): «На Соловках перед 1930 годом было уже 50 тысяч, да еще 30 тысяч в Кеми». Никонов (стр. 23): «Шла коллективизация, и

на Соловки прибывал этап за этапом. Население Соловецкого IV-го отделения УСЛОНа (т.е. всего архипелага. М.Р.) достигло небывалой цифры — 25 тысяч. Силига (стр. 180): «После тифозной эпидемии 1929-30 года население островов с 14 тысяч снизилось до 8 тысяч».

1930 год. К весне эпидемия закончилась, а вместе с нею и «беззаконный» произвол, замененный умягченным произволом законным: за подписями и печатями... Оставшиеся в живых отправлялись по соловецкой терминологии — «по разгрузке» — если потеряли трудоспособность — в ссылку, а большинство остальных, так называемых «здоровых» — вывозилось на материк пополнять производственные командировки на трактах и в лесу. В порядке обмена, материковые лагпункты возвращали Соловкам «отработанный пар» — доходяг, хронических больных и обмороженных. Привозили на остров также шахтинцев, военных из школы им. Каменева в Киеве, «буржуазных» и украинских националистов, пойманных беглецов из уголовников отбывать наказание в шрафизоляторе, всех «склонных к побегу» по формулярам и т.д. К концу навигации т.е. к декабрю 1930 года, на Соловках осталось около 12 тысяч арестантов.

1931 год. Розанов (стр. 49): «Главная масса соловчан жила в кремле — три тысячи из пяти тысяч, оставшихся к осени 1931 года. (Продолжалась отправка на материк как заключенных, так и отдельных предприятий со всем оборудованием, в основном — в район работ Белбаллага).

1932 год. Розанов (стр. 53). За 1932 год с Соловков вывезли на Беломорканал и в Ухтпечлаг еще три тысячи и столько же, тысячи 3-4, осталось зимовать на островах.

1933-1939 г. Известно от Пидгайного и подтверждено в НРСлове Отрадиным, что вначале привозили с Украины и казачьих областей обвиненных, а вернее-подозреваемых в людоедстве: 325 человек, из них 250 женщин,* потом — наиболее опасных «врагов» с Белбаллага, «троцкистов» из тюрем и подвалов и ссылок, «кировцев» и, наконец, «продукцию» ежевской мясорубки. За эти годы численность арестантов на островах, надо полагать, не превышала 4-6 тысяч, т.к. мелких пар-

*) То же самое подтверждает Петрус в книге «Узники коммунизма» (Нью-Йорк, 1953, стр. 162), ссылаясь на рассказы бывших красных партизан, добавляя, что на Соловках после вывоза заключенных (осенью 1939 г.) оставлены для обслуживания сельхоза лишь женщины с Украины, обвиненные в людоедстве.

тийных и советских сошек сюда уже не посыпали. К зиме 1939-40 года Соловки, превращенные в 1937 г. в спецтюрьму, из-за подготовки к нападению на Финляндию, вообще были закрыты. Последним этапом из Соловков в августе 1939 года на пароходе «Буденный», путь которому пробивал ледокол, в Дудинку на Енисее, а оттуда в Норильлаг привезли Иосифа Бергера (р. 1904 г.), бывшего секретаря Палестинской компартии, а затем — работника Коминтерна. В 1971 г. на англ. языке вышла его книга «Ничего, кроме правды», но Соловкам, где прописалась его книга «Ничего, кроме правды», но Соловкам, где прописалась Бергер уделил всего несколько малозначащих слов о своей камере.

Перечтите еще раз эту главу, и станет совсем ясно, что даже с помощью компьютеров невозможно определить более или менее обоснованно, в каком году и сколько людей содержалось на Соловках (Дана амплитуда от 2 до 60 тысяч!), сколько доставлено за каждую навигацию, сколько вымерло и вывезено на материк и по каким причинам.

Все же относительно смертности кое-что у летописцев можно наскрести. Не могу утверждать, насколько близки к истине цифры, приведенные Зайцевым (стр. 76), но они единственные, которые пока имеются. Ссылаясь на санитарную часть Соловков, он сообщает:

«В 1927 году кончили срок заключения трехлетники, при сланные на Соловки в 1924 году. Вот жуткие статистические данные о них: из общего числа трехлетников, пробывших полный срок,* 37 проц. умерли на Соловках от разных причин, 38 проц. утратили трудоспособность и ушли после освобождения увечными, тяжело больными, словом, калеками и лишь 25 проц. убрались с Соловков вполне здоровыми. Большинство из последних получали поддержку из дома или занимали на Соловках командные и начальнические должности».

Ширяев считает (стр. 43), что:

«В первые годы из 15-25 тысяч соловчан за зиму тысяч семь-восемь умирало от цынги, туберкулеза и истощения... Цынга и туберкулез развивались быстро и с необычайной силой... Особенно страдала от этих болезней шпана, уголовники, здоровье большинства которых было уже расшатано водкой и кокainом... Во время сыпно-тифозной эпидемии 1926-27 го-

*) Генерал Зайцев, как и я грамотей не из первых, изложил свою мысль коряво. Он несомненно хотел сказать, что «из трехлетников, чей срок кончался бы в 1927 году, на Соловках умерло, не закончив его, 37 проц.».

да вымерло больше половины заключенных. Но с открытием навигации в конце мая начинали приходить пополнения, и к ноябрю норма предидущего года превышалась».

Никонов (стр. 203, 204 и 213), пробывший на острове с весны 1928 г. по осень 1930-го, сообщает:

«Тиф начал свирепствовать вовсю, (с осени 1929 г. М.Р.) В кремле творился ужас. Все свободные помещения превращены в лазареты. Люди лежали на нарах, на полу, в проходах — плечом к плечу... Весь уход за болными заключался в кормежке и уборке. Кремль закарантинирован и большинство рот под замком. Многие выжившие умирали затем от тяжелых условий в командах выздоравливающих. К весне (1930 г.), по официальным данным погибло от тифа семь с половиной тысяч человек. Кемперпункт и командировки на материки дали еще одиннадцать с половиной тысячи умерших от тифа».

Важные добавления о тифе находим у Олехновича (стр. 88, 89):

«В феврале 1930 года сыпнотифозная эпидемия, уже сократившая население острова наполовину, пошла на убыль и к весне прекратилась... Особенно много вымерло на пунктах за кремлем, где санитарные условия были совсем отвратительные. ...Из-за тифа отменили этапы с материка... Братские могилы на кладбище забиты трупами. В стороне в лесу выкопали рвы, куда ежедневно сваливали десятки трупов. В подвале лазарета скопились штабеля умерших, т.к. не успевали вывозить их... Предприятия, на которых работают скученно, были закрыты. Запретили ходить из роты в роту. Келью, откуда взяли заболевшего, запирали на ключ и дежурный по роте приносил оставшимся обед с кухни.

Сначала мертвым вешали на шеи опознавательные таблички, но вскоре приказали санитарам смачивать животы умерших и химическим карандашем записывать на них имя и фамилию (чтобы выздоравливающие долгосрочники не смогли смыть и перенести на живот умершего краткосрочника свои «установочные данные». (Вполне схожее объяснение приводит и Солженицын).

С прекращением навигации, т.е. с конца декабря 1929 года, всех заключенных с их скарбом по-ротно выгоняли на двор. Койки, нары, полы шпарились кипятком, мылись и дезинфицировались. Поголовно всех остригли и еженедельно гоняли в баню, где выдавали чистое нижнее белье, а верхнее отправлялось в вошебойку. В помощь санчасти назначили «сантройки», и если они находили на ком-либо вошь, вся рота снова маршировала в баню... Весной нашли и «виновника» тифа — началь-

ницу санчасти Соловков Антипову и добавили ей срок... (О чём упоминает и Никонов)

Солженицын в своем труде о концлагерях то же рассказывает о тифе (стр. 50 и 51):

«Как-то вспыхнула в Кеми эпидемия тифа (год 1928), и 60% вымерло там, но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров, здесь в нетопленом «театральном» зале валялись сотни тифозных одновременно. И сотни ушли на кладбище... А в 1929-м, когда многими тысячами пригнали «басмачей» — они привезли с собой такую эпидемию, что черные бляшки образовывались на теле, и неизбежно человек умирал. То не могла быть чума или оспа, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике, — а назвали болезнь «азиатским тифом». Лечить ее не умели, искореняли же так: если в камере один заболевал, то всех запирали, не выпускали, и лишь пищу им туда подавали — пока не вымирали все».

Розанов (стр. 47), суммируя слышанное им на Соловках в 1931 и 1932 годах о прошлых условиях на острове для заключенных, пишет:

«Безграничный произвол, тиф и цынга скосили на острове богатую жатву. Были годы — 1926-27 и 1929-30-ый — когда только за зимний период численность заключенных сокращалась на одну треть. Соловки стоили жизни десяткам тысяч».

Возможно, что некоторые из приведенных оценок смертности несколько завышены, но уж не в такой степени, как по брошюре Чикаленко с показаниями бежавших из концлагеря украинских крестьян. В брошюре, что ни страница, то тысячи и тысячи трупов. Читаешь, и диву даешься: эк, хватили — в оба уха не уберешь!.. Один утверждает, что:

«Секирка съела не сотни, а сотни тысяч, и среди них наикультурнейших украинцев. Я, може б, не вишив, та сам перебував там пять днiv».

«У ротного Платонова в «каменных мешках» — уверяет другой — погибли тысячи, потому что, вечно пьяный, он забывал выпускать из «мешков» оштрафованных... Видправили мене на Анзер-остров, где ликуют хворих. Ну, там же и ликуют! Наликовали за один рик до ста тысяч на тот свит»..

Третий украинец подсчитал, будто в зиму 1928-29 года на постройке узкоколейки от кремля к Филимоновскому торфяному болоту из 12 тысяч украинцев и кубанцев погибло 10 тысяч. Если к этой последней цифре добавить еще погибших в ту зиму в лесу, на Секирке, на Кондострове и в кремле, так выйдет, что к весне 1929 года на Соловках в живых осталось

только двое, да и те — русские и вольные чекисты: начальник отделения «кат» — палач Зарин и его помощник «зверюга» Головкин. В историю Соловков подобные «человеческие документы» следовало бы включать в примечания только, как курьезные плоды шовинизма или слепой, да и неумной ненависти к большевизму за собственную участь. Они не помогают борьбе с ним, а лишь дают ему козырь в руки для опровержений или — скажу советским языком — «льют воду на мельницу врага».

Киселев, надо сказать, тоже не в меру щедр на братские могилы, когда приводит цифры погибших по всем концлагерям — поди-ка проверь! — но ему кое-кто и поверит: не рядовой арестант, а вольный чекист, уполномоченный 3-й части, ему ли не знать! И знал, конечно, но только про УСЛОН, а не про все лагеря, как он утверждает. Про все — знали только Глеб Бокий и Коган со штабом в Москве. Все же и Киселев не кидается тысячами мертвцев на Соловках, кроме как из доходяг, обмороженных и шакалов, собранных со всего УСЛОН, а на Кондостров, да и то в тифозный год (но для пущего эффекта, умолчав о тифе).

Вот и весь цифровой материал, который удалось найти в летописях о Соловках, — отрывочный, часто сомнительный. И все же, основываясь на нем, решил закончить эту главу суммарной таблицей, под цифрами которой нет документальных оснований. Она даже не «контрольные цифры первого приближения», а скорее продукт убежденности, личного опыта в 1930-1932 годах, обогащенного воспоминаниями соловчан за 1922-1933 года. Найдутся более верные цифры — исправлю свои, но с чего-то начинать надо. А там уж пусть наторевшие в таких делах историки опровергают, дополняют, корректируют или подтверждают их — им и карты в руки, коли дадут... Так вот:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ «СТРОЕВАЯ» СОЛОВКОВ

ГОДЫ	Прибыло за навигацию	Погибло за год	Вывезено на материк	Осталось зимовать
1922	1000			1000
1923	3000	1000		3000
1924	5000	2000	1000	5000
1925	7000	3000	2000	7000
1926	9000	6000	2000	8000
1927	12000	8000	2000	10000
1928	13000	5000	3000	15000
1929	15000	7000	4000	19000
1930	7000	6000	8000	12000
1931	4000	2000	8000	6000
1932	2000	1000	3000	4000
1933- } 1939 } ВСЕГО	5000	2000	7000	—
В %	100	52	48	

Напоминаем, что в таблицу не входят все материковые пункты СЛОН,а, а только Соловецкий архипелаг.

С 1926 года удельный вес заключенных на островах по отношению к численности всех заключенных Соловецкого лагеря из года в год снижался, пока в 1932 году не упал до 4-5 процентов, — тогда во всем УСЛОН,е числилось ориентировочно 100-120 тысяч арестантов. Киселев для весны 1930 года приводит цифру заключенных в 80 тысяч только для одного третьего Кандалакшского отделения УСЛОН,а — цифра явно далекая от правды, даже если Киселев зачислил в арестанты всех ссыльных с детьми в районе Хибин и Нивастроя. После 1932 года, по отношению к заключенным во всех лагерях СССР, Соловки только дробь от одного процента, так что цифры этой таблицы отнюдь не отражают нароста репрессивных темпов ГПУ-НКВД.

Итак, из каждого ста соловчан, пятьдесят два вскоре или через два-три года там погибали от разных причин, а сорок восемь все же выбирались на материк, но кто они, почему выпущены и в каком состоянии, ответа в цифрах опять-таки нет. Только в книге Георгия Китчина «Арестант ОГПУ» сказано, что в Северных лагерях на лесных командировках в зиму 1929-30 года умерло 22 процента заключенных, 20 процентов стали полными инвалидами и 30 процентов частично потеряли трудоспособность. Значит, здоровыми остались лишь 28 про-

центов. Едва ли в этот последний процент входят заметной долей лесорубы, трелевщики, навальщики и дорожники. Здоровыми могли остаться в лесных лагерях почти все, занятые внутри лагеря; обслуга транспорта, возчики, бригадиры, десантники. Судя по содержанию и изложению книги, автору ее можно верить, что он не только работал в управлении Севлага в отделе технического снабжения, но однажды был включен в комиссию для проверки условий на лесопунктах Севлага. Указанные им проценты близки к тем, которые привел Зайцев для Соловков 1924-1927 года.

Я сказал бы, что среди зарытых на Соловках преобладают мелкие уголовники. Они составляют не меньше 60-70 процентов всех погибших. От 20 до 30 проц. умерших — остатки белых, кронштадцы, махновцы, петлюровцы, антоновцы, «басмачи», кавказцы, сектанты и крестьяне, осужденные по 58 статье в 1925-1928 годах, как подозреваемые если не в участии, то в сочувствии различным восстаниям и бунтам в первые годы большевизма. Две тифозные эпидемии унесли не меньше десяти тысяч жертв, почти столько же — не прекращавшаяся никогда цынга; не одну тысячу взял туберкулез. Остальные ушли в братские могилы от последствий самой работы и всей обстановки: непривычный изнурительный труд, обмораживание, самоувечья, побои, содержание на штрафном пайке, перенаселенность бараков, отсутствие нормального отопления. Добавьте сюда несколько тысяч пристреленных и расстреленных за десять лет — «всего лишь» по одной пуле, по восьми граммам свинца на день — вот и подвели баланс: 43000 трупов. Мало? Много? Судите сами: это в 32 раза больше, чем убито русских в Полтавской битве (1343 чел. по Большой Совет. Энциклопедии) и всего лишь на тысячу меньше, чем полегло русских на Бородинском поле. Столько, может быть, не полегло и на Куликовом поле в битве с Мамаем.

А на Соловках «победа» большевикам далась совсем даром. По всем свидетельствам они за всю историю концлагеря на острове не потеряли ни одного конвоира, ни одного работника ИСЧ (кроме сбежавшего Киселева-Громова). А угарили вон сколько — 43 тысячи!

Глава 5

С Е К И Р К А

Любую командировку, любой лагпункт, как бы малы они не были, на Соловецких ли островах или на материке, невозможно представить без карцера для наказаний за разные пропинности, определяемые не столько писанными правилами, сколько личными качествами разного начальства. За что, кем и как наказываются заключенные, уже кратко объяснено раньше.

У лагерных отделений, которым подчиняются командировки и лагпункты, размах шире. В добавление к карцеру за мелкие нарушения, при отделениях заведены следственные и штрафные изоляторы, а в зависимости от состава и численности арестантов, могут быть и штрафные роты и даже командировки. Полной детализацией этой системы — она не так проста и однообразна — мы заниматься не будем, а уделим внимание тому главному общесоловецкому карательному институту, известность которого, подобно Лубянке, не померкнет в веках. Имя ему — Секирка — переделана самими соловчанами из названия Секирной горы (80 метров высотою), на вершине которой монастырский двухярусный храм во имя Архангела Михаила с маяком на колокольне и небольшой монашеский скит. Этот храм и приспособлен под штрафной изолятор, а скит — под надзор и канцелярию.

Секирка — это венец системы угнетения, надругательств, террора и истребления, последняя, высшая перед расстрелом ступень карательной лестницы спецотдела ОГПУ — предшественника ГУЛАГа. От первой ступени — от прозябания на безответственной, хлебной, нефизической работе и до Секирки много, много ступеней и чем выше, тем мучительней переживать лагерь телесно или духовно, а чаще приходиться страдать сразу и телом и душой. Я не говорю об исключениях из этого правила, так-как они не превышают 2-3 процентов к общему составу заключенных.

Последняя ступень перед Секиркой — это РОЭ — Рота Отрицательного Элемента с карцером при ней, по счету в кремле — одиннадцатая, где ротным одно время, предположительно в 1927 или в 1928 году, был некий Воинов.

«В эту роту — пишет Зайцев — (стр. 77 и 78) помещают тех, кто по мнению администрации совершенно не поддается исправлению: во-первых, воришки-рецидивисты (промышляющие тем же и на Соловках) и, во-вторых, симулянты, саботажники и все, кто упорно отказывается от принудительных работ, т.к. они босые и полуголые. Такие убегают с работ и где-нибудь скрываются, чтобы не мерзнуть. Ни наказания, ни избиения не останавливают их от этого. В большинстве это — молодые парни, в прошлом — здоровые и крепкие, теперь же истощенные от недоедания. ...В небольшом, холодном помещении, где-то на чердаке под крышей (Ширяев, побывавший там, называет его «голубятней» М.Р.) набито до трехсот босых, полуголых и грязных людей, тесно расположенных на двухярусных нарах и на полу... Спят в холода «тепловыми группами» по 4-6 человек; ноги одного переплетают шею другого... Эта рота изолирована от других... узники получают лишь по одному фунту черного хлеба, раз в сутки — серую жидкость, подобие супа, и два раза в день кипяток по две кружки».

Есть еще в кремле Восьмая рота, близкая по составу к РОЭ, но с несколько смягченным режимом, укомплектованная в основном отпетой (в отличие от «петой») шпаной и «леопардами», о которой на 108 стр. упоминает Никонов. Эти все же предпочитают быть выгнанными на работу, чтобы, словчившись, достать не столь тяжелую, а зимой — чтобы не поморозиться и попутно что-нибудь раздобыть для желудка и картишек. Отсюда же появляются во дворе кремля адамы с консервной банкой на веревочке...

К РОЭ относится и карцерная камера, в которую «втолкнули» Зайцева (стр. 142) перед отправкой на Секирку.

«...Карцер — большая комната в нижнем этаже под 15-ой ротой буквально битком набита. Тут были в большинстве «шпанята», молодежь из уголовников за кражи уже на Соловках, за побег с работы на острове, за «бузотерство» и прочее. На ночь расположились кое-как, сидя на полу, плотно один к другому. О сне и речи не могло быть. Всю ночь стоял невообразимый галдеж... и отборная ругань. Утром выгнали на работу, обычно самую грязную. Я попал на разборку досчатого отхожего места... Пишу принимали зловонно пахнущими руками... Вторую ночь удалось подремать, сидя в углу. На третий и четвертый день выпало счастье: носить дрова в баню № 2 за кремлем (о чем особо в своем месте. М.Р.), а на пятый — составили этап из 15 штрафников и отправили нас под конвоем на Секирку».

Отрадного, как видите, Зайцев в карцере ничего не нашел и не испытал. Прочтем теперь, что рассказывает о карцере уполномоченный ИСЧ, то же «летописец», Киселев (стр. 108):

«...И ротный РОЭ Воинов, с постоянно висевшей у пояса плеткой, как никто до и после него издевался над сидящими в карцере. Одних — загонял в уборную и заставлял засунуть голову в дыру над ямой, при этом некоторые теряли сознание. Других — отправлял голыми в глиномялку — темный и сырой подвал под южной стеной кремля. Там на дне — полуметровый слой глины, которую они ногами месят для строительных работ. Зимой глину оттаивают железными печками, но карцерные круглый год посыпаются туда совершенно голыми. Со страшной славой глиномялки на Соловках конкурирует лишь Овсянка (штрафная лесная командировка, описываемая в главе о лесозаготовках. М.Р.), а превосходит ее только слава Секирки».

Через «волчек» в двери карцера Киселев наблюдает раздачу каши арестантам в подолы рубашек и в пригоршни, драку их из-за просыпанной на пол каши и усмирение их воравшимся Воиновым плеткой по «правым и виноватым»... за четверть века до Солженицынского Волкового. На четырех страницах — со 107 по 110-ую — описывает Киселев эту лагерную преисподнюю и если она всегда такова на самом деле, то Киселев, «бежавший помочь делу борьбы с большевизмом», обязан был бы честно и открыто сказать: — Это не был произвол Воинова, как потом зачитывали заключенным. Все, что вас ужасает в моих рассказах о Соловках — все происходило по нашим — ИСО-ИСЧ — указаниям. Для чего же иначе дана нам высшая власть над заключенными, как не для того, чтобы робких и слабых держать в панике, а смелых и крепких загонять в могилы через карцеры и Секирку, если в лесу и на дорогах с ними не справились?

Во многих местах своей книги именно про эту власть и это назначения ИСО-ИСЧ, может быть безотчетно сам того не желая, проговаривается Киселев. Сошлемся, как на примеры, на распоряжение Чернявскому размещать в карантине духовенство на досках, настланных на престол (стр. 105), в бараках, где обнаружен тиф, здоровых удалять, а вселять духовенство, чтобы заразилось и перемерло (стр. 20), на отправку «по спецуказаниям» ста каэров на штрафную Овсянку, где они почти поголовно перемерли или перебиты (стр. 124), о том же и туда же с той же целью муссаватистов, требовавших «работу по специальности» и за то же самое на Секирку 26 грузинских меньшевиков (стр. 158, 159) и дальше в том же

дуже от начала до конца книги. Что тут есть брех не в меру, сейчас не докажешь. Живых соловчан тех лет здесь меньше, чем пальцев на руке, да и смельчаков осадить Киселева едва ли съшешь...

Но вывод из его примеров весьма поучителен. Истинный хозяин над заключенными — 3-й отдел, ИСО. Он следит, чтобы «спецуказания» (у них много «синонимов») выполнялись не только об отдельных лицах, но особенно об определенных группах. И если такие группы сообща чего-то требуют, против чего-то протестуют, их истребляют Секиркой, штрафными работами или, наконец, пулей. Внешне проводником «спецуказаний» служит УРО — учетно-распределительный отдел — лагерная «Биржа труда» с двойным подчинением: формально — начальнику лагеря, фактически — начальнику ИСО. Начальник лагеря вправе в интересах производства игнорировать эти лагерные «минусы» для отдельных лиц, но каждый такой факт регистрируется в папке 3 отдела. У меня нет ни капли сомнения в том, что среди оснований к расстрелу Эйхманса не малый вес оказала передача им всего дела снабжения и всех материальных ценностей в Соловках духовенству. Он поставил его в лучшие лагерные условия и тем сохранил ему жизнь. Эйхманс избежал ответственности за массовые хищения и растраты на Соловках, но ответил головой за устранение их «вражескими руками». Парадокс, логичный для большевизма.

**

«Красной нитью» через весь труд Киселева проходит характеристика заключенных административным составом Соловков — работниками ИСЧ-ИСО, надзора и охраны — как «шакалов», хотя Киселев походя высказывает им свое сердечное соболезнование. Пора раз и навсегда разъяснить — не Киселеву, он это знал лучше меня — а читателям, кого в лагере называют шакалом.

На обиходном лагерном языке так зовут, вернее — обзывают шпану, которая чуточку получше и покрепче «леопардов», а «индейцы» — малоупотребительное на Соловках, но облюбованное Киселевым прозвище тех, кто одной ногой пока в бараке, а другой — уже в могиле. «Леопарды» обычно под замком, не работают, сидят на штрафном пайке, полураздетые, а «индейцев» и запирать не надо. В них осталось силенки только на то, чтобы не делать под себя.

«Шакалы» выходят, а чаще выгоняются на работу, о чем

сами поют о себе с конца двадцатых годов на мотив «Гоп-со Смыком»:

От развода прячемся под нары,
Не одна, а три-четыре пары.
Коль начальник нас поймает,
На работу выгоняет
Дрыном иль наганом по башке.

Но если на работу мы пойдем —
От костра на шаг не отойдем.
Посжигаем рукавицы,
Перебьем друг другу лица,
У костра все валенки прожжем.

Пайку получаем в триста грамм,
С вечера заводим тарарам,
И, как волк, по нарам рыщем,
Пайку хлеба стырить ищем,
И за это ходим с фонарями (или синяками).

Эти «работнички» чаще всех сидят на штрафном или по-пуштрафном пайке, да и вид у многих из них такой, что «краше в гроб кладут» — «идут — костьми гремят», либо, не приведи Бог повстречаться с таким в ночную пору. Единственные их помыслы все 24 часа о том, где-бы и что бы украсть, лишь бы наесться, лишь, бы прикрыться, лишь бы снова попытать счастья в «буру» и в «штосс». Ни в одной летописи нет упоминаний о том, чтобы лица из круга, в котором вращался в 1927-1930 годах Киселев, заключенных из интеллигенции и крестьян называли шакалами. Конечно, постоянным недоеданием и изматыванием на работе и в лагерном быту, можно и таких довести до полушакального состояния: рыться в помойках около кухни, долизывать чужие котелки (такие факты в нашей концлагерной литературе в тридцатых годах тоже описаны), но не до проигрывания паек и обмундирования, не до кражи хлеба у соседа. Каэры и крестьяне безропотно «доходили», «загинались», но не опускались до шакальства, в основе которого лежала мораль: «подожни ты сегодня, а я — завтра» или «свой — не свой, на дороге не стой».

Те, кто не принадлежал к уголовному миру, кто, по объяснению Ногтева, «по мешкам не шастал», для всякого соловецкого начальства были в глаза и за глаза каэрами, контрой, контриками, белогвардейской сволочью, золотопогонниками,

буржуями, шпионами, попами, долгогривыми, «опиумом», кулачьям и бандитами (махновцы, антоновцы, петлюровцы), но никогда — шпаной, шакалами, индейцами, леопардами. Это были два различных мира в концлагере. Такие «цветистые» впоследствии штампы к заключенным, как паразит, гад, гнида, а тем более падло, в наши соловецкие годы вообще не применялись ни к нам, ни к уголовникам. Они получили «права» позже, чуть не через двадцать лет, в годы Ивана Денисича да Волкового.

Я отнюдь не хочу всем этим подчеркнуть, будто по Киселеву выходит, что истязались и «загибались» на Соловках, в частности на Секирке, одни шакалы-уголовники. Но что среди зарытых на Соловках, на Онуфриевом кладбище за кремлем, под Секиркой, на лесных командировках, вдоль Филимоновой жел.-дор. ветки, за Голгофой на Анзере и во многих местах на Кондострове преобладают уголовники, эту правду пора уже сказать открыто и печатно. Я не защитник шпаны! Она и меня трижды ощутительно обокрала: дорогое пальто, барнаульский полушибок и целый капитал — зашитые в бушлате пять лагерных рублей. Но мстить я им не мстил и не мог, ибо такова их «профессия», а лагерь — их дом, их школа. Достаточно карает их и будет карать всякий закон, но только один большевистский закон — «хлеб по выработке» — карая, принуждает их красть все, что возможно, вплоть до святой, кровной пайки хлеба у соседа. С нее, с власти, а не с них надо требовать ответа и расплаты. Шакалы, уголовники не сами с неба свалились на головы крестьян и казаков — их использовали для этого. Добрый хозяин злых псов держит на цепи и кормит, а подлецкий держит их впроголодь и сам натравливает.

**

В первые годы, до 1926-го, на Секирку запирали проштрафившихся на Соловецких островах, а также пойманных беглецов с Кемперпункта, а после — и с материковых командировок УСЛОН,а. На это имели право ИСО-ИСЧ и сам начальник лагеря. На Секирку заключали на срок от одного месяца до года, в основном за побеги и подготовку к ним, за неоднократные или групповые отказы от работ, за самоувечье и, конечно, за «к.-р. агитацию в лагере», но, как дальше увидим, немногие могли выдержать условия заточения дольше шести месяцев, если не имели могучего блата и всемогущих тогда червонцев. Через Секирку прошли тысячи и тысячи и не одна тысяча закончила там жизнь свою, не закончив срока,

заполнив заготавливаемые с осени скудельницы у подножия горы, либо от режима и голода, либо с пулями в черепах по дополнительным приговорам Лубянки или лагерного ИСО, первые годы — до 1929-го или 1930-го — располагавшего таким неписанным правом.

«По документам ИСО за 1926-1929 года — пишет Киселев (стр. 118) — на Секирной горе было расстреляно 6736 человек, из них 125 за призывы о помощи на экспортируемых досках, и все, пытавшиеся бежать» (надо полагать, на иностранных пароходах. М.Р.)

Это же почти по пяти человек ежедневно! От десяти до пятнадцати процентов всех соловчан пристреливались в эти годы на Секирке, — так выходит по этим цифрам. Не слишком ли преувеличивает Киселев, и тут перешагнув из реальности в фантазию? У него на одной Секирке за четыре года расстреляно в четыре раза больше, чем по всему Советскому Союзу «по официальным данным за шесть лет с 1922 по 1927 г. — 1500 человек». Чтобы обе цифры были ближе к правде, киселевскую пришлось бы раз в пять уменьшить, а «официальную», от Менжинского,* раз в двадцать-тридцать увеличить

Всем соловчанам известно, что за побег или подготовку к нему на материке дают до года Секирки или добавляют от одного до трех лет нового срока уголовникам и бытовикам. Из них и состоит основной состав беглецов на Секирке. Каэры бегут с материка значительно реже, потому что рисуют многим при неудаче: пристрелят на месте, добавят новых 5-10 лет срока или расстреляют. Да еще и на родственниках отзовется такой побег. Бывает, однако, что и пойманный каэр почему-то не наказывается, но Боже упаси делиться с таким впоследствии своими планами и сокровенными мыслями... Один из таких случаев описан Андреевым-Отрадиным на стр. 55-й. Преобладающий же состав Секирки даже не беглецы, а отказчики от работ из уголовников с лесных командировок, торфоразработок и дорожных работ, которым ИСЧ или Эйхманс дали от одного до трех месяцев штрафизолятора.

Еще раз поражаюсь «точным» цифрам Киселева. 6736 расстрелянных! Сколько же тогда должно было быть, в пропорции к расстрелянным, просто вымерших на Секирке от истощения, болезней, холода и режима за те же четыре года? 20?

*) В книге на английском «Советская Россия во второй декаде». Нью Йорк, 1928 г. Ответ Менжинского американской профсоюзной делегации.

30? 40 тысяч? Или они не умирали и возвращались в лес, на торф, в кремль? А кого же тогда бросали в ямы за кремлем, на Кондострове (тысячи и тысячи по тому же Киселеву), на Анзере, у таких лесных палачей, как Ванька Потапов, Гусенко или Селецкий? Куда тогда отнести 10-15 тысяч умерших от двух тифозных эпидемий? Не к добру, думается, ведет такая неумная разнузданность в цифрах. Держался бы ближе к правде — она и так ужасна — и книга могла бы стать бестселлером и о ней заговорили бы на разных языках.

Вторым или третьим комендантом Секирки и начальником 4-го отделения, куда она входила, короткое время в начале 1925 года был Иван Иванович Кирилловский, переведенный сюда, очевидно, за пьянку, побоище с помощником на почве ревности (Мальсагов) и в связи с делом его старшины Тельнова (о нем — особая речь). Его сменил Антипов, чекист из чернорабочих, также упоминаемый Клингером и Зайцевым. «Не побывавшему на Секирке трудно представить себе всю кровожадность Антипова», пишет Клингер (стр. 189), отправленный туда на короткий срок «за непослушание» в 1925 году. Вот как он описывает Секирку:

«Вокруг церкви три сторожевых будки... Каждый ярус храма разделен на три отделения: общая камера, одиночные и «особые» — за взятки для привилегированных секирчан. Оштрафованные спекулянты устраивались за деньги даже в комнатах надзирателей.* Оба яруса совершенно не отапливаются.

*) Андреев-Отрадин (стр. 80, 81) описывает встречу в кремле в 1927 г. с одноэтапником — уральским художником Роговым, отправленным на Секирку за попытку побега с Кемперпункта. Передавая обстановку в штрафизоляторе, художник добавляет: «Ну, думаю, конец!. А вышло так, что я там, как сыр в масле купался, даже пьянировал... Просидел неделю — вдруг зовут. Сам начальник (в тот год уже Кучьма. М.Р.) спрашивает... «А можешь нарисовать портрет с фотографии красками?» — Почему нет? Могу. — «Так рисуй!... — Как же, отвечаю, могу я рисовать в изоляторе, да еще и голодный? — «А это, говорит, мы сейчас уладим»... И как в сказке: выдают одежду, вещи, переводят в первый ярус в отдельную камеру. Живи, рисуй!.. Волокут обед, да еще с надзорской кухни. И гулять позволяют, только недалеко. И стал я, брат, придворным художником... Так старался, больше чем на выпускном экзамене. Всех надзирателей с женами перерисовал, а потом пейзажи писал. И вот мораль: внутри ад, там зимой люди каждый день десятками мерли

Окна забиты щитами. В камерах полная темень и ледяной холод. Осужденных в «строгий изолятор» (на втором ярусе) вталкивают в камеру в одном белье. У прибывших сразу отбирают все вещи, табак и хлеб. По ошибке посаженный в начале в «строгий», где до выяснения пробыл два дня, успел заболеть воспалением легкого. Что же ожидает осужденных туда на месяц? В камерах обоих ярусов нет ни коек, ни постельных принадлежностей. Люди спят в одном белье на каменном полу, зимой покрытым инеем... В нижнем ярусе дают полфунта хлеба и раз в день пшеничный навар. Пшено из этого супа тщательно вылавливаются надзирателями. Во власти каждого надзирателя и вовсе не выдавать ничего какому-нибудь «злостному контрреволюционеру».* В «строгом» верхнем изоляторе даже навара не получают: кружка горячей воды через день и полфунта хлеба в сутки, да и тот недодается... Умирающие с голода заключенные превращаются в зверей и душат вновь прибывающих. Администрация боится зайти туда и запирает камеры висячим замком».

После всех таких ужасов можно верить, что на Секирке при Клингере в 1925 г. штрафники умирали пачками, быстрее, чем у Рогова (Помните его «десятками»?). А заканчивает он так:

«Ежедневно на Секирке кто-нибудь умирает от голода или замерзает, т.к. основной состав оштрафованных — отказавши-

(ну, может не «десятками», а то за месяц и опустела бы Секирка... М.Р.). а такому же человеку Рогову посчастливилось и живет он в тепле, холе и с полным брюхом... Вообще, гнусная картинка, но какой смысл пополнять братскую могилу своим трупом. Теперь я счетовод. Терпеть можно».

*) Что-то и тут похоже на «перехлест». На что им, надзирателям на красноармейском пайке, сдалось это пшено? Вернее всего, «вылавливанием» упражнялись работающие на кухне, чтобы заодно и себя подкормить, и уборщиков, и дневальных, и раздатчиков хлеба и супа, по практике тех лет тоже для штрафников «начальство» с палками-дрынами в помощь надзору для ускорения построений, подъемов и поверок. «Злостный каэр» определенно получал и свои обрезанные полфунта хлеба, и пшеничный навар, потому что вел себя тише воды, ниже травы, не играя на нервах «дрын имущих». Это урки, шакалы, блатари — вот кто мог и выводил из себя надзирателей руганью, драками, требованиями, о чем скоро расскажет нам Зайцев.

еся работать по болезни. Недаром каждой осенью у подножия Секирки роется «впрок» бесчисленное количество ям — могил».

Осторожный в оценке числа умирающих — «ежедневно кто-нибудь...», Клингер более щедр на расстрелы: «Еженедельно на Секирке расстреливают 10-15 человек». Это все же вдвое-втрое меньше цифр, приведенных Киселевым «с точностью до одного»...

Обратимся теперь к старожилу штрафизолятора генералу Зайцеву (стр. 144-152), изведавшему через два года после Клингера мертвую хватку верхнего строгого изолятора от звонка до звонка: три месяца, с 20 сентября по 10 декабря 1926 г., с зачетом кремлевского карцера. Посадил Зайцева сам Эйхманс, формально — за халатность в лесу (тлеющий костер на его участке), а фактически за то, что Зайцев не написал воспоминаний о гражданской войне для соловецкого журнала, чего хотел Эйхманс и к тому же без особого пропуска простоял вечерню и обедню в церкви для монахов, о чем узнала адмачта.

«Просто по возрасту — замечает Зайцев — никогда не было случая, чтобы в моих годах заточали на Секирку».*

Ему в те дни исполнилось 48 лет. Правда, сидел он уже при новом начальнике Секирки Кучьме.** Антипову Зайцев дает оценку еще более мрачную, чем Клингер, основываясь, очевидно, на рассказах секирчан:

«...дикий, кровожадный садист, страшный зверь, который не допускал никаких послаблений. Штрафизолятор не отапливался, все сидели днем и ночью полуголые, за малейшее нарушение режима штрафников избивали, и прочие жестокости свирепствовали при Антипове. Вторым зверем в Соловках был Райва на Кондострове».

В период «царствования» Кучьмы (очевидно, с конца 1925 г. и до 1928-го) положение заключенных на Секирке, по описаниям Зайцева, несколько улучшилось. Но первый час его знакомства с обстановкой об этом вовсе не свидетельствовал:

*) Однако Ширяев (стр. 263) вспоминает «Утешительного попа» Никодима, отправленного на Секирку за Рождественскую обедню, которому уже было под восемьдесят лет. Там он и умер.

**) Этот Кучьма, по словам Зайцева (стр. 115), «сблизился с бывшей женой казачьего офицера. По ходатайству начальника УСЛОНа ее освободили и теперь, вольная, она стала законной женой Кучьмы».

«Вправо и влево вдоль стен высокого здания, а также посередине, на голых деревянных нарах сидят плотно один к другому узники Секирки. Все они босые, почти полуголые, бледные, некоторые, как скелеты; все грязные, со всклокоченными волосами... В их глазах отражается печаль и жалость к нам, новичкам (А при Клингере — помните? — новеньких душили.)... Из отгороженной камеры раздается вопль, пересыпаемый дикими криками по адресу советской власти и плачей ГПУ. Там, как потом узнали, надзор усмирял заключенного Александрова, от издевательств впавшего в ярость... Наконец, надзор повалил его на пол, скрутил руки, связал ноги и натянул смирительную рубаху... Справа на нарах лежат в припадке двое эпилептиков. Другие арестанты с силой придавливают к нарам их руки и ноги... Мы стояли в остоянении... Староста поместил меня как раз против карцеров. Всю ночь тот Александров дико кричал и бился головой о пол, изрыгая ругательства... Это все так действовало на меня, что я не мог успокоиться и заснуть».

Далее Зайцев переходит к сухому изложению типичных «будней» верхнего строгого изолятора. Постараюсь воздерживаться от комментариев. Читатель сам может делать выводы из сравнений того, что описывает Зайцев и Клингер.

«Учитывая рост массовых простудных заболеваний и слезные просьбы штрафников, Кучьма разрешил поставить железную печку — времянку, но топить ее позволялось только на ночь, с 8 час. вечера и до полуночи. Теплоту от нее ощущали только на ближайших нарах. На ночь выдавали какой-нибудь один предмет из одежды, мне, например, пальто, как замена матраса, подушки и одеяла... Штрафники теперь спали на нарах, а не на цементном полу (Хотя просто невозможно вообразить, как на таком «ложе», да еще зимой, человек может заснуть, особенно полуголый. Сужу так по личному опыту в немецких лагерях для пленных. М.Р.). Да и питание несколько улучшилось (А, может, Клингер сам его подрезал пером). Не слыхал я что-то за одиннадцать лет, чтобы существовала норма хлеба ниже 300 граммов. М.Р.). В 11 часов раздают хлеб по фунту на брата, затем уборщики приносят ушаты мутной жидкости, именуемой супом, такого же качества и количества, что и в кремле, и по три-четыре ложки каши, чаще всего пшеничной. Вот и все сугубое питание».

Да, не густо кормят, хотя теперь дают немножко каши и вдвое больше хлеба, чем в 1925 г. при Антипове. Очевидно, высокой смертностью на Секирке в 1924 и в 1925 годах заинтересовалась Московская «разгрузочная комиссия» и разреши-

ла или приказала несколько увеличить нормы довольствия и построить нары, тем более, что умирали-то на Секирке в подавляющем большинстве «свои соцблизкие».

«Утром, продолжает Зайцев, приносят кипяток по кружке на троих, но охотников пить его без хлеба мало... При таком питании многие заболевали и их отправляли в лазарет в кремль или в околодок в Савватьево, но лишь тогда, когда они уже не могли двигаться. Цынготникам — их было тоже много — выдавали добавочно по полфунта черного хлеба и на двоих одну воблу. В конце ноября (1926 г.) лекарь Секирки Плотников (Из тех, кто «чирии вырезает и болячки вставляет»... М.Р.) выпросил в кремле тюлений жир и перед обедом нам выдавали его по столовой ложке. Вещество весьма вонючее и противное на вкус, однако все с радостью пили его. После поверки (в 7 ч., а подъём в 6 ч.) приносят ушаты с холодной водой и уборщики ковшом поливают ее на охотников. Но таких чистюль мало, т.к. приходится стоять босыми ногами в холодной луже при сквозняке из под дверей (Оправдываются тем, что, дескать, «медведь не умывается, да здоров живет»... М.Р.). Шпана предпочитает умываться раз в две недели в бане, где дается небольшая шайка теплой воды и 15-20 минут времени умыть лицо и размазать грязь по телу... После подъема дают команду: «Садись по местам! Прекратить разговоры! Ни слова больше!» Все усаживаются в два ряда, если изолятор переполнен. Первый — спустив ноги с нар, второй — позади, подогнув под себя ноги. В таком положении все сидят молча. Отстояв поверку, снова садимся».

Чем досаждают штрафникам после обеда и до вечера, Зайцев упустил сказать. Видимо, тем же сидением на нарах в гробовой тишине.

«В сильные холода некоторые дежурные разрешали составлять группы для согревания. Поясню: четыре человека, сидя на нарах, плотно прижимались спинами один к другому, а наружные части согревали, хлопая по ним руками, часто по команде, вроде групповой гимнастики, и выходило хорошо... А на ночь большинство полуголой шпаны, не имея своих пожитков, составляли «согревающие группы», т.е. спали кучей переплетшихся тел». (Или, как называют другие летописцы — «штабелями». М.Р.)

Так и просится здесь на бумагу классическая фраза Солженицына об одежде из мешков для заключенных (стр. 31): «Ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка!»... Многое не успел рассказать нам Зайцев, в частности подробнее о социальном составе оштрафованных, а глав-

ное — о расстрелях и смертности, чтобы сравнить их с показаниями Клингера, Рогова и Киселева. Видимо, они в тех условиях не казались ему ошеломляющими, иначе Зайцев, склонный к патетике, уделил бы им не мало строк. Забыл он и про нижний изолятор, оборонив только, что «режим там был несколько легче». Насколько легче и каков, вскоре, найдем ответ у Никонова, с которым в 1928 и в 1929 году работали секирчане.

О Секирке Кучьмы речь закончена. В конце 1926 года или в начале весны 1927 года он куда-то исчез; неизвестно, пошел ли вниз или вверх. Его заменил латыш Вейс, тот самый Вейс, который у Солженицына без указания его имени и места (стр. 52), а у Никонова (стр. 105) — конкретно, заставлял штрафников в наказание переливать воду в Саввательевском озере из одной проруби в другую. Никонов называл это образцом бесмысленной работы, а Солженицын — «жестокостью, но и патриархальностью». Андреев-Отрадин в НРСлове от 29 сент. 1974 г. вспоминает, что тот же Вейс заставлял в наказание принести ведро воды из озера в изолятор — труд, непосильный для изнуренных штрафников. Тут же Отрадин сомневается, чтобы оштрафованных привязывали к бревну и скатывали по лестнице из 291 ступеней. Слишком накладисто втаскивать для этого бревно на гору (да и скатить бревно с привязанным к нему человеком по узкой лестнице не так-то просто). Возможно, когда-то в году двадцать четвертом однажды и пробовали такой способ. (А не исключено и то, что он попал к Солженицыну в книгу из кладезя всяких лагерных параш. М.Р.)

Послушаем теперь тех, кто побывал на Секирке в 1927 и 1928 годах у Вейса, творца описанных «патриархальных» методов.

«Мои рабочие в исследовательской партии на Филимоновом торфяном болоте — пишет Никонов (стр. 151) — все, как на подбор, воры-рецидивисты, против ожидания работали дружно и без туфты. Ларчик их добросовестности открывался просто: они недавно «сидели на жердочке» и теперь, вырвавшись оттуда, были рады работе «на свободе». Нужно заметить, «жердочки» — один из невинных на вид, но на самом деле жестокий способ наказания, доведенный на Секирке до совершенства».

Продолжая объяснение, Никонов впадает в ошибку, сообщая, будто «на жердочку» штрафников сажают по возвращении с работы. Как обстояло дело с «жердочками» в действительности, узнаем у него же дальше, на стр. 163-165:

«На Черном озере позади Секирки мы рубили проруби для

замера глубин. Трое рабочих были из нижнего Секирного изолятора. У всех у них на каждой части одежды был прикреплен билетик с номером.* Один из рабочих оказался подполковником Гзель, Константином Людвиговичем, оштрафованным «за недоносительство», потому что спал в рабочей роте (очевидно, на материке. М.Р.) между двумя «леопардами». Они, якобы, подготавливали побег и, следовательно, по логике ИСЧ, «Гзель не мог не знать об этом, но не донес нам». За это и дали ему два месяца Секирки, которые сейчас подходили к концу».

Рассказ Гзеля о Секирке подтверждает уже известное от Зайцева, но и дает кое-что новое для зимы 1928-29 года. Так, вновь прибывающих в изолятор переоблачивают в балахоны из мешков. В общих камерах появились скамейки, очевидно из узких досок или плохо отесанных жердей или горбылей — вот эти самые «жердочки». У читателя до сих пор могло сохраняться убеждение, будто чекисты сумели держать штрафников с утра до вечера на жердях, словно кур на насестях, особенно прочитав у Солженицына (стр. 34-36):

«Содержат на Секирке так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку и велят наказанным весь день на этих жердях сидеть... Ну, да за жердочками не на Секирку ходить, они есть и в кремлевском всегда переполненном карцере».

Допускаю, что Солженицын несколько «олитературил» то, что слыхал о «жердочках» в 1931 году в Кемперпункте Д. Витковский, на которого он иногда ссылается. А тот писал (стр. 160):

«...Сажали людей спать на жердочках, заставляя держаться руками за приделанные сверху лямки...».

Олехнович, упоминая про жердочки, взятые им и Никоновым в кавычки, поясняет (стр. 79):

«Они имеются и в самом кремле, в одной из башен, как особая форма наказания на срок не больше двух недель. Оштрафованных сажают на высокие скамьи так, что ноги их не достают пола. Сидят в гробовой тишине, а за разговоры или

*) Это не те номера, которые нашивались в Особлагах «врагам народа». Никонов не поясняет, но дело с билетиками простое. Выгоняя полуголого на работу, его облачали в одежду тех, кто оставался «на жердочке». По возвращении с работы, каждая часть одежды приобщалась к узлу ее собственника. Билетики с номерами прикалывали, чтобы не спутаться.

движения нарушителей связывают веревкой таким способом, чтобы голова касалась ног, и бросают в темную сырую камеру на три часа».

Вот в эту самую глиномялку под карцером, о которой подробно поведал нам Киселев.

Наиболее ясное представление о «жердочках» на Секирке дает рассказ Гзеля Никонову:

«Все сидят на скамьях в мертвой тишине совершенно неподвижно, положив руки на колени. Насекомых тьма, но нельзя сделать движение, чтобы не то, что почесаться, но хотя бы стряхнуть гнусь. За порядком смотрит дежурный чекист... Нельзя вообразить, самому не испытав, гнусного ощущения от вынужденной неподвижности. Это нечто непередаваемое. Что насекомые! Их уже перестаешь чувствовать. Весь организм — сплошная ноющая, жгучая рана, всего тебя пронизывает нестерпимая боль. Но достаточно вздоха посильнее, и виновного ставят на ноги у «решотки» (Ни Гзель, ни Никонов не объясняют, в чем тут худшая, чем «жердочки» пытка, и вообще, что такое это «решотка». М.Р.), а за более серьезные нарушения — в карцер «под маяк»: в холодную камеру, всю в щелях, под куполом собора. Зимою там в этом балахоне достаточно пробыть несколько часов — готово воспаление легких, а за ним чахотка и кладбище. (Клингер побывал там даже без балахона и схватил воспаление легкого М.Р.) — «Помнить будем доброе! — добавил шпаненок, сушивший портняки».

Все это происходило под властью Вейса, заключенного-чекиста. Кто его заменил там с 1929 года, когда Вейса назначили уже начальником кремля, т.е. всех кремлевских рот, следов пока не найдено. Но обстановка на Секирке и в 1930 г. до весны, видимо, заметно не изменилась, о чем можно судить по фразе одного из украинцев в брошюре Чикаленко:

«Я пробыл пять суток даже на Секирке, где не только малое начальство бьет, но и сам Зарин стреляет».

Что за нужда припала Владимиру Егоровичу Зарину, заняться расстрелами на Секирке? Он же по Солженицыну (стр. 64) «снят за либерализм и, кажется, 10 лет получил». Зарина, царя и бога на Соловках с зимы 1928-го или с весны 1929 года и до весны 1930 г., нет оснований причислить к «пострадавшим за лагерный либерализм». Им в тот период на острове как и по всему УСЛОНу, даже и не пахло. Дрыновали во всех ротах и на всех командировках. Московская комиссия, расстреляв на острове «произвольщиков» из заключенных, арестовала на пароходе провожавшего ее Зарина и увезла с собой. Что стало с ним, у летописцев ответа не нашли. Никонов,

правда, с подробностями (на стр. с 230 по 244-ую) описывает этот знаменательный в истории Соловков отрезок времени, но, к прискорбию, поддавшись «парашам», приперчил их еще и порядочной дозой собственной фантазии из-за приверженности к беллетристике в ущерб достоверности. Тем не менее, обстановку, настроение и мысли соловчан тех дней он передал довольно точно.

Отвлеклись. Вернемся к Секирке. Розанов (стр. 48) уделил всего полстраницы общей ее характеристики, как:

«центрального штрафного изолятора, приводившего своим режимом и зверствами весь уголовный мир страны в тихий ужас. Там были сложены строки этой песни:

На восьмой версте Секир-гора,
А под горою мертвые тела.
Ветер там один гуляет,
Мать родная не узнает,
Где сынок сконченный (или расстрелянный) лежит.

Это только один из куплетов очень грустной песни, за которую то же сажали в Секирку. Он мне особенно запомнился еще с «Крестов», где мой единственный однокамерник, пойманный уголовник-беглец, напевал ее, ожидая обратной отправки на сей раз уже прямо на остров и на Секирку. Из следующего куплета припомнил только последние три строфы, а первые две заимствую у Пидгайного и Якира:

Ах, сколько было там «чудес»!
Об этом знает только темный лес.
На пеньки нас становили,
Раздевали, колотили,
Мучили тогда нас в Соловках.

Киселев (стр. 84) из первого куплета привел три искашенных строчки: — Бог даст, времячко настанет — Мать родная не узнает — Где зарыт ее сынок.

Только в книге Петра Якира, сына расстрелянного в 1937 г. командарма, «Детство в тюрьме» (на английском, но есть и на русском) приведены полностью оба куплета. Поразительно, что советские малолетки-правонарушители («шпанята»), с которыми рос Якир, помнили эту песню двадцатых годов. Вполне возможно также, что Якир, одно время видный из-за фамилии диссидент (затем «расколотый» на допросах) взял эти куплеты из моей и Пидгайного книг.

Много песен, вернее частушек и шаржей сочинено арестантским писательским цехом на Соловках, в частности нашим летописцем Б. Ширяевым, но песенки эти предназначались для развлечения начальства и более удачливых заключенных и открыто распевались или читались со сцены соловецкого театра и летних эстрад, например на Филимоновском пункте. Только в одной из них дан намек на Секирку:

Хороши по весне комары,
Чуден вид от Секирной горы,
Где от всяких ударных (или: ненужных) работ
Отдыхает веселый народ...

Глава 6

ДЕВЯТЫЙ КРУГ — В ЛЕСАХ

В «Соловецкой каторге» Чикаленко один из беглецов-украинцев приводит норму выработки в 14 деревьев на трех, не указывая ни кубатуры, ни ассортимента, на который должны разделать дерево, так что судить о том, каков урок по такой «норме» нельзя. Его можно выполнить и за два часа, а то и за двадцать не справишься. Поясним также, что окоркой бревен занимаются весной на катацах или после сплава на лесобиржах, но не зимой в лесу, когда бревна промерзли. В норму лесорубов эта работа не входит. Либо украинец в лесу не бывал, либо Чикаленко от себя добавил эту работу лесорубам... Мне с лесом пришлось повозиться целый год еще до Соловков от повала и вывозки до сплава и погрузки из запани, правда, у частного подрядчика и не в СССР, так что я по лесной части «сам с усам». Оттого глазам своим не верю, читая Киселева (хотя бы страницы 64, 65 и 74-ю), будто уроком лесорубу (значит, одному!) давали срубить или спилить 35 деревьев. Вот как он описывает — или расписывает — положение в лесу, не задумываясь о том, насколько оно отвечает истине:

«В лес заключенные приходят совершенно затемно. Десятники выдают им спички, чтобы рассмотреть, есть ли на сосне клеймо для повала. Снегу по пояс. 35 деревьев он должен срубить, обрубить сучья и окорить, а потом возвратиться на командировку за 5-10 км. 35 деревьев — это только основной урок... За своих заболевших или обессиливших товарищей здоровые должны выполнять работу, пока не пришлют замену... За больных сверх двух-процентового лимита урок раскладывается на здоровых. Таков приказ УСЛОН_и... На новых командировках, пока одни занимаются постройкой бараков, другие выполняют уроки и за себя и за них... А еще есть «социалистическое соревнование» в СЛОН_е — это 25 процентная надбавка к уроку».

Если сложить все эти «довески», то урок с 35 деревьев подскочит и до 50!

«Саморубам — продолжает Киселев — чекист-надзиратель

(т.е. конвойир) дает «пропуск» — полено в 2 пуда весом* с пометкой, чтобы после перевязки направили обратно в лес закончить урок. — Не можешь теперь рубить, так будешь пилить. Для этого тебе одной руки хватит, — говорят чекисты и десятники. И саморуб пилит одной рукой каждый день, пока не умрет от заражения крови или товарищ не согласится отрубить ему кисть и правой руки».

Был ли когда-нибудь Киселев в лесу на месте работ и видел ли, чтобы лесорубы рубили, а не пилили деревья? Он, видимо, даже не знает, что для повала и разделки по размерам употребляются только пилы, а топоры — для обрубки сучьев и подруба дерева, когда пилу «заедает». Да и не работают в лесу одиночками, а только звеньями из трех, реже — из двух. Редактору книги тоже следовало бы это знать.

Или о наказаниях лесорубов. Что там повторять о набивших оскомину комарах, пеньках, о бесчисленных воплях: «Я филон, работать не хочу, я филон..! Надо дать что-нибудь новенькое, необычное, «с изюминкой»...

«Четвертый прием — раздевание. Заключенному приказывают раздеться и стоять, прислонившись к сосне, при чем зимой ствол сосны иногда поливают водой и нос примерзает к дереву»...

Не пояснил только Киселев, откуда зимой в лесу достают воду. Может, напарник растапливает снег, а за него и наказанного остальные в партии получают «нагрузку» к уроку? Так, ведь, следует из пояснений Киселева. Есть у него еще «пятый» и «шестой» приемы, да хватит и четвертого. Даже побывавшие на материке на Баб-дачах, на Мягострове на Ухтинском и Парандовском трактах или на Соловках на Овсянке, Исакове или Ново-Сосновой читали бы Киселева, раскрывши рот. Кому-то

*) Розанов (стр. 21) насчет такого «пропуска» в 1927-1929 годах передает другое объяснение старых соловчан: «...Кончит урок «до звонка» пара лесорубов, пристанет к десятнику: — Дай, да дай нам пропуск в лагерь! Осерчает десятник — его подводят. Возьмет метровый обрезок в пуд весом и напишет» «— Дан таким-то на предмет входа в зону в виду окончания урока» — Вот, говорит вам пропуск!..»

Впрочем, на Мягострове лесорубов, окончивших свой урок к часу дня, отпускали в лагерь свободно. (Встречались такие: молодые, здоровые, опытные). Однако саморубам, добавляет Олехнович (стр. 51-52), кто отрубив пальцы, бросал их в лицо десятнику или конвойиру, пропуском к лекпому давали тяжелый обрубок.

из журналистов — не Дорошевичу ли? — советовали: — А вы его (какого-то нелюбимого сановника) не браните, а хвалите так, чтобы читателя стошило... Не этого ли добивался Киселев, заменив похвалу до тошноты, нагнетанием кошмаров до омерзения, свыше всяких «страстей-мордостей». И добился! «Его книга значительно выше всех своих предшественников» (т.е. других книг соловецких сидельцев. М.Р.) — оценивает «труд» Киселева в своем предисловии Сергей Маслов. Не верю, но не отрицаю возможности, что кому-то когда-то где-то и за что-то приморозили нос к сосне, но приводить его вслед за комарами и пеньками, как типичный, это все-равно, что написать: «Недовольство большевизмом дошло до того, что из лагерей бегут в Финляндию даже уполномоченные информационно-следственных частей — ИСЧ», тогда как из последних бежал в 1930 г. только Киселев и как раз в дни, когда менялся режим и начальство в Соловецких лагерях, о чем он не мог не знать, но о чем молчит, как рыба.

«Факты» Киселева сразу были взяты на вооружение проправительственниками, еще за четыре года до выхода книги, едва лишь его показания финским властям и любознательному Скотланд Ярду дошли до ушей журналистов и попали в печать, как «засвидетельствованные показания чиновника ГПУ». На них, на этих 35 деревьях, на спичках, да на 662257 заключенных на 1-е мая 1930 года, указанных им, а Эссад-беем целиком набитых на Соловецком острове в книге «ОГПУ — Заговор против мира» (на англ. в 1933 г.), и доказывалась, как «брехня», использование заключенных в лесах севера для демпинга дре-весины в Англию. Особенно старался обелить Советы и очернить их противников секретарь англо-русского просоветского парламентского комитета Вильям Коатс при моральной поддержке побывавшего в Москве в 1925 году с английской профсоюзной делегацией одного из столпов их тред-юнионов — Бен Тиллета.* Этот Коатс выпустил с 1925 г. в общей

*) Бессонов (стр. 147), рассказывая о своем пребывании на Шпальерной в Ленинграде, вспоминает такой эпизод из зимы 1925 г.: «Принесли газету. На первой странице письмо Бен Тиллета, восхваляющего советские учреждения. Улыбаясь, продолжаем читать, пока не дошли до фразы «Ваш милосердный тюремный режим заставляет меня умилиться вашей гуманности». Тут уж меня с однокамерником (юношой-меньшевиком) разобрал смех до истерики. «Милосердный!.. Его бы сюда, тогда понял». Я перечел весь «Отчет... делегации» из семи членов и трех советни-

сложности свыше тридцати «трудов», ратующих за сближение с СССР, за предоставление ему кредитов и опровергающих все, что чернит Советский Союз, особенно его лесной демпинг. Из-за экономии места не перечисляю всех его книжёнок и брошюр, а сошлюсь только на одну из последних, изданную в Лондоне в 1943 году, в которой суммированы все его прежние «доводы»: *История англо-советских отношений*. Страницы с 363 по 370 целиком заполнены опровержением показаний беглецов из концлагерей, цифр Киселева* и Эссад-бэя и острой критикой всяких английских государственных и общественных комиссий, групп и газетных статей, расследующих и доказывающих рабский труд на Севере. Для несведущего западного читателя издевательский тон автора звучит довольно убедительно и книга его получила широкое распространение в Англии и Америке, особенно в студенческих кругах. Больше всего и лучше всех ему в этом помогли сторонники «теорий», будто чем чернее краски о концлагерях, ЧК и ГПУ, чем безудержней фантазия, чем больше трупов на каждом шагу, тем сильнее удары, наносимые большевизму. На деле же такой расчет часто приносил обратные результаты, и в этом убеждаешься по книгам Киселева и Эссад-бэя. Невольно на ум приходит сплетня о Чацком:

- Шампанское стаканами глушил!
- Бутылками, и пребольшими!
- Нет-с, бочками сороковыми!..

В тон ей такие и пишут «бочками сороковыми»...

В небольшой брошюре от 1931 года «Угрожает ли торговля с Советским Союзом» Вильям Коатс на стр. 56 делает «резюме»:

«...Мы повторяем, что в продолжение всей газетной, промышленной и партийной («твердоловых» — консерваторов. М.Р.) кампании против ввоза советского леса не приведено даже незначительных доказательств в поддержку их обвине-

ков и только развел руками. Боже, какие слепцы, какие дурни! Взять этого Тиллета, генсека тред-юнионов с 1889 г. Говорят, что пускали их и на Соловки, да из-за зимы дороги туда не было. Отказались...

*) О 35 деревьях на лесоруба, о спичках и т.п. опубликовал «Таймз» 9 февраля 1931 года. Другой, уже канадский «спец», подсунул расчет, по которому 662 тысячи арестантов за сезон оголили бы лесную площадь равную Англии, словно все они только и делали, что пилили и пилили! И, ведь, какие-то люди верили ему, печатали такие «расчеты»!

ний, будто принудительным трудом и заключенными тюрем заготавливают, вывозят или грузят лес для экспорта».

На той же странице он приводит ответ на запрос в Палате Общин от 26 января 1931 г. помощника секретаря по иностранным делам:

«Мистер Литвинов (тогда — Наркоминдел. М.Р.) заявил нашему послу, что Советское правительство не станет рассматривать официального обращения о расследовании (принудительного труда для лесного экспорта. М.Р.), подобно тому и по тем же причинам, по которым правительство Англии отклонило бы подобное требование от них (о рабском труде в колониях. М.Р.), и что осужденные в Советском Союзе заняты тем же, чем и в других странах — прокладывают дороги, и это внутреннее дело Советского правительства. Советские авторитетные органы информировали нашего посла, что ни содержащиеся в тюрьмах, ни прочие осужденные не используются в лесной промышленности для экспорта древесины, включая погрузку ее в портах».*

Всего лишь днем позже и в Америке в специальном коми-

*) В книге на английском (от 1931 г.) члена английского парламента герцогини Аттольской «Трудовая повинность народа» о принудительном труде в СССР на странице 66-й дан фотостат с «Приказа по Управлению Соловецких Лагерей ОН ОГПУ № 1 от 1 октября 1929 г.» за подписями Г. Бокийя и Ногтева о мерах для выполнения втрое увеличенного плана лесозаготовок для экспорта. Если и был такой приказ, на нем несомненно имелась бы надпись «Секретно», а тут предписывается не только зачесть его на лагпунктах и командировках, но и вывесить на видных местах. Это в дни-то, когда заграница уже ополчилась против советского демпинга, особенно лесного. Мало того: приказ указывает на «Положительные результаты трудовых соревнований по УСЛОН,у», а про них ни в 1928, ни в 1929 году даже слухов не было. «Соревновались» лишь надзор и десятники по числу избитых прикладами и дрынами... Приказом вводится прогрессивное денежное премирование (за перевыполнение норм в лесу и на лесозаводах) и обещается сокращение срока и досрочное освобождение. Ни первого, ни второго, ни третьего «блага» занятые на лесоразработках для экспорта не имели и в сезон 1930-31 года. Мне ли, счетоводу по производству на такой командировке, начинаявшему премвозднаграждение, не знать этого? Даже зачета рабочих дней не было в том сезоне. На острове он введен с осени 1931 года и тогда же в Белбалтлаге.

Видимо, кто-то «причесал» этот приказ, да не очень умело...

тете Палаты представителей обсуждали ту же тему: о запрещении ввоза продукции принудительного труда. Еще раз пережевывали ее там же 19-21 февраля 1931 г. «Протокол гласил: Слушали — Постановили, Выпили — Закусили»... и вскоре — 16 ноября 1933 года — Рузвельт с Литвиновым обменялись любовными письмами: признали друг друга, рыбак рыбака... Не к лицу могучей и пребогатой Америке оставаться в хвосте очереди из государств с грамотами о признании.

Припомним, что в это же время — 8 марта 1931 года на 6-м Съезде Советов Молотов со всесоюзной трибуны объявил, что «безработные Англии и Америки позавидовали бы положению советских заключенных, занятых на Севере прокладкой железных и шоссейных дорог, освоением нового богатого нефтеносного района на Ухте, а не заготовкой и погрузкой леса для экспорта...* Как раз в эти дни, а, может, в феврале у меня, счетовода по производству 11-го лагеря 3-й дистанции Особого Управления Соловецких и Карело-Мурманских исправительно-трудовых лагерей — УСИКМИЛ, а — (Розанов, стр. 32-34) затерялась печатная занумерованная копия секретного договора между лагерем и Желлесом на заготовку и вывозку 3 миллионов кубометров экспортной древесины, из-за чего весь наш лагерь был оцеплен охраной. К счастью, договор нашелся и головы наши уцелели. В тот же сезон молниеносно позакрыли все лагерные лесные командировки вдоль Мурманской и Северной железных дорог в самом Архангельске и заключенных оттуда перегнали в лагеря в глубине лесов. Вышки для охраны, заборы, колючую проволоку, все что чем-либо напоминало присутствие тут заключенных, было уничтожено. Среди нас циркулировали всевозможные «параши», то, якобы, ожидали проезда советского друга Бернарда Шоу, гостившего в Москве с леди Астор. (Никонов, стр. 274-276), то английской (Розанов, стр. 32-33), то американской (Китчин. стр. 271) рабочих делегаций и т.п., вплоть до «параш» о подготовке к войне и отводе заключенных подальше от финской границы (Чернавин, стр. 252). Теперь есть основание говорить о том, что Москва, видимо, считалась с возможностью допустить в Карелию и Архангельскую область английскую или амери-

*) В конце этой главы приложены выдержки из доклада Молотова о принудительном труде и экспорте леса. Брежнев теперь лишь копирует Молотова, когда протесты заграницы о нарушении Хельсингского соглашения о правах человека Советским Союзом, называет вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

канскую или обе комиссии «в обмен» на советские комиссии в Египет, Индию, Конго, в Латинскую Америку, в Индию и т.д., чтобы больше выиграть, чем проиграть на таком расследовании, а заодно втереть иностранцам очки. Не только, ведь, лагеря в Карелии, но и Севлаг в те же дни с такой же спешкой сравнял с землей свои командировки вдоль Северной жел. дороги, в самом Архангельске и по р. Уфтуг, о чем подробно и красочно рассказывает Китчин. Эвакуация только одного лагеря в Архангельске с 30 тысячами заключенных — пишет Китчин (стр. 266-269), — как мы узнали в конце года, унесла 1370 жертв. По приказу его начальника Окунева всех заключенных выгнали за город и они под открытым небом, замерзая, несколько дней ожидали жел.-дор. составов... Такую же «эвакуацию», но пешим порядком, перестрадали заключенные лесного отделения Севлага (по р. Уфтуг). От него же, от Китчина, мы узнаем, что за неделю до «эвакуации» в управлении лагеря и на его строительных (не лесных!) командировках были проведены собрания по испытаному методу: «Кто против? Кто воздержался? Принята единогласно. Подходите, подписываетесь». В этих резолюциях заявлялось, что «мы, заключенные, довольны хорошим обращением и достаточным питанием и одеждой и охотно работаем на строительстве для пятилетки нашей родины и опровергаем ложь, распускаемую о нас эмигрантской и капиталистической прессой».

Розанов в те дни, как только что указывалось, работал на лесной командировке вдали от жел. дороги и такую резолюцию им не предлагали.

Вместо этого, к ним прислали 500 заключенных с закрытых командировок вдоль жел. дороги, но через неделю их затребовали обратно: опасность миновала. Возможно, что в управлении лагерем и на командировках, не связанных с лесом, «голосование» проводилось, но упоминаний о том у соловецких летописцев не нашли. Профессор Чернавин, весной 1931 года привезенный на Попов остров, передает (стр. 251-253), что «спешка и паника была ужасная, так что многие поверили, будто объявлена война и заключенных удаляют дальше от границы». Той же весной, чуть попозже Чернавина, в Кемской пересылке побывал Д. Витковский, впоследствии прораб Белбаллага, с которым беседовал Солженицын. Описывая в журнале «Двадцатый век» (Лондон) свой лагерный опыт, он сообщает: «Повидимому, как отзвук от прошедших событий (ужасы двадцатых годов) в мое время Кемперпункт посетила комиссия иностранных журналистов... задавали в присутствии лагерного начальства всякие вопросы заключенным, очевидно

не понимая... что даже с глазу на глаз они не узнали бы правды».* Эти же «разбойники пера», как их честит советская пресса, добрались и до Архангельска, но ни лагерей, ни заключенных там не нашли, о чем и раззвонили по белу свету. На лагерных бараках прочли вывезки: Клуб, Школа, Кооператив, Отхожее место... (Китчин, стр. 271).

Перечисляя десятки крупнейших работ, выполненных лагерями, Солженицын (стр. 580) включает и погрузку леса на пароходы в Карелии (до 1930 г.), добавляя: «После призывов английской печати не принимать леса, груженого заключенными, зэков спешно сняли с этих работ и убрали вглубь Карелии».

На заготовку и погрузку леса в Карелии и в Архангельской области пригнали в ссылку семьи раскулаченных. Этих заграница признала вольными. Ну, как же: получают зарплату, ются семьями, работают без часовых и не огорожены колючкой!.. (Не подыхать же им в землянках с детьми!) Так, одним ударом Сталин убил двух зайцев: раскулачиванием нагнал страх на крестьянство, облегчив загон его в колхозы, а ссылкой раскулаченных на север обеспечил лесную и всякую иную там промышленность «вольной» рабсилой. Советский лес беспрепятственно поплыл на запад, уже не возбуждая протестов. Более пространно и убедительнее доказывает это Китчин. А что таким «вольным поневоле» жилось часто хуже, чем заключенным, о том у покупателей леса голова не болела и совесть их не мучила.

Достаточно посмотреть десятки фотоснимков ссылочных крестьян в лесах севера в книге Альбрехта, чтобы ужаснуться их житию-вытвою.

На самом деле, как выяснилось после, никаких ни американских, ни английских комиссий и делегаций, а тем более стажира Бернарда Шоу с леди Астор в районах концлагерей не было. Все это — досужие выдумки, лагерные «параши». В дни, когда ГПУ на крайний случай застраховалось «резолюциями заключенных» и позакрывало лагеря на виду вдоль жел. дорог и в портах погрузки, Европа и Америка уже сбивали тон и больше не требовали «расследований на месте». Наоборот, английские профсоюзы и лесные деляги нажали на нужные

*) А Солженицын (стр. 146) добавляет: «Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками — ... сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена».

тормоза и ход кампаний стих, тем более, что такие «акулы из акул», как Форд, наусыканные еще сегодня живым Арнольдом Хаммером,* приложили палец к губам и прошептали: «тс-с! Они тракторы закупают, а у нас рецессия...». Вернувшись из СССР в июле 1929 г., еще до заявления Литвинова английскому послу, британская лесоторговая делегация объявила, что довольна точным выполнением Экспортлесом своих обязательств по срокам, качеству и количеству древесины и по расчетам с ним. После того, уже не один, а десять банков открыли Советам кредиты... закупать веревки для петель. Правы предки наши: «Не вспоя, не вскормя, ворога не наживешь»...

**

И без Киселева, и задолго до него многие знали, что самым гибким местом на Соловках, по праву, считался лес. Угодить на лесозаготовки было очень просто и легко, а вот вырваться оттуда по добру-поздорову, таких и с огнем редко сыщешь. Лесорубы завидовали даже тем, кто тоже «ищачил», «втыкал», «мантулил», «доходил» и «загибался» на прокладке узкоколейки к Филимонову болоту, на торфу и на Кирпичном заводе. Мечтали многие устроиться в сельхозе, в пушхозе, в любой из десятков мастерских при кремле, но сколько же могло быть соловчан, рожденных в сорочках? Мы уже рассказывали, какую силу имели на Соловках с первого дня до весны 1930 года деньги и блат. В лес попадали те, у кого их не было, в большинстве шпана и крестьяне, да те из интеллигентов, кто еще не обучился выживать на «воле», ни тем паче в лагере, за что-нибудь был наказан начальством отправкой в лес или на кого ИСЧ и учетно-распределительная части имели предписание содержать только на тяжелых физических работах.

Процентов двадцать-двадцать пять общего состава лесных командировок использовались на внутрилагерных работах и

*) См. в НРСлове от 26 марта 1976 г. мое письмо в редакцию. озаглавленное «Дорогой тов. Хаммер». Так называл его Ленин. Теперь он вхож к Брежневу и обделяет с ним свои делишки от устройства площадок для игры в гольф под Москвой для большевистской знати, до постройки заводов. На это у него здоровья хватает. А для показаний сенатской следственной комиссии в 1977 г. о каких-то неблаговидных поступках отвертесь медицинскими заключениями и усся на то время в коляску для инвалидов...

были счастливее тех, кого гнали за зону в лес. Кто-то должен же обслуживать кухню, кантерку, ларек, бараки, медоколодок, комендатуру, охрану, стирать белье, топить баню, хлопать на счетах в производственных и хозяйственных частях, составлять ведомости, отчеты, быть на побегушках у начальства; кто-то должен подвозить продукты, ремонтировать и делать сбрую, сани, ухаживать за лошадьми, если не хватало ВРИДЛО, содержать в пригодности инструмент. Удел остальных — пила, топор, лямка и дрючок. Им, если они стремились выжить — а кто не стремился? — и хотя бы полуинвалидами покинуть лагерь, оставался единственным доступным выходом — туфтиль. О туфте в лагерях уже много написано, да и на воле она давно известна каждому если не под лагерным словом, то под старым: очковтирательство, обман.

Для каждой лагерной работы существуют свои способы туфты и перечисление их с пояснениями заняло бы десятки страниц. Наиболее ловки и бесстрашны в туфле уголовники, шпана, но они же, как менее остальных привыкшие к физическому труду и фанатично презирающие его, первыми и заполняют изоляторы и братские могилы. Быстрее других ввергнутся в отчаяние лесными условиями, шпана преобладает также и среди самоувечников-саморубов.

Сколько тысяч погибло в соловецком лесу до весны 1929 года включительно, едва ли кто знает. Известно только, что в 1923 и в 1924 годах на острове в лесу работало не больше двух-трех сотен заключенных на заготовке дров и жили они в кремле в карантинной и рабочей ротах в соборе. Усиленная рубка для экспорта началась с зимы 1926-27 года, а в 1927-28 и 29-м годах уже существовали самостоятельные лесные командировки Исаково, Савватьево, Ново-Сосновая, Амбарчик, Овсянка, Красное, Щучье... В лесу сверх того работали небольшие партии с Кирпичного завода, Филимоново, Секирки, Муксольмы, из бараков вдоль узкоколейки; правда не все обновлением в одни и те же годы. Однако, общая численность занятых в лесу (включая внутрилагерную службу) едва ли превышала двадцать процентов от всего состава заключенных на острове, иными словами, в зимы 1926-27 г. по 1928-29 г. колебалась в пределах трех-четырех тысяч человек, не засчитывая сюда тех, кто в этот период списан с лесозаготовок, как погибшие по разным причинам или отправленные как совсем обессиленные «доходить» (а иногда и поправляться) на Кондостров, Анзер и в кремлевский лазарет. В кремле с избытком хватало человеческого материала в 8, 11, 12, 13 и 14 ротах восполнять людскую убыль на лесозаготов-

ках и постоянно держать бараки там полностью набитыми, так что приведенная выше приблизительная численность меньше фактической численности испытавших соловецкие лесозаготовки. Можно без большой ошибки считать, что за зимний сезон на острове в лесу и от леса погибала четвертая часть занятых там, т.е. от 750 до 1000 человек и столько же покидало, как инвалиды и доходяги с правом на замедленную смерть. Лес и Секирка были Сциллой и Харибдой на Соловках, и каждый, завезенный на остров, в меру способностей и удачливости лавировал между ними весь срок так, чтобы не попасть туда и уцелеть.

Некто Инжир, Лев Ильич, бывший меньшевик и потом главный бухгалтер Белбалтлага и, наконец, ГУЛАГа (даже при Ежове) рассказывал в лагере Бергеру (стр. со 116 по 131 вкл.), что:

«...концлагерям спускался «максимум смертности» и по нему судили, каково положение в лагере. Если «максимум» передан (но Инжир размер его скрыл от Бергера. М.Р.), то из Москвы приезжала комиссия и начальники лагерей шли под суд или снимались с должности, а в особых случаях приговаривались к смерти и тогда об этом сообщали заключенным».

Как поступали в это время с другими участниками «перерасхода человеческого материала», Инжир, видимо, тоже скрыл от Бергера. Такие комиссии приезжали и на Соловки в годы, когда Инжир был лишь бухгалтером Госбанка, чаще всего под обнадеживающим названием «Разгрузочной комиссии». О ней в особой главе.

Инжир, как отмечает Бергер, один из немногих, «кто знал ежедневно точное количество заключенных на всех 20 миллионах квадратных километрах СССР, сколько часов ими отработано, сколько добавлено новых арестантов, а также число больных, отказчиков, умерших и окончивших срок», но эти цифры он захватил с собой в могилу в 1954 г. при лагерном госпитале в Тайшете.

Сколько заготовлено на Соловецком острове деловой, пригодной для экспорта древесины и дровяника, летописцы, конечно, не знали, как не знали и общей численности людей на лесных работах, так что пока остается тайной точное число жертв на каждую тысячу кубометров леса. Вообще на Соловках хорошего леса для экспорта совсем мало. Все же на 250 квадратных километрах площади острова, включая сюда сотни озер и десятки болот, можно найти несколько тысяч деревьев пригодных для распиловки и строительства, но в такой разбросанности друг от друга, что даже расплачиваясь за работу

куском хлеба и черпаком хлёбова, на этом лесе много не зарабатываешь, хотя Никонов и приводит прибыль от леса «по методу Френкеля» за 1927 г. в 5 млн. золотых рублей, а Андреев, очевидно за 1928 г., называет цифру в 10 млн. Соловецкий монастырь берег свое хвойное богатство и заготавливал на острове только дровяник для отопления, чем занимались 60 монахов и обетников (Федоров), а прибитый к острову плавник с Двины пускал на мелкие поделки и распиловку. Строевой и баржевой лес монастырь покупал на Кемском берегу и в Архангельске и привозил его оттуда на своих судах (Брокгауз, т. 60, стр. 782).

Соловецкий лес грузился на иностранные лесовозы на материке вдали от Кемперпункта и не заключенными, а вольными и ссыльными (Чернавин, стр. 251). С Соловков его отправляли туда или в плотах за своими буксирами или на барже, оставленной англичанами и названной «Кларой Цеткин». На Поповом острове этот лес перегружался заключенными на желдор. платформы и отправлялся в пункты, откуда Карелес и Желлес грузили его на иностранные суда. Часть плотов перегружалась на Поповом острове заключенными на лагерные пароходы и отправлялась для перегрузки покупателям в Архангельске, «рабсилой» Севлага. Эти бесхозяйственные операции с лесом изложены некоторыми летописцами так, что у читателя может создаться впечатление, будто заграничные пароходы грузились заключенными даже в самих Соловках и в Кемперпункте (Например, Ширяев на стр. 224 пишет: «В Кеми наши плоты перегружались на иностранные суда»). Отнюдь нет! СЛОН сдавал свою продукцию Карелесу и Желлесу, а те уж, замаркировав СЛОНОвские бревна своими клеймами от своего имени и своими рабочими грузили их, а валюту от покупателей получал Экспортлес. Чистая работа!.. Из всех летописцев только Зайцев (стр. 118) подтвердил такой порядок. Подробнее и убедительнее, как отмечалось выше, такое мошенничество в сезон 1930-31 года описано Розановым (стр. 32-34).

Основным подрядчиком экспортного леса среди концлагерей был даже не СЛОН, а Севлаг. Он не только заготавливал и сплавлял лес в Архангельск в бассейне Северной Двины, но одно время частично и грузил его свой рабсилой. Переводчиками для сношений с капитанами были также заключенные. Однако и там договора и расчеты с покупателями вел не Севлаг, а Северолес. Об этом очень правдиво, почти документально, рассказывает на английском Китчин.

На Соловецком острове с зимнего сезона 1929-30 года

лесозаготовки для вывоза прекращены из-за тифозной эпидемии и перехода УСЛОН, а на эксплуатацию более выгодных и ценных лесных массивов на материке. Хищническому истреблению леса на острове пришел конец. Заготавливали только березовые чурки для обжига кирпича, да вывозили в кремль и в другие «населенные точки» острова, так называемые «сучки» — порубочные остатки прежних лет в виде сложенных и за- нумерованных штабелей мелкого дровяника и хвороста. Ими да торфом и отапливался весь остров. Лошадей на эту работу, как и на некоторые другие, не давали, а посылали ВРИДЛО — «Временно Исполняющих Должность Лошади». В годы Розанова — 1931, 1932 на эту работу назначали только вполне здоровых и, обычно, не старше 40 лет, а до того... ну, пусть расскажет Никонов про свой опыт в сезон 1928-29 года.

«Мы шли исполнять обязанности лошадей, а потому и назывались ВРИДЛО. Для каждой группы из пяти человек, впряженных в сани веревочными лямками, был урок одной лошади... Наложив в сани лошадиный груз кирпича, «запряжка» тронулась. Впереди всех тянул уругваец Вильям Бrot, который после года одиночки радовался каторге. Но поэт Ярославский,* идущий справа, вскоре взмолился: — Подождем здесь немногого. Ноги не идут... «Что встали? — орет сзади старший: — Понесли! Пошли!». Скоро, однако, мы все выбились из сил. У меня от натуги звенело в ушах и перед глазами заходили черные круги. «Даешь дальше!» — орет старший. Опять лямки натягиваются, скрипят полозья и скоро от нас начинает валить пар, как от настоящих лошадей...»

ВРИДЛО официально (в отчетах и планах) назывались сначала «вывозкой на людях», потом вывозкой или трелевкой вручную, оглашавшей ревом РАЗ-ДВА-ВЗЯЛИ! ЕЩЕ ДРУЖ-

*) Александра Борисовича Ярославского вскоре расстреляли «за попытку» побега (очевидно с материка), а жену его, бросившую за это камень в кремль в Успенского, сам, якобы, Успенский застрелил весной или глубокой осенью 1939-го на Секирке. Об этом довольно неубедительно передает рассказ одноэтапника Никонов (стр. 240-243). Ярославский — автор ряда сборников (1922-1926 гг.), принадлежал к группе поэтов «Биокосмистов-Имморталистов». Сборники озаглавлены, надо сказать, необычно: «Святая бестиаль», «Сволочь Москва», «Корень из Я», «На штурм вселенной» и т.п. О нем упоминает и Солженицын на стр. 46-й: «Поэт Ал. Ярославский подошел к отделенному и зашептал ему на ухо. Отделенный, отчеканивая слова по-военному, рявкнул: — Был тайным — станешь явным!»

НО! ПОТЯНУЛИ! — соловецкие, карельские архангельские и печорские леса от зари до ноченьки. Вид работы, впрочем, не новый. На сахалинской каторге девяностых годов подобных ВРИДЛО, не мудрствуя лукаво, называли бревнотасками. У меня есть их фотоснимок. Четверо тащат по снегу бревно, однако таких, что десятка соловецких стоят: тепло одетые, краснощекие, мускулистые. Только дурни были: волокли бревно по снегу, а не везли на санках, как в концлагерях. На Кирпичном заводе на Соловках подвозкой березовых дров для обжига зимою 1931-32 года занято было человек сорок, по соловецкому «стандарту» тоже здоровяки, но далеко им было до сахалинцев и по силе, и по питанию. Одеты все же в тот сезон были сносно, никто не обмораживался, как два-четыре года раньше, спали в сухом, чистом, теплом бараке на вагонках. Я был для этой партии табельщиком и нормировщиком и не помню, чтобы кто-нибудь не выполнил урока или возвратился затемно. На Соловках — повторяю — после московской комиссии продолжалась «оттепель» и администрация до поры до времени придерживалась письменных инструкций, а не словесных добавлений к ним.

В лесу и на лесной бирже за кремлем с 1930 года работало до 350-400 человек, из них полсотни на лесобирже и по такому же, примерно, числу в Филимоново, на Кирпичном заводе и Анзере, а остальные — в небольших партиях, разбросанных по всему острову. Это я знал уже точно, т.к. в 1931 и 1932 гг. работал табельщиком, нормировщиком, счетоводом и лесотаксатором в разных пунктах острова. Имена лесных палачей 1926-1929 годов — Селецкого, Потапова, Платонова, Воронина, всяких магерамов — к ним сейчас перейдем — еще удерживались в памяти соловчан, но действительные их зверства уже обрастили неизбежным лагерным присочинительством, в основе которого обычно лежало такое сравнение: «Ныне што, ныне терпеть можно. А вот у нас на Щучьем в двадцать восьмом... да для сочности и пущего страха в холодный карцер вместо двух скажет что полдюжины посадили, да и рубашки поснимали, а третий, пересказывая, добавит: — Закрывая дверь, надзор еще и прикладом каждого стукает... Впрочем, подобное случалось, чаще всего со шпаной.

Пальму первенства в раскрашивании соловецких ужасов, несомненно, заслужил Киселев. Дадим ему слово (стр. 91, 92):

Крикунчики — это карцеры (на жаргоне надзора и ИСЧ) и самое распространенное в СЛОНЕ место и форма наказания, если не считать побоев. В СЛОНЕ их 873, т.е. по числу командировок. Крикунчиком зовут карцер потому, что брошенный

туда кричит: зимой он замерзает, а летом его голого немилосердно грызут миллионы комаров и мошки. Сажая в крикунчик, заключенных всегда раздевают — и зимой, и летом. Крикунчик — сарайчик из досок, между которыми просунешь два пальца. Пол земляной. Не на чем сидеть или лежать. Печки тоже нет. «С печкой-то в крикунчике шакалам рай — сами запросятся туда: триста граммов, не работать и печка — чего им еще?! — скажет чекист. В последнее время, экономя лес, крикунчики строят в земле. Вырываются глубокая, метра в три, яма, над ней небольшой сруб, на дне — клок соломы — и все. «Прыгай!» — приказывают сажаемому. А когда выпускают, подают шест. Удобство его для чекистов в том, что «оттуда не слышно, как шакал орет». А сажают туда за все: не стал во фронт перед надзирателем, не стоял в строю, как вкопанный, держал себя непринужденно, показалось чекисту, что невежливо с ним разговаривать, что на незаконные его действия заключенный собирается жаловаться (встречались, значит, и такие храбрецы, и какие-то «законы» знали. М.Р.); если заключенный из интеллигентов (А о ком же речь шла до сих пор? Только о шпане, значит? М.Р.) и после работы отказался писать статью и иллюстрировать стенгазету за надзирателей — тоже в крикунчик».

Не довелось мне ни видеть, ни слышать про крикунчики в земле ни на Соловках, ни после на материке и в других лагерях до самой войны, да и у летописцев о них нет ни слова. Были обычные карцеры, вроде избушек на куриных ножках, сам сидел в таком. Вот в кремле — там розыскали уже забытые и полтора века пустовавшие «каменные мешки» времен Грозного, Преобразователя и Бирона и постарались полностью использовать их.

О «каменных мешках» рассказывают почти все летописцы, особенно старательно один из украинцев в брошюре Чикаленко. По его словам, в «каменных мешках» ротный Платонов уморил сотни им наказанных заключенных, по пьянке забывавший выпустить их оттуда. Клингер (стр. 189) добавляет:

«В эти ямы, сделанные монахами для хранения продуктов, или, как их называют, «каменные мешки»,* администрация

*) В книге советского историка Фруменкова «Узники Соловецкого монастыря» на стр. 6 и 9-й вот что сказано о «каменных мешках»:

«До самого конца 18 века в Соловецком м-ре не было специального тюремного помещения. С конца 16-го и на протяжении 17 и 18-го веков местом заключения служили здесь каменные ниши, сделанные монахом-зодчим Трифоном по куртинам в самой городовой сте-

загоняет «провинившихся» контрреволюционеров ударами прикладов или «смоленских палок» (Это он говорит о 1923 и 1924 годах, когда на острове шпаны было еще мало, а в Кемпер-пункте при Гладкове она тогда просто царствовала. М.Р.). В такой средневековой клетке заключенный проводит от одного дня до недели, не имея возможности ни сесть, ни лечь, ни вытянуться во весь рост».

Послушаем теперь, что нашел на штрафной лесной командировке Овсянка на Соловках, километрах в 18-20 на север от кремля по западному берегу, приехавший туда по служебным делам Киселев (стр. со 111 по 115 вкл.), в те дни вольный уполномоченный 3 части (ИСЧ):

«На Овсянке три барака для заключенных и бывшее монашеское помещение для надзирателей. Все, кто по директиве Лубянки должен попасть в «белые списки» (т.е. использоваться только на тяжелых работах. М.Р.) отправлялись туда. Начальствовал там чекист Ванька Потапов. Никто из присланных к нему обратно не возвращался. Они или замерзали на беспрерывной, без отпуска в барак, работе в лесу, или рубили себе руки и ноги или становились под падающую сосну или вешались на деревьях; или Ванька Потапов убивал их в пылу гнева пулей, штыком, прикладом, а то и отвинченным для этого стволом винтовки (?!! М.Р.), донося ИСО, что «заключенный пытался обезоружить конвой и бежать». ИСО списывало убитых, похваливая: «Не парень этот Ванька, а сундук с золотом».

Маленькая поправка: ИСО или ИСЧ или 3-й отдел не «спи-

не и внутри башен... По замыслу архитектора, каменные ниши должны были служить погребами для снарядов и пороха в военное время, но предприимчивое монастырское (и особенно чекистское. М.Р.) начальство нашло для них другое применение. Погреба превратили в казематы монастырской тюрьмы (позже — в карцеры УСЛОН, а. М.Р.). В соловецких каменных мешках погибли многие сотни неугодных царской власти и церкви (также чекистскому начальству Соловков позже. М.Р.)... В каменный мешок заживо замуровывали несчастных узников... В некоторых камерах узник не мог лечь, вытянувшись во весь рост... Соловецкий мартиролог насчитывает свыше четырехсот человек...»

Это выходит по две жертвы на год. А концлагерному мартирологу только за десять лет и счет потерян. Повертывается же язык у «историка» проклинять прошлое, обходя, как кот горячую кашу, куда как более зверское настоящее, о котором он лучше знает, чем наши летописцы.

сывают», а только утверждают акты или рапорты о подобной «смерти». Списывает по ним та лагерная часть, которая ведет строевой учет заключенных: сколько прибыло, откуда, куда и почему выбыло и сколько осталось, конечно, по фамилиям, статьям и сроку. Она же обязана следить за тем, чтобы заключенные использовались в соответствии со специальными указаниями о них в формулярах и о нарушениях докладывать ИСО. Самые дела, т.е. следственный материал остается в областном ГПУ или отсылается на Лубянку. Даже ИСО, а тем более начальник лагеря, не знают, за что на самом деле осужден человек. Киселеву это должно быть известно лучше, чем нам.* Но продолжим его рассказ:

«Не вполне веря в зверства Потапова, о которых слыхал по работе в ИСО, я решил узнать правду на месте.

— Командировка, смирно! — заорал Потапов, увидев меня подъезжающим. — Товарищ уполномоченный, — начальник командировки Овсянка стрелок Потапов, — представился он мне. — На командировке все благополучно. Вчера в лесу загнулось восемь шакалов, о чем донесено рапортом.

— Почему это заключенные, как сумасшедшие, вылетают из бараков и куда-то бегут? — спросил я, видя грязных, худых, изможденных со струпьями на руках людей в лаптях, спешно строящихся в две шеренги.

— А это они услышали мою команду и становятся в строй. Они у меня дисциплинированы.

Приказав распустить строй и получив нужные сведения, я хотел было уезжать, но Потапов предложил мне «посмотреть его шакалов».

В большой яме около барака № 2, прикрытой заснеженными досками, по словам Потапова, лежало 400 «шакалов». Вызванный им «адъютант» — хилый подросток, одетый в два грязных мешка, сбросил доски и открыл груду голых тел.

— Немного дальше есть еще одна яма. Хотите посмотреть? — спросил Потапов. — В ней поменьше. Я отказался. — Ну, тогда я покажу вам «шпанское ожерелье», — предложил он со странной улыбкой. И показал! По обоим сторонам дверей каждого из трех бараков я увидел «ожерелья» из отрубленных

*) Этот факт очень убедительно подтверждает И.Л. Солоневич в книге «Россия в концлагерях», рассказывая, как начальник Белбаллага Д. Успенский и начальник ИСО Радецкий в 1933 г. допытывались у него, за что же ему навешены такие грозные статьи и пункты по формуляру.

пальцев и кистей рук, нанизанных на шпагат. — Пожалуйста, убери свои ожерелья, Потапов, — сказал я. — На днях помощник начальника лагерей должен объезжать командировки; может выйти неприятность (Хотя я и знал, что даже сама Лубянка без внимания к таким вещам).

— Товарищ Мартинелли (помощник Ногтева в 1929-30 годах. М.Р.) знает об этом, — поспешил успокоить меня Потапов. — Я был в управлении с докладом и упоминал про «ожерелья». Он одобрил, сказав, что от этого шакалы станут поменьше рубить себе руки».

Как апофеоз к этому тошнотворному кошмару, Киселев заканчивает главу про Овсянку сообщением, что подобных штрафных командировок в УСЛОНЕ на 1-е мая 1930 года было 105, при чем в УСЛОНЕ он включает все существовавшие к тому времени концлагеря, даже Алма-Атинский и, конечно, соседний Севлаг и этим еще больше подрывает доверие и к цифрам, и к фактам, приводимым в книге. От Глеба Бокийя или Когана до Киселева — «дистанция огромного размера», и они ему едва ли скажут, сколько у них по СССР командировок, в том числе штрафных, сколько всех заключенных, сколько их умерло по годам и всего на день его побега из СССР. Эти цифры сугубо секретны и даже начальники лагерей и ИСО не знали их.

Мы считали, что во всех соловецких лагерях в это время — в 1930-1931 гг. насчитывалось около 100-120 тысяч заключенных и он был крупнейшим из всех. Следующим по численности стоял Севлаг. Китчин, не имеющий нужды сгущать ни розовых, ни черных красок, и работавший в управлении Севлага, считает, что в конце 1930 г. во всех концлагерях страны было около 200 тысяч заключенных, но — добавляет он — численность их в 1931 году возросла вдвое (стр. 238-240), а к моменту его освобождения — в феврале 1932 г. достигла 450 тысяч. В его Севлаге в самом конце 1929 г. считалось заключенных несколько больше сорока тысяч (стр. 57). Для плана на 1931 год численность заключенных Севлага была принята в 60 тысяч. Розанов в «Завоевателях» для всех Карело-Мурманских и Соловецких лагерей, называет цифру в 100-120 тысяч в 1931 году, включая сюда острова, Особое Управление по экспортным лесозаготовкам, Хибины, тракты и прочие мелкие предприятия лагеря. Опротестовывать цифры Киселева (662257 заключенных на 1-е мая 1930 года) без документальных данных не имеет смысла, но читатель сам может сопоставить их с только что приведенными по другим источниками и сделать собственное заключение. Едва ли у Китчина и Ро-

занова были какие-либо причины приуменьшать цифры, тогда как у Киселева приувеличивать их основания были, перечислять которые автор не считает нужным.

В разных местах книги Киселева снова встречаются упоминания про Овсянку: то — отправка туда ста заключенных в 1928 г., записанных в «деле № 9», которых Лубянка предписала уничтожить работой в лесу (стр. 119 по 124 вкл.). «Из всей этой партии осталось в живых человек восемь, преимущественно евреев. Они откупились деньгами, до которых смеянивший Потапова Гусенко был большой охотник». На Овсянку из седьмой кремлевской роты отправили также азербайджанских муссаватистов, требовавших работу по специальности и объявивших голодовку (стр. 157 и 158). «Несколько муссаватистов умерло на Овсянке, а 15 были переотправлены оттуда на Кондостров, т.е. тоже фактически в могилу». Но почему и куда исчез «сундук с золотом» — «Ванька Потапов», Киселев не сказал, хотя несомненно знал причины, по которым Гусенко сменил Потапова. Не слишком ли перестарался Киселев первом или Потапов трудом, отвинчивая ствол винтовки, чтобы им лупить «шакалов»? Не был ли весной 1930 года, а, возможно, и раньше «по семейному» отправлен он на тот свет, чтобы оставить в стороне Ногтева, Мартинелли, Вейса и Успенского и всю 3-ю часть Соловков?

Из всех летописцев на лесных командировках острова и в самом лесу побывали трое: Ширяев, Зайцев и Андреев. Ширяев немногословен (стр. 229):

«Это было в первый год моей соловецкой жизни (зима 1923-24 года. М.Р.). Я томился еще на общих работах, рубил... ели, очищал их от сучьев и выволакивал на дорогу. Последнее было самым трудным: нести вдвоем на плечах десятипудовый балан, иногда по пояс в снегу, ронять его, падать с ним и совершать в день двадцать таких полукилометровых переходов, слабым старикам и непривычным — совсем невозможно. Но мы — я и мой партнер мичман Г.-ский — были молоды, тренированы спортом и службой, он — во флоте, я — в кавалерии. Мы были здоровы и, научившись владеть топором, урок выполняли. Страдать нам приходилось только от голода и от вшей при ночевках на третьем этаже нар в руинах собора. Но свет не без добрых людей, даже на Соловках. Нас перетащили в десятую роту канцеляристов и спецов. Я попал шестым постояльцем в просторную келью... А нормой выработки в лесу (стр. 46) было срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу десять бревен. Она выполнялась немногими, сильнейшими. Невыполнение иногда сходило с рук, но чаще влекло задержку

на морозе в лесу на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали... На работах, особенноочных, пристреливали часто. Случаев избиения каэра я не помню. Шпане попадало».

Значительно больше рассказал о положении на лесозаготовках ген. Зайцев (стр. со 117 по 131 вкл.), направленный туда приказом Эйхманса в наказание за отказ написать для журнала «Соловецкие острова» мемуары о гражданской войне, когда он был начальником штаба армии казачьего атамана генерала Дутова.* Но, как оговаривается сам Зайцев, (стр. 66):

«Здесь, благодаря покровительству медперсонала (Вот подходящий синоним для слова блат! М.Р.) я был спасен и поставлен на другую работу».

И, следовательно, сам в лесу пилой и топором не орудовал. Но находясь там, он все же не только слыхал, что творится в лесу, но и видел кое-что своими глазами. Послушаем его:

«Жилищные условия тут хуже, чем в кремле: бараки без печей, часто без окон. Правда, питание лесорубов гораздо лучше. Они получают усиленный паек: три фунта хлеба и в увеличенном размере приварочные продукты** (о чем Киселев

*) До этого или годом позже, но Зайцев опубликовал другие свои мемуары. Ширяев (стр. 68) особо отмечает, что в «Соловецких островах» (№ 4 за 1926 г. М.Р.) шли далеко не созвучные эпохе воспоминания последнего царского резидента при последнем хане Хивинском генерала Зайцева. На стр. 130-й, возвращаясь к теме о журнале и этих воспоминаниях, Ширяев называет автором их генерала Галкина, второпях, видимо, описавшись и этим напомнив нам чеховский рассказ «Лошадиная фамилия». Сам Зайцев про эти мемуары и про Хиву не упоминает. О борьбе с большевизмом Зайцева в Средней Азии в 1918-1919 гг. читайте у Голикова КРУШЕНИЕ АНТИСОВЕТСКОГО ПОДПОЛЬЯ В СССР (изд. 1978 г., Москва) в книге 1-й стр. 47, 48, 253, 256 и в книге 2-й стр. 145.

**) Почему-то в сноске Зайцев дает примечание: «Горячую пищу выдавали два раза в день. Обед приносили на место работы, а ужин выдавали по окончании работы», как будто это не столь важно знать потомкам. И еще важнее знать из чего состоял обед и ужин лесорубов, насколько он питательнее кремлевского. Но Зайцев ответа не дает, да и другие летописцы о питании отзываются общими фразами: баланда, сырой хлеб, рыбы головы.

вообще умалчивает, а Зайцев не уточняет, каких и сколько М.Р.)... Исаковская командировка (это — штаб лесозаготовок и начальствовал там над всеми И.Ф. Селецкий. М.Р.) крепко спит под шум и свист бури. В 4 часа утра раздаются свирепые крики: — Вставай! Живо! От нар отрываются всклокоченные, грязные лесорубы. Многие не запомнят, когда умывались. Иные стонут от вчерашних побоев. Более живые бегут на кухню, пока там не разобрали весь кипяток. Им они запивают черный хлеб, а прозевавшие — просто холодной водой. Через полчаса развод. Нарядчик передает десятникам лесорубов и каждая пара получает из инструменталки пилу и два топора, как всегда, плохо отточенные. В помощь десятникам назначаются обычно один или два чекиста из надзора (конвоиры. М.Р.), чтобы подгонять рабочих. А над ними стоял старший надзорный, уже буквально из зверей. Все соловчане особенно запомнили трех из них: Воронова, Смирнова и Воронина».

Из этих трех, Зайцев (стр. 128-129) передает со слов других о двух. Воронов приказывал раздетого заключенного обливать водой из проруби, если ни руганью, ни побоями не мог принудить его работать. Воронин же заставлял отказчика выпить кружку мочи своего напарника, либо приступить к работе. Очевидцы утверждали Зайцеву, что такой «метод» был самым действенным. Только в двух случаях лесорубы отказались и работать и выпить мочу, «Ну, Воронин тут же и пристрелил их». Зайцев, уезжая в ссылку с лесорубами, передает, как они оценивали Воронина: «...Он избегал сильно избивать, чтобы не искалечить человека, а заставлял пить мочу, тоже зная, что никто не согласится, а понаужится и что-нибудь поработает...

Лишь Олехнович (стр. 54, 55) сообщает о том все, что запомнил по работе в январе-апреле 1928 года на Мягострове по соседству с Кондостровом: «Кормили — пишет — не плохо. На завтрак мисочка каши из фасоли, чечевицы, гороха или гречихи, иногда — густой суп с макаронами, сдобренные постным маслом. В обед (для опоздавших он же и ужин) миска борща или супа с кусочком мяса чуть побольше спичечной коробки. Черного хлеба давали по килограмму. Кроме того, из ларька на свои деньги можно было прикупать сахар, чай, консервы, колбасу, селедки, печенье, булки, папирозы и др. Но за работу нам денег не платили. Лишь однажды при групповом отказе от работы «штрайкбрехерам» выдали по 20 копеек. Все же паек на лесных работах не назову голодным даже для тех, у кого не было денег на ларек».

А там, смотришь, товарищи помогут. И человек остается здоров и невредим».

...Развод закончен. Мятель бушует. Партия кое-как добралась до делянки. Все еще темень. Раздаются «уроки» — по 13 баланов на каждого. Зайцев даже поясняет: большие бревна из заклейменных деревьев», но если они большие, то вдвоем-втроем их не сдвинуть, а если от двух до четырех метров, то таких из одного дерева можно нарезать несколько штук. Неясно также, нужно ли бревна стаскивать в кучу, выволакивать к дороге или просто оставлять их на месте разделки для особых партий трелевщиков.

«А снегу больше сажени (Больше двух метров! Вот это подвалило снежку! От роду монахи не видывали такого снежного покрова... М.Р.), а его надо отгрести ногами, так-как лопат нет... Кое-где пары уже превратились в мерзлые трупы...»

Прервем здесь Зайцева для его же пользы, чтобы не слышал упрека: «Да и ты, брат, иногда тоже пописываешь!..», а перевернем страницу и начнем со следующей. О самой обстановке в лесу у нас в запасе другой летописец, кто сам пилил.

*) Олехнович, работавший в лесу на Мягострове в сезон 1927-28 года, приводит иные размеры урока на трех в зависимости от категории трудоспособности (стр. 49): Для первой категории свалить, разделать и сложить 65 деревьев, для второй — 45, и, сверх того, нужно сделать просеку к дороге для вывоза на лошадях. В лесу не может быть однообразных уроков. Они зависят от размера и густоты деревьев и от ассортимента, на который требуется их разделать. О тяжести урока в лесу в концлагере можно судить по тому, выполним ли он заключенным средней трудоспособности. Олехнович пишет, что молодые, здоровые и привычные к труду уже к часу дня кончали уроки и отпускались в лагерь, но таких было меньшинство и, думаю, из «свеженьких», еще не изношенных. Большинство работало дотемна. Последние тройки снимались с работы в полночь, так что на сон и еду им оставалось два-три часа. Но были и такие — до пяти троек — кого оставляли ночевать в лесу, принуждая работать прикладом и дрыном. Ослушников раздевали и ставили на мороз на полчаса, иных держали и дольше. Утром им приносили по 400 граммов хлеба, а через несколько дней их запирали в холодный карцер на берегу моря (Онежской губы). На семьдесят пять процентов командировка состояла из уголовников, а остальные — крестьяне и интеллигенты. В шести рабочих бараках на Мягострове, надо полагать, было набито не меньше тысячи заключенных.

«..Давно стемнело... Лесорубы плетутся с работы. БЫВАЕТ, что слабосильные пары успевают сделать лишь половину урока и им предстоит работать до следующего дня, а тогда получат новый урок. СЛУЧАЛОСЬ, что пары таких лесорубов держали в лесу по трое суток».

Слова бывает и случается выделены мною. У Зайцева их часто находим, когда он спохватывается, что расшалился пером. Так, описывая (на стр. 73) возвращение партии заключенных из леса в кремль (когда еще не все лесные командировки были открыты), он добавляет:

«Бывало не мало случаев, когда надзор... приводил с работы на одного или двух меньше. На вопрос дежурного, обычно следовал ответ: «Заболел, остался в лесу», или «Скоропостиженно скончался, труп закопали в лесу». Почему оставили первого в лесу и не взяли труп второго — тайна надзора и немногих арестантов из партии, разглашение которой опасно... У всех соловчан настолько притупились нервы, все так привыкли к подобным эксцессам, как избиение, убийство и расстрел, что они мало кого тревожат... Бывало спросишь: «А где Н...?» и слышишь спокойный ответ: — Да его зимой убили... В лесу... на вытаске бревен, словно Н... отправился в интересное свадебное путешествие».

Там, где Зайцев не приглушает впечатлений этими вводными оговорками «бывало» и «случается», там у доверчиваго читателя и волосы дыбом встанут и слезы польются, словно ему подсунули страницы из Киселева. Так, вспоминая зиму 1925-26 года, когда Соловкам был спущен заказ на экспортный лес и по этому случаю (якобы) был приказ по СЛОНу, дающий право начальнику лесозаготовок расстреливать на месте без суда тех, кто откажется выполнять суточный урок (Характерно что почти родственный приказ двумя годами позже издал Бокша, начальник Севлага, о чем сообщает Китчин), Зайцев дополняет его такими подробностями, виденными и слышанными:

«Ранним утром, еще до подъёма, в кремль прибывал транспорт с лесозаготовок с грудой трупов на двух-трех санях, якобы, умерших, а на самом деле забитых или замерзших, т.к. работали полуголые; тут же привозили группу лесорубов с отмороженными руками и ногами, а сзади саней шла партия окровавленных, избитых и изувеченных, которые выжили все пытки, а сейчас отправляли их, как слабосильный элемент, не поддающийся воздействию» (т.е. в обмен на еще не испытавших леса. М.Р.).

После такой картины согласишься с Зайцевым, что «счастливчики» те, «кто ухитрился проскользнуть через цепь конвоиров к озеру и там, сделав прорубь, утопился в ней или, найдя бичевку, повесился на ней». Это правда, и я слыхал о таких фактах, и другие летописцы не отрицают их, но надо всегда добавлять: бывали, случались, и избегать излишней драматизации, вроде «цепи конвоиров». Даже Киселев (стр. 88) разъясняет, что на командировке с 500-600 заключенными только 8-9 конвоиров и «цепи» из них никак не получится. Фактически, на полтысячи арестантов охранников (на материке) от 20 до 30 человек, то же мало для «цепи». Киселев приуменьшил охрану из своих соображений: объяснить, почему больного или саморуба не отправляют в лазарет: некому конвоировать.

Лесозаготовки относились к категории тяжелых физических работ и на них полагалось назначать заключенных лишь с «плошадиной категорией» трудоспособности.

«Однако, сама адмчать — утверждает Зайцев — в виде наказания часто отправляла в лес признанных медицинской комиссией непригодными к физической работе. Бывали факты (Ах, опять «бывали»! М.Р.), когда через короткое время привозили с лесозаготовок труп для погребения на кремлевском кладбище».

Положим, не всех погибших на лесозаготовках хоронили за кремлем. У Ваньки Потапова для таких было две ямы. Не возить же за 20 километров сотни трупов. (Ну, может, при пересчете их оказалось бы не сотни, а десятки — с Киселева теперь взятки гладки — но и за них Ванька заслужил петлю), или трупы с Секирки, Кондострова, Голгофы на Анзере? Привозили погибших с ближайших лесных участков. Друзья покойника могли даже «прокатить его на автобусе», т.е. отнести за кремль и вывалить приятеля в братскую могилу, а гроб, вот этот «автобус» оставить на кладбище для следующих «пышных похорон по соловецкому обряду»...

**
*

Пора выполнить обещание — дать слово тем, кто работал в лесу на самом острове. Лесных летописцев, с многолетним опытом в нем на Соловках, не нашли. Были, да там и остались. И Солженицын искал таких, да тоже не нашел. Послушаем поэтому того, кто побывал в лесу лишь вначале 1929 года, вырвался и оставил правдивую повесть — Г. Андреева-Отрадина (стр. с 65 по 77 вкл.). Он был одной из жертв

очередного неудавшегося «классового подхода к заключенным».*

«Я просыпаюсь среди ночи в нашей административно-технической третьей роте. В коридоре топот, голоса. Обыск? Снова арест? В дверях ротный: — ... через полчаса быть на коридоре с вещами! Он читает: Стрешнев, Лопатин и я.**

Выходим. На дворе ночь... Через кремлевский двор к воротам тянутся такие же группы... Конвоиры оцепляют нас. Начальник пересчитывает: больше двухсот. «Взять вещи!.. Тронулись первые ряды. Выходим из кремля. Куда? Сбоку раздается панический выкрик: — Братцы! На расстрел!.. Не похоже. Да и почему, за что?.. Но мы уже многое видели и знаем. — «Прекратить разговоры! Не на Секирку ли? Идем по Саввательевской дороге час, другой. Направо дорога в Исаково, где управление лесозаготовок... Мимо... Саввательево... Мимо. И только к утру останавливаемся перед тремя бараками где-то в серд-

*) В конце 1928 года Лубянка прислала заместителем Эйхманса, уехавшего в отпуск, какого-то Ященко. Осмотревшись на острове, он убедился, что Соловки живут не по Марксу. Диктатура-то (дрын, приклад) — налицо, да больше над пролетариатом, над соцблизкими уголовниками, а каэры осели в конторах, складах, музее, театре, даже в самом управлении. «Снять каэров, поставить своих!» — так гласил приказ. «Метла Ященко», как называл эту «чистку» Никонов, заработала. К весне вернулся из отпуска Эйхманс и ознакомившись с положением, обнаружил перерасходы, кражи и величайшую путаницу в учете. Ященко был откомандирован обратно, но лет через пять на Вайгаче или Новой Земле — где, точно неизвестно — Эйхманс, очевидно, вспомнил Ященко, когда самого вели на расстрел. Из трех зол: Ногтев, Ященко, Эйхманс, я назвал бы Эйхманса меньшим злом, перечитав еще раз Ширяева, хотя бы потому, что при нем выжило духовенство.

**) Обрисую их несколькими штрихами, а подробнее — читайте в очерке. «Стрешнев, Андрей Петрович: «За его спиной два факультета в Москве и Сорбонна»;

Лопатин — вологодский начитанный крестьянин, воплощение домовитости, соловецкий Иван Денисич;

Гусев — «Очень религиозный, все свободные часы проводивший среди духовенства в шестой роте, а к ним в третью приходивший только спать.

И Андреев — «Я еще слишком молод, чтобы считать себя равным другим сокамерникам» (Подлинные имена автором забыты М.Р.).

це соловецкого леса (Ну, конечно, Ново-Сосновая! М.Р.)... Группами разбираемся по трехэтажным нарам с обоих сторон барака. Понемногу выясняется, что новые обитатели барака — канцелярские и хозяйственные работники, вчера заполнившие бесчисленные соловецкие учреждения, все — «конрреволюционеры». Становится ясен смысл нашего изгнания из кремля».

**
*

«В четыре часа утра в бараке раздаются вопли дневальных: — Вставать! Вставать! Раздевшиеся натягивают непропущенную одежду, спавшие одетыми видят, что она еще влажна... Некоторые выбегают умыться снегом, размазывая грязь по щекам. Наскоро проглотив кашу и кипяток, выходим строиться (А про кашу-то Зайцев и Киселев умолчали... М.Р.)... Развод тянется около часа. Влажная одежда твердеет... Наконец, получаем топоры и пилы и строем по два бредем на работу.

...Никто из нас никогда не занимался тяжелым трудом; мы не умеем ни пилить, ни носить тяжести... Задыхаемся, сделав полсотни взмахов пилой, ее у нас заедает. Мы портим ценный лес: деревья расщепляются, срезанные — повисают на соседних. Мы выбиваемся из сил, но даем лес, годный только на дрова... Готовы опустить руки, послать к черту работу, но среди нас бегает Магерам.* Замахиваясь палкой-метром (Вот этим самым воспетым дрыном. М.Р.), он кричит: — Кубики давай, конtra! В отчаянии можно убить Магерама, но невдалеке у костра сидят двое конвойных с винтовками.

...Замерзшая одежда оттаивает. Мы снимаем пальто, полу-шубки и работаем в одних пиджаках или рубашках. Когда пойдем домой, они опять замерзнут, чтобы оттаять в бараке. Вечером часов в шесть, когда в лесу уже совсем темно, Маге-

*) Магерам — бакинский вор, недавно сидевший в следственном изоляторе ИСО в камере, соседней с той, где находился Андреев, обвинявшийся в подготовке к побегу. Там через щель он наблюдал, как Магерам получал карточный долг с другого уголовника Степки Подбора, нанося ему ножем порезы и раны, и в состоянии остервенения выколол ему глаз (стр. 1, 62). Крик Магерама: — Кубики! Кубики давай, конtra! — приведен Солженицыным на стр. 66-й с добавлением: «Били по зубам», но, ошибочно, отнесен им к осени 1930 года, когда заключенных уже с весны не били. Стояла «коттепель». Андреев описывает февраль-апрель 1929 года, когда еще свирепствовал «произвол».

рам принимает нашу работу. С криком он бегает от одной кучки бревен к другой и бьет метром подвернувшихся. Вконец измотанные люди, похоже, даже не замечают его ударов. Мы знаем, что не выполнили и половины нормы... Ну, и пусть!.. Нам хочется только одного: добраться до барака и лечь спать... но там надо еще получить хлеб, обед, потому что зверский голод перебивает усталость... Поверка. Опять мерзнем, одежда становится железной... И только часов в девять мы валимся на нары и спим, не замечая мокрого белья, смрада, укусов клопов и вшей. В четыре утра повторяется вчерашнее... В нашей тройке — Стрешнев, Лопатин и я. Лопатин и тут оказывается самым спокойным и практичным: не проходит трех-четырех дней, как он уже осваивается с работой, словно и прежде был лесорубом... У Андрея Петровича, несмотря на его деликатность, часто срываются проклятия и крепкие слова, я не отстаю от него, а Лопатин только помалкивает и деловито прищеливается к деревьям. Кряжи в два метра длиной и толщиной в 20-30 сантиметров надо нести одному. Когда Стрешнев и Лопатин первый раз подняли мне на плечо кряж, я упал под ним, не ожидая такой тяжести... шатаясь, я шел по снегу, расчитывая каждый шаг. Сбросив кряж в кучу, я с трудом перевел дыхание; в ушах стоял громкий шум, все тело тряслось. Четырех-пятиметровые бревна мы носили втроем... Задыхаясь под их тяжестью, слышим ободряющий голос заднего: — Ничего, донесем. Вы потихоньку, ребятки. Не сгибайте ног, а бревно держите серединой плеча... Ну, вот и донесли... Надо только дышать научиться ровнее...

...Палка Магерама почему-то еще не касалась спин нашей тройки, но других он бьет нещадно: — Кубики, гады! Давай, нажимай, конtra, не то на пеньки поставлю!

Плохо работающий или поругавшийся с десятником заключенный должен раздеться и в одном белье, босый, встать на пень на виду у конвоиров... Иногда так замерзают совсем: весной, когда сходит снег, в соловецком лесу обнаруживается много трупов: замерзших, застреленных конвоем или убитых десятниками заключенных...* Мы в их полной власти. Если не

*) Тут к месту привести показание Зайцева (стр. 130):

«Весной 1927 года, после отбытия наказания на Секирке и «блатной службы» на маяке вахтером, я в компании с известным анархистом Ломоносовым-Роланд... обходили лес, разыскивая обтаявшие от снега трупы, и зарывали их в землю. Конечно, зарывали неглубоко, лишь бы не могли разгрести дикие кошки» (Их не было, но

убывают, так могут посадить в карцер у барака тоже в одном белье. Неизвестно, что хуже: несколько часов на пне или ночь в карцере...

...К вечеру тело деревянеет, но болит каждый мускул... Без боли не разогнуть спины, не повернуть шею... Только по воскресеньям немножко приходим в себя. Можно даже спать до восьми. Позавтракав и отстояв поверку, снова спим до обеда, многие спят и после... Другие сидят, разговаривают, сушат у печки одежду (все же, значит, есть печка. М.Р.), просто слоняются. Вглядываюсь в лица соседей. Они осунулись, похудели. Обросшие, грязные лица кажутся темными, одичавшими. Одежда на людях висит клочьями. — Это похоже на ад, — говорю. — Нехватает только адского пламени и жара. А люди как-раз из царства теней».

Дальше на четырех страницах (69-72) развертывается дискуссия с участием автора, Стрешнева и еще какого-то Корнея Лукича из сельхоза. Обсуждались и приспособляемость организма («Обыкнешь, говорили в старину, так и в аду ничего») и выгода увлечения Вагнером, чья музыка отрывает от земли ввысь, и параллели между реформаторской деятельностью Петра и нынешними целями и способами... Интересно. Прочтите. Сокращать — обесценивать... А их сокамерник по кремлю, набожный Гусев уже стонет.

«Он сильно сдал: высох, ходит согнувшись крючком. Иногда даже не ест. Мы приносим ему хлеб, обед, но они остаются нетронутыми. — Чувствую я — конец мне приходит, братцы!

— прерывисто шепчет Гусев. — Умру без покаяния, и бросят, как падаль, без креста, без молитвы, ведь страшно, а?.. Господь велел и врагам своим прощать и любить их, а я не могу больше, не могу! Прервав шепот, Гусев долго и надрывно кашляет, в груди у него хрипит, клокочет.

...Опять пуржит, неистовствует февраль (1929 г.) Неподалеку от нас в своей тройке работает Гусев... Вдруг он оседает в снег, складываясь, как нож... Спешим к нему. Стрешнев расстегивает Гусеву воротник рубашки, щупает пульс. К нам

водились лисицы. М.Р.) Дальше Зайцев подробно разъясняет, в каком именно месте зарыты трупы. На подобной «бллатной» работе весной каждого года, начиная с 1925-го и кончая 1929-м, заняты были не только Зайцев с Роландом, но и многие другие, иначе в лесу стоял бы трупный запах, как в кремле от братских могил летом. Настырные туристы могли бы теперь отыскивать скелеты и спрашивать экскурсоводов об их происхождении.

подбегает Магерам: — Что стали, контры? Что тут? — «Припадок у человека» — отвечает Стрешнев. — Больной». — Больной? У меня выздоровеет! — скалит зубы Магерам и тычет Гусева метром в живот. «Его надо на пункт в околодок отправить», — говорит, поднимаясь, Стрешнев. — Не учи, а то я тебя научу, — замахиваясь на него палкой, кричит Магерам. — Пошли работать, что стали!

Возвращаясь к своему месту и оглядываясь, слышим: — «Вставай, гад ползучий, работать! Я тебе покажу, как симулировать! Ну, встаешь? Он бьет Гусева толстым метром раз, другой, третий, но не слышно из снега ни стона, ни крика. Видим, подходит к Гусеву конвой и, не ругаясь, беззлобно бьет его прикладом, словно по колоде. Потом товарищи относят Гусева к дороге, где костер конвойров. Часа через два, почувствовав себя лучше, Гусев вернулся, с трудом обрубая топором сучья.

Вечером с поверки его отвели в карцер, а утром двое надзирателей бросили в барак что-то длинное. Рядом шлепнулся сверток одежды. Гусев, поднятый нами на нары, не подавал признаков жизни. Руки и лицо его были твердыми, как дерево. Лопатин и Стрешнев растирали Гусева, поили горячим чаем, завертывали в одеяла. Наконец, он очнулся...

— «Где карцерный? — крикнул начальник на разводе. — В бараке? Выволочь.» — Но он болен, гражданин начальник, надо бы лекпома вызвать, — говорит из строя Стрешнев. — «Разговоры! — гаркнул начальник! — Я вам тут и лекпом и главный врач. Мигом вылечу!» ...На работу ведем Гусева под руки попеременно. Он висит на плечах поддерживающих... Сегодня ясно, утих ветер. Уже свалили десять деревьев, но застряли на одиннадцатом: наклонилось не туда, куда метили и повисло на соседней сосне. Решили пока перекурить и обдумать.

— Что расселись, контра? — вдруг раздался за нами голос вынырнувшего из-за кустов Магерама. Подскочив к нам, он с размаха бьет неуспевшего подняться Стрешнева. Метр шлепнул по полушибку, как пощечина... Схватив топор, Андрей Петрович вскакивает и повернувшись к Магераму смотрит на него с перекошенным от бешенства лицом: — Ты что? — растерянно бормочет он. — «А, ты так! — злорадно кричит Магерам и поднимает метр: — Ну, держись!».

Еще не зная, что я сделаю, поднимаю свой топор и подскаиваю к Магераму... — А Подбора помнишь?, — вдруг, не зная зачем, спрашиваю я. — Степку Подбора в изоляторе помнишь, гадина?.. Ну, помнишь?, — настаиваю я, надвигаясь на

Магерама с занесенным топором. Магерам почему-то опускает метр, лицо его гаснет и из хищного становится жалким. Он делает назад шаг, другой и медленно отходит. Бросив в снег топор, сажусь на бревно, отирая пот.

— О каком Подборе спрашивали вы? — говорит подсевший рядом Стрешнев.

— Так, был один. Вор, — неопределенно отвечаю я. Стрешнев молчит, потом тихо говорит: — А ведь я мог убить его.. Стрешнев и убийство — это так несочувственное!.. Напряжение разрядилось, нам обоим легко... Вот только непонятно, почему Магерам растерялся? Не подумал ли он, что я — один из друзей Подбора, который мог потребовать сдачи за излишне полученное им — за выколотый глаз? Загадка осталась загадкою, но с нынешнего дня Магерам будет сторониться нас, стараться не замечать. ...Воротился Лопатин, ушедший за шестом, чтобы попробовать «снять» повисшую сосну. Он взволнован. — Случилось что? — спрашиваю его. Лопатин медленно отвечает:

— Гусев, обрубая сучья, отрубил себе палец. Мы перевязали руку, но конвойр подошел и заставил Гусева работать дальше. Тогда он опять ударил по руке и отрубил пол-ладони. Подбежал Магерам. Вдвоем с конвойром они избили Гусева и приказали перевязать его. Своей рубашкой, изорвав ее на бинты, мы кое-как остановили кровь. Магерам заставил его работать одной рукой. Только мы отошли, как он снова ударил по руке и отрубил вот досюда, — Лопатин показывает на свою левую руку, выше запястья. — Магерам совсем остервенел, бил Гусева и метром, и ногами, а он лежал без движения. Там весь снег кровью залит... Мы еще раз завязали ему руку, но он уже не вставал... Теперь его на пункт унесли... Зачем он это сделал?...

**
*

«Все проходит» — говорится в старой сказке. Это, пожалуй, наше главное и единственное утешение. Прошел лес: я снова в кремле, в той же роте и попрежнему работаю в управлении. Андрей Петрович был прав: уже перестали болеть мускулы, с рук сходят мозоли, а с лица обмерзшая кожа. В бане остались лесная грязь, вши. Выстирано белье. Снова принят человеческий вид... В душе будто бы перевернулась еще одна исписанная страница. Эксперимент начальства не удался. Уголовники столько напутали и разворовали, что ему ничего другого не оставалось, как вернуть нас на прежнее место. В лесу остались немногие, в их числе Гусев, зарытый вместе с другими

в промерзшей земле. А, может быть, просто брошенный в снежный сугроб...»

**

«Все проходит», — повторю вслед Андрееву и я. Много лагерной воды утекло с февраля 1929 г., когда Андреев на себя испытал и воочию увидел сам на месте лесной произвол и до весны 1930 года, когда Розанову в последние дни старо-соловецкой истории дали лопату на тракте в Карелии.

С весны 1929 года управление СЛОНА переехало на материк, а весь Соловецкий архипелаг стал всего лишь его первым (потом — четвертым) отделением. С отъездом «штаба», ИСЧ острова сразу же принялось за фабрикацию «общесоловецкого заговора», не прекращая ее и в дни визита Горького на Соловки. Подученные стукачи и легковеры по темным углам нагоняли страх перед всеведующим и всемогущим ИСЧ — «ЧК в ГПУ». По Никонову «заговор» охватывал 60 процентов всех заключенных. Он даже объявил потом о подготовке романа «Соловецкий заговор».

Ни Альбрех, ни Горький не облегчили жизни соловчанам, магерамы продолжали дрыновать, потаповы — прикладывать приклады, а тут еще с конца лета, после трехлетней передышки, набросилась на соловчан тифозная вошь...

Только с открытием навигации 1930 года запахло весной на острове. С первым пароходом приехала высокая чекистская комиссия искать козлов отпущения за все, что годами с ведома Лубянки творилось на Соловках. Сначала взялись за магерамов, курилок и чернявских, да не за всех, а по выбору, с оглядкой, как бы не остаться без верных псов, как бы не переборщить. На Соловках, да и по всем лагерям, наступила «оттепель». На самом острове она продолжалась бы и до весны 1933 года, да августовский пожар 1932 года в кремле укоротил ее. Не сказал бы, что «жить стало лучше, жить стало веселее», но существовать и сосуществовать по сравнению с прошлым стало легче и в кремле, и на командировках островных и материковых. Об этом периоде многое не расскажешь, а начнешь вспоминать, так перервут: «Смени, скажут, пластинку. Поставь старую. Не топи прошлого!»... К тому же и состав заключенных на острове сильно изменился. Навезли шахтинцев, военных из Киева, профессуры разной по «Делу Академии Наук», по процессу «Промпартии», пришитых к «Спилке В вызволения Украины», всех партийных и советских верховодов Татарской республики, националистов средне-азиатских респу-

блика, «шипиёнов» и, конечно, беглецов с материка познакомиться с новым порядком на Секирке. Шпану и бытовиков высыпали на материк доказать на Беломорканале свою соцблизость. В отчаяние за тот отрезок времени на острове не приходили, рук не рубили, в прорубях не топились; на пеньки и на комаров не ставили, и в холодные карцеры полураздетыми не бросали. Исключения, возможно, и бывали и стоило бы описать их, да не знаю ни одного.* Кто-то в Москве подмахнул приказ о пятидневке. Ввели ее и в УСЛОНЕ, и в Севлаге, да вскоре одумались: отменили. Лагеря «Особого Назначения» стали исправительно-трудовыми без кавычек, но с прежними наставниками и попечителями. Только с конца 1932 года они стали превращаться в «истребительно-трудовые», да не во всех лагерях сразу и не одними методами. Это — не моя тема сейчас, а описать ее уже и жизни не хватит. Да и где уж мне тягаться с автором «Архипелага» после Соловков!

Из соловецких лесов больше не слышно воплей. Работу там в 1930, 1931 и 1932 году не опишешь с криком души, с междометиями и многоточиями на каждой строчке. Сошлюсь на Витковского, побывавшего в начале осени 1931 года на Анзере в группе из четырех человек на лесозаготовках, правильнее сказать на распиловке уже заготовленного леса (стр. 168, 169):

«Мы отправлялись за два километра к заготовленным и выброшенным морем бревнам, впервые научившись необходимой науке «закладывания туфты»... К приходу замерщика вся норма с приличным перевыполнением стояла выложенная в ряды штабелей... Живем в теплом монастырском помещении. Из двенадцати человек восемь рыбаков... Жили они в отдельной комнате и хорошо нас подкармливали».

До Анзера он работал на осушительных канавах и корчевке пней на болотах, т.е. на самых тяжелых и полуштрафных работах, какими они были раньше. Оттуда попал «на иод», т.е. на сбор иодосодержащих водорослей, где через два года побывал и Пидгайный. Эти водоросли собирают и поныне, только вольные.

«Кончали работу, пишет Витковский, раньше всех... По пути заходили в лес, собирая грибы и ягоды... У рыбаков обменивали их на треску, навагу, камбалу. Это был лучший ко-

*) Олехновича (стр. 132), подготавливая к обмену, 13 июля 1933 г. на Соловках переселили из роты «в карцер, где уже содержался конвой из деревенских ребят с пятилетним сроком, ударивший врача прикладом, за что теперь сурово наказывают».

роткий период за всю долгую лагерную жизнь. В лагерях цвела весна сентиментального, «педагогического» исправительно-трудового периода (называемая мною повсюду «оттепелью» М.Р.). Требовалось время, продолжает он, чтобы (лагерный) маятник, набравшись инерции, опять качнулся в сторону еще больших жестокостей (чем те, о которых он наслышался в Кемперпункте. М.Р.).

Все его остальные двадцать страниц о Соловках описывают природу и уголовников, с которыми он работал.

О былом в соловецких лесах теперь свидетельствовали только высокие пни, да не повсюду еще убранные порубочные остатки. В мое время — в 1931 и 1932 годах — лесным хозяйством острова заведывал большой выпивоха Григорьев, до лагеря чуть ли не начальник Главного артиллерийского управления РККА, осужденный на короткий срок по служебной статье. Он вскоре освободился. Лес его интересовал не больше, чем допитая бутылка.

Григорьева сменил ученый лесничий Бачманов из старого дворянского рода. У него в лесхозотделе на третьем этаже справа всегда царила мирная, почти семейная обстановка, естественно, еще более облгчавшая положние заключенных на лесных участках. Проработом у него и моим прямым начальником был лесничий Буланкин. Он же, а не ковбой Дегтярев в разных ситуациях и под разными именами упомянутый всеми летописцами, заведывал Дендрологическим питомником, высмеянным в «Архипелаге» (стр. 36). Дегтярев давно уже не пользовался козлом и, конечно, верхом на нем ездить не мог и почел бы это великим позором для себя. Просто, попал он под горячее перо к Солженицыну... Вместе с Дегтяревым я не раз ездил в «пассажирском» вагон узкоколейки от кремля до Филимоново. Он все еще носил ковбойскую шляпу, платочек вокруг шеи и длинные белые кожаные перчатки, словом, выглядел заправским ковбоем. За участие в групповом побеге* на острове в 1929 году, упомянутом Солженицыным и другими, ему добавили три года срока, но лагерные «параши» приводили иные версии: то за туманные инициалы В.К. в письме, то будто бы он сам просил ГПУ оставить его на острове, где «стало очень уютно», — вообще трепотни разной носилось о нем по лагерю больше, чем Дегтярев того заслуживал.

Из лесничества в Варваринской часовне, где я недолго

*) Побегом такие случаи не считались. В строевых донесениях УРО для них была особая пометка: «В самоволной отлучке». М.Р.

работал таксатором, ученый лесовод князь Чегодаев годом раньше был откомандирован на материк, а заменивший его лесничий Николай Иванович Борецкий почему-то тоже долго не удержался. На его место уже при мне назначили военного Николая Николаевича, старикина, в прошлом, говорили, начальника штаба Буденного. Фамилия его, как и многих других, давно погребена в памяти под наслаждением переживаний куда более бурных лагерных лет 1933-1941 и военных. В современных подробных описаниях Соловков для туристов я уже не нашел Варваринской часовни. Она, очевидно, сгорела в годы военно-морской школы на острове. В ней побывали и работали с 1925 по 1932 год трое летописцев: Зайцев, Никонов и Розанов.

Почти полвека прошло, как прекратилось истребление соловецкого хвойного леса. Теперь на снимках показывают по-дрогающий молодняк из берески и осины. Вырастить хорошую ель и сосну на Соловках раньше чем за 100-150 лет не позволит климат. Нынешнее поколение о былой красоте соловецких лесов и самого монастыря может судить только по книге Немировича-Данченко от 1875 года, да не так-то просто ее достать.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ «ДЕВЯТЫЙ КРУГ — В ЛЕСАХ»

Приводим доклад Молотова из «Известий» от 13 марта 1931 г. (из 5-го раздела «Принудительный труд», опустив первые 460 строк сплошной и дешевенькой политграмоты и цитируя лишь основное из второй части раздела):

«...У нас теперь занято на лесозаготовках 1 млн. 134 тыс. человек и все они работают в условиях обычного свободного труда и труд заключенных не имеет никакого отношения к лесозаготовкам.

Однако мы никогда не думали скрывать того факта, что труд заключенных, здоровых и способных людей, у нас применяется на некоторых коммунальных и дорожных работах. Мы делали это, делаем и будем делать впредь. Это выгодно... для общества и для преступников...

В ряде северных районов, о которых так много пишут теперь в буржуазных газетах в связи с кампанией о «принудительном труде в СССР» у нас действительно на некоторых работах применялся и применяется труд заключенных. Но при-

водимые дальше факты с полной очевидностью устанавливают, что труд заключенных и здесь не имеет никакого отношения к продуктам нашего экспорта.

Отметим объекты работ этих заключенных. По Карелии уже проведен трудом заключенных тракт Кемь-Ухта протяжением 208 км. и, кроме того, тракт Паанандово-Кикшозеро на расстоянии 190 км. Нельзя не признать, что это нужные для страны работы.

Особое значение имеет развертывающееся теперь в Карелии строительство Беломорско-Балтийского канала... протяжением 914 км... В данный момент ведутся работы в районе Выгозера. (Как раз там мы в этот сезон и заготавливали для Желлеса три миллиона кубометров экспортного леса. М.Р.).

В Северном крае трудом заключенных проводится тракт Сыктывкар -Ухта, длиною 313 км. в район разведочных работ по нефти, при чем уже пройдено 160 км. и железная дорога Сыктывкар-Пенюг, длиною 305 км. Всего на этих работах во всех указанных районах занято около 60 тысяч человек. Могу еще добавить об условиях там труда и быта заключенных.

Продолжительность рабочего дня установлена во всех лагерях заключенных в 8 часов. При получении обеспеченного пайка и вообще достаточного снабжения и, кроме того, ежемесячного получения от 20 до 30 рублей на руки, они имеют нормы труда, не превышающие выработку вольного рабочего. Лагерь представляет собой поселение людей, свободно, без охраны передвигающихся и работающих на территории соответствующего строительства. Здесь развернута культурно-просветительная работа, получаются книги, журналы. Профессионально-техническим образованием, например, только в северном районе осенью 1930 года было охвачено около десятка тысяч человек. К ПОЗОРУ КАПИТАЛИСТОВ МНОГИЕ И МНОГИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЗАВИДУЮТ СЕЙЧАС УСЛОВИЯМ ТРУДА И ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В НАШИХ СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ. (Разрядка моя. М.Р.) Это горькая правда, и о ней должны знать рабочие за границей.

Как видите, никакого отношения к лесозаготовкам и вообще к экспортным продуктам «принудительный труд» и вообще заключенные у нас не имеют и басням о том пора наконец положить конец.

Дальше Молотов словоохотливо учит, как это сделать:

«Конечно, попытки к назначению особых государственных комиссий по «обследованию» положения в СССР неприемлемы... как несовместимые с суверенитетом и односторонние... Только государство ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ могло бы навязать

государству подчиненному такое ОДНОСТОРОННЕЕ предложение... Однако, представители иностранных государств и печати в Москве пользуются у нас свободой передвижения. Они могут, если хотят, лично убедиться в том, сколько гнусной лжи распространяется за пределами нашей страны о «принудительном труде» в СССР... При поездках на места они могут убедиться в том, что работы по экспортным товарам, хотя бы по тому же экспортному лесу, не имеют никакого отношения к труду заключенных и... вообще к принудительному труду.

Заключительное предложение Молотова трижды покрывается аплодисментами. Сначала за напоминание о том, что «в СССР провозглашен лозунг «Не трудящийся да не ест», а у капиталистов, в моде другой принцип: «Трудящийся да не ест». Вторично Молотову отхлопали за предложение, чтобы «к нам проверить этот лозунг приехали рабочие, выбранные самими рабочими. Пусть им представлят эту возможность те, от кого это зависит. Мы только требуем, чтобы на основе равноправия такого же рода возможность они представили и рабочим нашей страны».

«Мы заранее заявляем, что окажем содействие к опубликованию всех без исключений материалов... обследования у нас и в капиталистических странах (опять аплодисменты). Но сомневаемся, пойдут ли на это те, которые теперь клевещут о «принудительном труде» в СССР. Не их цель — правдивые факты. Их задача — ...подготовить нападение на Советский Союз».

Комментировать Молотова нет нужды. Вся глава «Девятый круг — в лесу» дает достаточно доказательств в заведомой лжи председателя Совнаркома СССР.

Глава 7

ФРЕНКЕЛЬ, ФРЕНКЕЛИЗАЦИЯ и ПРИДУРКИ

В этой главе нет ни слова про Секирку, карцеры, «каменные мешки», про лес и саморубов, про эпидемии и трупы, и тем не менее посвящена она самому страшному, что свалилось на головы соловчан, а вскоре и на заключенных всех лагерей — появлению в лагере Натана (Нафталия) Ароновича Френкеля, —

«...кому суждено было стать оформителем и главным конструктором системы концлагерей, — пишет Ширяев (стр. 137)... Глеб Бокий, утверждавший смертные приговоры, был убийцей многих тысяч. Сыпно-тифозная вошь, занесенная в лагеря, стала убийцей многих сотен тысяч... Френкель может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов. Было бы ошибкой назвать его автором, изобретателем системы социалистической принудиловки... Он не был автором этой системы, но своим мощным, реалистически мыслящим мозгом он осознал, оформил и включил ее в действие для начала на Соловках... Его коммерческий практицизм констатировал бесцельность, никчемность труда двадцати тысяч каторжников... Думается что тут же, в первые дни пребывания на острове, в его голове начал оформляться грандиозный план, вполне созвучный тому, который готовился в Московском Кремле под именем первой пятилетки».

Оценка Френкеля Солженицыным (стр. 73-76) не очень разнится от только что приведенной:

«На Архипелаге живет упорная легенда, что «лагеря придумал Френкель»... Безо всякого Френкеля додумались, что заключенные не должны терять время в нравственных размышлениях, а должны трудиться, и при этом нормы им надо назначать покрепче, почти непосильные. До всякого Френкеля уже говорили «исправление через труд», (а понимали еще с Эйхманса, как «истребление через труд»)... И все-таки Френкель действительно стал первом Архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых История с голодом ждет и зывает. Лагеря как будто и были до Френкеля, но не приняли они еще той окончательной и единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда,

когда он особенно нужен. Френкель явился на Архипелаг к моменту метастазов...

Кто же такой этот Френкель, откуда и за что привезли его в Соловки? Дело-то Френкеля спрятано на Лубянке, а сам он знает, что уши надо держать пошире, а рот поуже. Тут утолить любознательность соловчан взялась досужая лагерная фантазия и заполнила для нас «установочными данными» биографию Френкаля. Еще Мальсагов в «Адском острове» (стр. 64-65) в 1925 г. и 1926 гг. сообщал, что —

«...юридическим советником по вопросам принудительного труда является Френкель, венгерский фабрикант. Его в СССР пригласил Внешторг заключить договор на концессию. Вместо договора, ГПУ присягло его на два года в Соловки за шпионаж. Иногда Френкеля командировали в Петроград или Москву по делам коммерческого или юридического характера. Срок его кончался в 1925 году, но по распоряжению ГПУ от августа 1924 года Френкелю добавили три года ссылки сначала в Нарым, потом в Туруханск и, наконец, в Зырянскую область».

Еще более занятными подробностями делится с нами соловецкий старожил Клингер (стр. 173, 174):

«Весной 1925 года при управлении СЛОНа появился новый недоносок — Эксплоатационно-Коммерческая часть во главе с Френкелем, в подчинение которому перешло и «техническое бюро» инженера Роганова. Крупный австрийский фабрикант и подрядчик, Френкель приехал по приглашению советских министерств финансов и внешней торговли. В момент заключения концессионного договора, ГПУ арестовало Френкеля за шпионаж и невыполнение обязательств. Дали ему пять лет Соловков. Тут он как-то снискал доверие Ногтева и Бокийя и после работы сначала в канцелярии управления, с весны начальствует в Эксплоатационно-Коммерческой части... Везде по Соловкам, где были заключенные, Френкель открыл торговлю в ларьках... Кустарная работа инженера Роганова... Френкелем введена в правильное русло...»

Сапир (стр. 181) добавляет:

«Френкель.., по рассказам одних был пойман на нелегальных операциях с валютой, другие же передают, что он шпионил для Турции. Так или нет, но ему дали десять лет. Пронырливый, предприимчивый и безжалостный Френкель предъявил план, как с выгодой организовать в большом объеме местное производство (трудом заключенных. М.Р.). Лагерному начальству, нуждавшемуся в хорошем организаторе, идея Френкеля пришла по душе и оно поручило ему выполнение ряда

проектов. Результаты оказались отличными. Френкель эффективно перестроил лесозаготовки, Френкель...».

В период возвышения Френкеля, Сапир давным-давно покинул Соловки и данные о нем, видимо, вычитал заграницей, либо слышал от третьих лиц. Политические, а Сапир — меньшевик, жили с лета 1923 г. по лето 1925 г. в трех скитах своим особым мирком и, подобно «Социалистическому вестнику» в Берлине, не интересовались положением прочих заключенных: каэров и уголовных. Поэтому перейдем к другому свидетелю — Киселеву (стр. 176-178). Он, правда, не пишет, что сам видел Френкеля на острове, но, как работник ИСЧ, слыхал о нем в своих ушастых «органах», так что до некоторой степени интересна и его оценка.

«Френкель прибыл на остров в начале 1926 года с десятью годами за шпионаж в пользу Турции. Он уже «доходил» на тяжелых физических работах, но, как умный еврей, предложил ГПУ такую комбинацию: «Возьмите 50 тысяч рублей, что я оставил в Москве, а мне позвольте работать на благо социалистического строительства где бы вы не приказали...». Коллегия ОГПУ приняла комбинацию и поставила Френкеля начальником Эксп.-Производ. части УСЛОНа, где он и работал «на-ять»: построил жел. дорогу на острове, механизированный кирпичный завод, дом управления лагерями в Кеми, пооткрывал лесозаготовительные и другие командировки. Заключенные боялись его больше, чем надзирателей. По его вине только на Кемь-Ухтинском тракте погибло 24 тысячи заключенных. Зато и ОГПУ не осталось в долгу: сбросило ему семь лет и назначило начальником снабжения войск ОГПУ и пограничной охраны...»

Насчет предложенной «комбинации» («им» 50 тысяч, от «них» — хорошую должность) можно прямо сказать: взята из того же арсенала Киселевских выдумок, которые приводились и еще будут приводиться. Если Френкель припрятал от ГПУ 50 тысяч в период следствия, то со стороны «скарающего меча» его ожидала бы иная «комбинация»: конфискация денег и распоряжение главному лагерному начальству держать Френкеля только на тяжелых физических работах, чтобы скорее подох (так называемые «спецуказания» или «центральный запрет»). «Как умный еврей», Френкель едва ли был столь опрометчив. Вернее всего, он выплыл и пошел в гору, начав со взятки, как то водилось в те годы, а дальше — уже на деле показал себя, кому нужно, как отличный организатор работ и погонщик рабов, полезный лагерю. Подтверждение этому высказывает и Зайцев (стр. 20), приводя примеры, когда:

«...за безжалостное отношение к подчиненным, ревностные слуги ГПУ получают сокращение срока и досрочное освобождение. Так, Френкель, начальник Эксп.-Комм. части (ведущий всеми принудительными работами), присужденный сначала к расстрелу, замененному десятью годами Соловков, просидел лишь три года и получил высшее назначение. Его заместитель, коварный Е.С. Барков, просидел вместо десяти лет, кажется, около пяти лет.* Время эксплоататорства их обоих останется в памяти уцелевших соловчан на всю жизнь».

Наиболее правдоподобно и словоохотливо раскрывает нам Френкеля Ширяев (стр. 137-148). Перескажем своими словами, сокращено, что он о нем сообщает:

Френкеля, одесского контрабандиста, привезли на Соловки весною 1926 года. Природный одессит и коммерсант, Френкель воспользовался «духом НЭПа» и развернул широкую контрабандную сеть. Несколько пароходов, флот парусников и катеров курсировали между портами Румынии, Турции и советского побережья Черного моря, перевозя в трюмах и чемоданах товары и валюту. Погранохрана, уголовный розыск, суды и даже ГПУ были подкуплены. «Дело» велось открыто до бесстыдства. Еврей по происхождению, он не имел ничего общего с мощной еврейской общиной и раввинами Одессы. Рассыпая подачки нужным людям, он ничего не давал на си-нагоги и благотворительность. На охоту за «трестом Френкеля» Дзержинский выслал из Москвы «ценного неподкупностью, но внешне и внутренне уродливого члена коллегии Дерибаса». Дерибас затеял «торг», заломив с Френкеля цену, над которой тот призадумался. Тем временем из Москвы отправили поезд с отрядом чекистов в распоряжение Дерибаса. Френкель и вся головка одесского ГПУ и «треста» была арестована. Только в подвале приведенному на расстрел Френкелю объявили замену пули Соловками.

Откуда мог Ширяев знать весь, как он сам называет, «авантюрный роман» про Френкеля и Дерибаса? Объяснение Ширяева звучит довольно убедительно: «Эту историю рассказал мне здесь же на Соловках также еврей, сосланный одесский чекист среднего ранга».

Попав на Соловки, —

*) Место Баркова занял один из работников эксп.-коммер. части некто Мисуревич, подававшийся с Френкелем. Никонов (стр. 106) пишет, что весною 1930 года Мисуревича расстреляли по приговору московской комиссии.

«Френкель действовал иначе: обдуманно и систематически. В первые же дни он при помощи взятки устроился в штат нарядчиков и внимательно присмотрелся к жизни соловецкого муравейника... и пришел к определенному плану».

Тифозная вошь, завезенная весною 1926 г. на остров, дала Френкелю случай показать себя на деле. Разразившаяся к зиме эпидемия тифа заставила начальство что-то предпринять и прежде всего построить бани.

«Инженеры запроектировали срок их постройки в 10-20 дней. Френкель в своем личном проекте указал лишь суточный срок и 50 рабочих. Начальник 1-го кремлевского отделения Баринов (быв. жел.-дор. весовщих из Москвы и взяточник по Клингеру, но грубый, однако добродушный — по Ширяеву. М.Р.) вызвал Френкеля: — Берешься? — «Берусь!» — Надуешь — Секирка! — «Знаю». — Вали!».

С тридцатью отборными молодыми рабочими... которых Френкель знал... и с двадцатью инвалидами из духовенства и офицерства, Френкель приступил к работе, сначала поставив их друг против друга. Дул нордост. Грыз мороз. Речь Френкеля была короткой: — Нам дано 24 часа. Не построим — все на Секирку: я, вы, старики. Мясной суп принесут сюда. Будет по стакану спирта. Начинаем!

...Стены из толстых бревен еще не закончены, а внутри их уже клали печи... Сам Френкель был мозгом работы: распоряжался спокойно, дальне, толково... Были и густые мясные щи, и хлеб без веса, и спирт. ...Над стройкой зажглись прожекторы... Пришедший на утро Баринов увидел белый пар, валивший из дверей бани, где уже закипали котлы. — Молодцы! — рявкнул восхищенный Баринов. — Всем по стакану спирта. От меня. А ты — обратился он к Френкелю — зайдешь ко мне... побалакаем... В лазарет — заканчивает главу Ширяев — унесли только двух завершивших священников... Этот день был началом новой эры соловецкой каторги. Она вступала в систему социалистического строительства».

Несколько иную, но то же вполне пригодную для авантюрного романа или кино-сценария биографию Френкеля излагает Солженицын (стр. 74, 75):

«Нафталий Аронович, турецкий еврей, родился в Константинополе. Окончил коммерческий институт, и в Мариуполе основал лесоторговую фирму, скоро став миллионером и «лесным королем Черного моря». У него были свои пароходы и своя газета «Копейка»... Учуял грозу, еще до Февральской революции перевел свои капиталы в Турцию и в 1917 году сам уехал в Константинополь... Но какая-то роковая сила влекла

его к красной державе... В годы НЭПа он возвращается и по тайному поручению ГПУ создает, как бы от себя, черную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли... Скупка кончается и, в благодарность, ГПУ сажает его... Однако, неутомимый и необидчивый Френкель еще на Лубянке или по дороге в Соловки что-то заявляет вверх... Его привозят на Соловки в 1927 году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря, представляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что Френкель становится начальником Экономической части и высказывает свой знаменитый тезис, ставший высшим законом Архипелага: «От заключенного нам надо взять все в первые три месяца, а потом он нам не нужен» (стр. 47). С 1928 года он уже в Кеми. Там организует сапожную мастерскую, поставляя модельную обувь в магазины ГПУ на Кузнецком Мосту... Как-то в году 1929-м, за Френкелем прилетает самолет и увозит на свидание к Сталину. Три часа продолжалась беседа. Стенограммы не было.

Солженицын далее рассказывает, о чем Френкель говорил Сталину: о выгоде построения социализма заключенными, об учете их по группам А, Б, В и Г, не дающим лазейки ни местному начальству, ни арестанту, о введении хлебной шкалы и шкалы приварка и о зачетах за хорошую работу. Такая биография Френкеля, пожалуй, превосходит в описании ту, которую дал Ширяев «со слов одесского чекиста». С чьих слов рассказал о Френкеле Солженицын, осталось неизвестным.

Оба писателя с запозданием привозят Френкеля на Соловки: Ширяев — весной 1926 г. «на одном пароходе с Глебом Бокием и тифозной вошью» — сразу виден прирожденный литератор.., Солженицын — годом позже, в 1927 г., как раз к открытию лесных и дорожных командировок УСЛОНа на материке, к началу метастаза — т.е. тоже в самую точку.

Если эти авторы правы, то, спрашивается, откуда бы знали о Френкеле такие соловчане «первых призывов», как Клингер (с лета 1922 года) или Мальсагов (с начала 1924 года), оказавшиеся за границей, первый — с декабря 1925 года, второй — с июня 1925 г.? Мальсагов упоминает о Френкеле в очерках 1925 года и в книге на английском в 1926 г., а Клингер — в рукописи, законченной в Гельсингфорсе в 1926 году, но опубликованной в 1928-м. Баню, чтобы аттестовать себя делами, Френкель, вероятно, построил, когда уже начальствовал в ЭКЧ и, конечно, не за сутки, а, может, за двое-трое суток, да и о прожекторах мы на острове не слыхали и не видали их

аж до 1933 года, но для усиления драматизма такой литературный прием нельзя не одобрить... Существование с 1925-го, а, может, и с конца 1924 года ларьков, универмага и коммерческой столовой, а также ресторана на острове всеми соловчанами приписаны инициативе Френкеля, при чем одни его за это хвалят, другие — клянут.

Более логично для обстановки тех лет предполагать, что Френкель прибыл на остров осенью 1924 г. или весною 1925-го. Если позже, о нем не знали бы ни Мальсагов, ни Клингер. Хлебнув горя в карантинной роте или в лесу (срав. Киселева), за взятку пока устроился нарядчиком (срав. Ширяева). Но получить, только что ступив на остров, от Ногтева или Васькова будку и холуя, еще ничем не проявив себя, едва ли мог. Для этого пришлось бы признать что, как передает Ширяев «со слов одесского чекиста», «у Френкеля были закуплены свои люди в составе самой коллегии ОГПУ». Подумать только! Они польстились на подарки и пачки денег от какого-то контрабандиста или валютчика, когда имели все, как на скатерти-самобранке, да еще и неограниченную власть над людьми!

Спорной остается и трехчасовая беседа Френкеля с «лучшим Другом заключенных и чекистов». Пуще всего и ближе к истине предположить, что первые начальники ГУЛАГа Глеб Бокий (Спецотдел ОГПУ) и Лазарь И. Коган, кем-то информированные о зарытом на Соловках таланте, распорядились откомандировать к ним Френкеля. Аэропланы тогда над таким таежным пространством как Кемь — Москва, не летали: не было ни взлетных, ни посадочных площадок, ни заправочного горючего. Выслушав объяснения Френкеля, они приказали ему составить обстоятельный доклад и через Ягоду продвинули его на стол Сталину. Такая версия более правдоподобна и ее подтверждает следующая выписка из книги Роя Медведева на английском «К суду истории» (стр. 39):

«Надо отметить также требование на рабочие руки от большой сети лагерей. Как сообщает старый коммунист И. Фр., в самом начале тридцатых годов Stalin получил доклад бывшего политического заключенного (вот этого самого пройдохи Френкеля — в «политические» попал! М.Р.), который затем сделал себе карьеру в НКВД (ну, конечно же он! М.Р.). Этот доклад меньше говорил о перевоспитании уголовников трудом; он доказывал, что содержание людей в рабочих лагерях более «экономично» (выгоднее), нежели содержание их в тюрьмах. Доклад также указывал, что рабочие лагеря будут способствовать промышленному строительству в районах, куда трудно привлечь вольных рабочих... Stalin согласился с доводами, изло-

женными в докладе, и политбюро одобрило их. Так родился ГУЛАГ и первые лагерные районы. Рабочие лагеря росли «в ногу» с индустриализацией... В конце 30-х годов ГУЛАГ отвечал за большую часть лесозаготовок, меди, золота и угля».

После всех приведенных выдержек и объяснений остается сознаться, что действительно бесспорным, доказанным историческим фактом является лишь само существование Френкеля на Соловках, как заключенного, вскоре освобожденного от наказания в награду за своевременный и отличный проект широчайшего использования принудительного труда с минимальными затратами на трудоемких работах для сталинской индустриализации, прежде всего в необжитых и тяжелых по климату районах.* Все остальное, что рассказывают летопис-

*) Вместе с Френкелем освободили и его помощника и однодельца Бухальцева, сбросив ему пять лет с восьмилетнего срока. Френкель уехал в ГУЛАГ, а Бухальцева, уже вольного, откомандировали в СевЛОН «на укрепление кадров». Вначале, в 1929 году он был начальником Котласского городского отделения СевЛОН, а с 1930-го — начальником технического снабжения Севлага. Китчин (стр. 119 и 224), все годы работавший у Бухальцева, отзывает о нем довольно благожелательно. Большой выпивоха, Бухальцев, когда был «под мухой» проявлял благодушие, разрешая своим работникам выписки снеди и курева из лагерного ларька, а в трезвом состоянии напускал начальнический вид, разносил подчиненных, но с работы не снимал и в лес не посыпал. Солженицын (стр. 139) сообщает, что в годы войны Френкель, не забывший старую дружбу, назначил Бухальцева, редактора его мариупольской газетки, на высокий пост в своем жел.-дорожном ГУЛАГе (ГУЖДС). Не плохо закончил свой соловецкий путь и личный секретарь Френкеля в 1928 и 1929 г. Всеволод Аркадьевич Колосов, ташкентский адвокат, отбывавший срок по суду, т.е. не каэр. Летом 1931 года Чернавин познакомился с ним в Кеми. Уже вольный, Колосов был заместителем начальника лагерного рыбпрома.

Рассказывали Чернавину за достоверное, как однажды на Веге-ракше пьяный Колосов будто бы отобрал винтовку у вахтера, заснул на сторожевую вышку и заснул. Доставленный в комендатуру, он отрекомендовался «личным секретарем главного еврея» и его милости проводили в барак. Утром на вопрос Френкеля, правда ли, что он так назвал его, Колосов ответил, что будучи вдрыз пьяным, ничего не помнит. Френкель только рассмеялся. Так ли, нет ли — Чернавин не рискнул допытываться у самого Колосова, теперь его прямого начальника. Вот как высоко стоял авторитет Френкеля

цы, требует вторичной документальной проверки историками будущего. Ясно и без преверки, что Френкель никакой не австрияк, не венгр, концессий не заключал, с министерствами дел не имел, но турецкий ли он подданный или советский, одессит или мариуполец, был ли контрабандистом или скупал ценности по заданию ГПУ, и если да, то чем заслужил такое доверие или чем неоправдал его; когда, наконец, точно, в каком году и месяце прибыл на Соловки, чем там занимался в начале и, что особенно важно, снизошел ли «Отец народов» до беседы с авантюристом или его проект доложил «Хозяину» сам Ягода. Пока что все изложенные версии смахивают на историю ми-дян... Изменив лишь одно слово в соловецкой театральной частушке, можно пролить свет на источники такого ералаша:

То не радио-параша
И не патефон, —
То наплел, поевши каши,
Наш веселый СЛОН.

А можно сказать еще короче и яснее: сколько голов, столько и домыслов...

**

Не знаю, быть может позже, в Белбалтлаге, где Френкель был начальником работ, «каналармейцы» и вспоминали часто если не самого Френкеля, так его маму, но не на Соловках. Там, после отъезда Френкеля о нем вскоре забыли. Лишь на лесных и дорожных комендировках УСЛОНА на материке, там то в 1928 и 1929 годах знали и долго помнили, во что им обходился фунт лиха от Френкеля. Киселев (стр. 178) утверждает, что:

«Когда Френкель объезжал комендировки, все дрожали. Если работа шла медленно, Френкель тут же отправлял рядовых заключенных на штрафные комендировки, а десятников, техников и прорабов снимал с должностей и отправлял на работы в лес.»

На шести страницах в разных местах упоминает Френкеля Никонов и приводит противоречивые взгляды и оценки его деятельности на острове.

«Мы, старые соловчане, — говорит в 1928 г. новичку Никонову полковник Петрашко, — уже хватили тут горячего до

не только у производственного, но и у административного лагерного начальства.

слез. Теперь все изменилось. Вот путешествуете же вы (по острову) без конвоя. А ведь до Френкля об этом и не мечтали... Тогда, в 1925 и 1926 годах, все ходили на работу командами и обязательно под конвоем, даже в уборную. А сколько заключенных побито охраной! Убивали словно собаку или кошку. А теперь под конвоем водят мало. Как будто, эволюция налицо. — Но я вам скажу — возразил другой собеседник — что тут нет и на копейку эволюции. Просто изменен способ истребления людей. Принят другой, предложенный Френкелем... Он дает дешевый лес, пусть окровавленный. Покупателей хватает. И ГПУ довольно лесной торговлей. Оно уже планирует открыть еще 28 лесных лагерей... Много людей погибнет от непосильного труда, добывая барыши Френкелю...

— Трудно сейчас во всем разобраться, — резюмирует толстовец Демин, А.И.

Такие же споры услышал Никонов и в соловецком лесничестве:

«Помощник лесничего Борецкий приветствовал изменение лагерной политики с большим удовлетворением: — Еще два года назад, сказал он, никто не знал, будет ли он завтра жив. Возьмем, к примеру, кронштадцев. Их пригнали в Пертоминский лагерь семь тысяч (?! М.Р.). А сколько осталось сейчас? — девять душ! Всех угробили. Люди гибли даже не от работы, а от холода. Загонят в лес, да суток по пять и непускают в барак... Урока тогда не было, а просто истребляли людей... Теперь уже не то: появляется некоторое подобие порядка.

— Не было у них порядка и не будет! — решительно заявил лесник архиепископ Иларион Троицкий: — Все у них основано на туфте, на очковтирательстве. Не от жалости они прекращают зверствовать».

Вот так рассуждала соловецкая интеллигенция, еще не разглядевшая последствий френкелевских «нововведений» и корней лагерной политики. С Кемь-Ухтинского тракта очевидцев летописцы не нашли, и только Солженицын (стр. 54) отметил, что там —

«Летом тонули, зимой коченели. Этого тракта соловчане боялись панически и долго рокотала над кремлевским двором угроза: — Что? На Ухту захотел?»

Но с другого, не менее жуткого, с Парандовского тракта, о котором упоминает и Розанов (стр. 17), Никонов (стр. 159) повстречал одного на Соловках. Этот Семенов бежал оттуда, был пойман, счастливо отдался только Секиркой и сейчас, в 1929 году, на общих работах в 12-ой роте.

— Да и какой иной выход был у нас сохранить жизнь, как не побег? — рассказывает он: — Из двухсот, что пригнали на командировку, к зиме осталось нас шестеро, да двое на кухне. Мерли, как мухи... Ну, однако новых подсыпают. Урок очень тяжелый — рыть канавы, иногда по колено в воде, иногда и по пояс. Интеллигенция — та первая в расход ушла. Шпана без малого вся на канавах полегла. Народ это такой, что без туфты не работники, а за туфту, вместо барака, после работы в канаву в воду босыми ставят. Охрана там и десятники, ну, чисто, звери... Вот, скажем, больных пятьдесят, а лекром может освободить двух. У него такая норма: больше такого-то процента освобождать не смей... Расчитано у них на каждого человека в этапе по двенадцати кубометров. Ну, на командировке, конечно, не одни же землекопы. Есть и повара, и лекром и всякая прочая обслуга. Канавы они не копают, а заняты своим делом, кому что положено. Так вот... все ихние кубики на нас, канавщиков, начислены. И выходит их вместо двенадцати — четырнадцать, а, может, и того больше. Френкель так это все расчитал».

Нет, Френкель так примитивно не расчитывал. Из двухсот человек этапа по его системе 15 процентов, т.е. 30 человек исключалось, из них на обслугу — 10 проц. — 20 чел. и на неработающих по разным причинам — 5 проц. — 10 чел. А все остальные 170 чел. — 85 проц. числились в группе А, т.е. на производстве. Все они «выгонять кубометры» тоже не могли, так как кроме землекопов на тракте были раскорчёвщики, таччики, десятники, прорабы, инструментальщики, плотники и некоторые другие рабочие, занятые на тракте, например, на постройке мостов. Из управления трактом командировкам спускалось задание в сантиметрах готового полотна на отработанный человеко-день по группе А. Задание расчитывалось по урочному положению для вольных землекопов с поправочными коэффициентами в обе стороны на десятичасовой рабочий день, на качество грунта, заболоченность, лесистость и т.п.

От этого «задания в сантиметрах» на дорогах, для леса — от «задания в кубометрах вывезенной древесины», в тоннах — шахтной продукции и в граммах намытого золота и начинились все беды для рабочих, обслуги и технического персонала. Разъяснение, как и в чем эти беды проявлялись и как их пытались часто с успехом обойти, потребовало бы особой работы, далекой от ограниченной временем и местом темы о Соловецком острове.

В основе системы Френкеля лежала «большая пайка» и

«густая баланда» за выполненный урок на производственных командировках, но без учета того, что для многих заключенных урок был непосильным: для болезненных, физически слабых, интеллигентов, пожилых. Сказанное сейчас относится к лагерям 1928-1932 гг. в Карелии, Архангельской области и в бассейне Печоры, а годы 1933-1936 — к лагерям на Колыме, в Норильске, на Воркуте и на вторых путях БАМа. Сам ли Френкель потом передумал и уговорил понизить нормы питания или нужда общенародная в продуктах принудила к тому ГУЛАГ — этого мы еще не знаем: только пайку хлеба на тяжелых работах сократили с 1300 грамм (1000 основных, плюс 300 премиальных) сначала до тысячи (800 плюс 200), потом до 800 грамм, заменив премиальные граммы хлеба (но не во всех лагерях и не одновременно) тощими пирожками, булочками и т.п. Одновременно с хлебной пайкой соответственно уменьшились количественно и качественно шкала приварка и ларьковых выписок.

Хлебная шкала и шкала приварка, плюс лимиты использования заключенных по группам А, Б, В и Г. на Соловках были в 1927-1932 гг., да и позже, почти до ликвидации лагеря на острове, лишь в зародыше, на бумаге. С ними мало считались и их легко обходили благодаря особому, разнообразному хозяйству на острове и особому составу заключенных на нем. Они предназначались для материковых производственных лагерей, и там сжимали мертвой хваткой арестантов, даже не слыхавших имя их творца.

На Соловках в годы летописцев, т.е. с 1922 по 1933 год обслугу, вот эту группу Б, еще не считали и не называли прикурками и такого слова в воспоминаниях соловчан не найдете. Избежавших пилы, лопаты и «кирпичиков», т.е. большинство не занятых тяжелым физическим трудом и осевших в бесчисленных конторах часто называли без особой зависти «аристократами».

На полный желудок трудно поверить, чтобы при существовавших нормах питания (с 1933 года и особенно в военные и пограничные годы) десять-пятнадцать процентов обслуги — «класс прикурков», объедали остальных 85-90 процентов работающих. Даже отказавшись от своей порции хлеба и баланды, эта группа Б не могла спасти остальных заключенных от истощения, мук голода и дистрофии. Особенно справедливо такое утверждение для Соловков двадцатых годов, где «аристократы» часто вообще могли обходиться без лагерной «горбушки» и баланды, получая посылки и переводы при свободной продаже продуктов в ларьках. К таким из летописцев я отношу

себя, Никонова, Андреева, Седерхольма и еще 3-4 тысячи каэров из интеллигенции, духовенство, нэпманов и советских хозяйственников. Почти все уголовники и большинство крестьян с каэровскими статьями поддержки из дома не получали, да материально и на «воле» они часто перебивались с хлеба на квас.

В годы Солженицына и задолго до него, примерно с 1934 или 1935 года нужные или сумевшие застремь на разных работах в зоне на материковых командировках, занятых тяжелыми работами, получили от уголовников кличку «придурков», в основе которой первоначально лежало чувство простой зависти к удачникам. Позже, примерно с конца тридцатых годов, когда в лагерях стал воцаряться полный голод, чувство зависти дополнилось ненавистью. Этому не мало способствовал рост удельного веса в группе Б аморального элемента, в годы войны и после для собственного спасения готового ити на любую подлость. К этому времени уже мало осталось начальников командировок из заключенных или освободившихся специалистов, как правило, не допускавших уголовников к работам на кухнях, в пекарнях, каптерках, ларьках, при складах и лазаретах. Их заменили кадровыми НКВДистами, а те окружили себя «соцблизкими» или заведомыми стукачами и оттого в лагерях развелось разбазаривания и прямых краж продуктов еще больше, чем в 1922-1925 гг. на Соловках при Ногтеве. Там с 1926 года Эйхман спрятался с этим злом, передав все дело продуктового снабжения духовенству, что ему конечно, и припомнили, обосновывая расстрел. Чекисты новой формации на такой шаг пойти не могли, тем более, что за их спинами теперь поставили еще и «начальников режима».

Все зло порождалось новой политикой в лагерном режиме (преимуществом во всем уголовникам) и в питании (шкалой довольствия), то и дело подрезаемого из-за внешних и внутренних соображений.

**

Лагерь был копией советской «воли», ее микрокосмом, и это подтверждают все летописцы, начиная с Бессонова, т.е. с 1925 года (стр. 156):

«Тонко и умно — пишет он — построили большевики соловецкую каторгу... Да собственно и всю Россию. Лишив людей самого необходимого, т.е. пищи и кровя, они же дали им и выход. Хочешь жить, т.е. иметь отдельную наружу и за счет других лучшую пищу, становись начальником. Дави и без того

несчастных людей, делайся мерзавцем, доноси на своего же брата, выгоняй его голого на работу. ...Не будешь давить, будут давить тебя... и ты сдохнешь с голода. И люди идут на компромисс. Да и удержаться трудно, ведь вопрос идет о жизни и смерти. То же делается и во всей России, но на Соловках это наиболее резко выявлено».

Почти полвека назад Иван Л. Солоневич так суммировал свой опыт:

«Все то, что происходит в лагере, происходит и на воле. И наоборот. Но только в лагере все это нагляднее, проще, четче. В лагере если и хуже, чем на воле, то очень уж не намного, — конечно, для основного состава, рабочих и крестьян... В той жестокой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, невинных агнцев вообще не осталось, они вымерли. И я очень далек от мысли изображать из себя такого (агнца), ведь у меня, у нас троих дело шло совершенно реально о жизни и смерти (подготовка к побегу. М.Р.)».

В тон ему вторит Розанов (стр. VI и VII):

«...Концлагерь ничего общего не имеет с каторгой и тюрьмами других стран и прежней России... Концлагерь — это оголенный большевизм под микроскопом... копия советского государства... Там почти все так же, как и «на воле», только рельефнее и потому — страшней».

Несколько годами позже, другими словами подобную же оценку находим у Ширяева (стр. 46 и 146):

«Капля воды отражает в себе океан.* Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза... На Соловках было тесно и поэтому борьба за жизнь была особенно заострена... Соловки всегда были микрокосмом, чутко отражавшим все процессы, возникавшие на материке. Они пережили свой период военного коммунизма, свой НЭП и теперь (1928 г.) вступали в эпоху формирования социалистической кабалы».

Современник Ширяева по Соловкам — И.М. Зайцев уже в 1931 году записал (стр. 61):

«Соловки есть отображение Советского Союза, — в организационном отношении есть миниатюрная копия его».

А Никонов в 1938 году подтверждает (стр. 97):

«В подвалах ГПУ и лагерях можно видеть Советскую власть

* Солженицын (стр. 8): «Да вкус-то моря можно отведать и от одного хлебка».

без маски, и всякий побывавший в лагерях уже твердо знает, что из себя эта власть представляет.

Шесть различных соловчан за разные годы пришли к одному и тому же выводу, лишь изложив его собственными словами. Тем самым они доказали, что «малая зона» подражала «зоне большой», а не наоборот. Раз так, раз лагерь — копия «воли», следовательно и там, на «воле» должны быть свои «придурки». Кто же они? Да многомиллионный бюрократический аппарат советской, партийной и хозяйственной системы. Вычитав в газетах об очередной чистке и сокращении разбухшего аппарата, лагерное начальство начинает ту же операцию с группой Б; секретным и несекретным «шарашкам» в промышленности, особенно военной, соответствуют «шарашки» лагерные; бригадиры в колхозах и на предприятиях мало чем отличаются от лагерных бригадиров; «Известия» и «Правда» — от «Перековок» и «Новых Соловков», лишь у последних «труба пониже да дым пожиже», как говорили прежде о золотарях с бочкой нечистот...; «соцреализму» Горького, Ал. Толстого, Эренбурга следуют в лагерных газетах и журналах статейки Ширяева, Розанова, Зайцева, Солоневича; на «воле» для особо ценных винтиков машины принуждения и одурачивания — закрытые распределители, особые квартиры, дачи, курорты ордена, в лагере административно-техническому персоналу и комендатуре из заключенных — улучшенный паек, столовая, отдельные бараки или каморки; вольный культпросвет — в лагере осуществляет воспитатель; Частям Особого Назначения ГПУ-ЧОНам — лагерный ВОХР и т.д. без конца и в том же духе. Одним словом, каждому «приводному ремню» найдется такой же и в лагере. Не ради зубоскальства страну Советов поделили на большую и малую зоны. Так оно и есть: малая зона создана и живет «по образу и подобию» большой, но все же так, чтобы из большой зоны, при семье, остерегались очутиться в одиночном порядке в малой, без семьи.

Наторевшие здесь в политике, лагерную систему называют пирамидой, а нас — не то строителями, не то блоками или цементом в средней и верхней части ее. Без вас, мол, рухнула бы пирамида. Что же: «чужую беду руками разведу, а к своей...» Забывают при этом, что в Соловках 1922-1932 годов не могло возникнуть того, что много позже стихийно при иных обстоятельствах и ином составе заключенных произошло на Воркуте, в Норильске, в Казахстане. Но и тогда «пирамида» не дала даже трещины. И не по ней следует бомбить словесными «катюшами», а по главной, по советской пирамиде, точнее — по ее макушке, по большевизму.

Повторим: корень зла не в «придурках» — жить-то каждому хочется, там в обоих зонах «все по правде тужат, а кривдой живут». Зло в политике, направленной к тому чтобы недовольство и ненависть лагерной «массы» за бытие и битье свое с тех, кто вверг ее в концлагерь и намеренно создал в нем подобные условия, переключать на стрелочников, на «придурков», кто рядом с «массой» жил чуточку лучше. Тот же испытанный способ отвода глаз многократно и с успехом применялся и в большой зоне. Вспомните вредителей, шпионов, террористов, кулаков, подкулачников, перегибщиков, леваков и т.д., да не забудьте понимать их всех в кавычках.

Эту очень важную сторону советской и лагерной жизни совершенно правильно понял Отрадин-Адресев, рассматривая главу о придурках в «Архипелаге». Статью о ней в НРСлове от 22 сентября 1974 года он заканчивает так:

«Незаметно однако понимания (Солженицыным), попытки разобраться, что в данном случае к чему и кто в чем виноват. А эта неясность, то же как с «офицерским засильем», может придавать одному из распространеннейших советско-лагерных явлений несоответствующий ему акцент — и не то направление отрицанию и концлагерей и породившего их строя».

«Власть имущие в СССР — писал он же ранее, 18 сентября, — большие мастера находить себе и прислужников и мальчиков для сечений, — тех, на кого можно направить недовольство и гнев обездоленных (в обоих «зонах», добавил бы я. М.Р.), чтобы отвести их от себя. Они справляются с этой задачей — и не нам облегчать им ее решение».

На эту тему и те же доводы изложены мною в статье в «Посеве», кажется в 1952 году. Между прочим, Солженицын зачем-то слишком расширил понятие о придурках, причислив к ним вспомогательных рабочих зоны, весь производственный персонал от бригадиров до прорабов, словом чуть ли не всех, у кого нет в руках топора, пилы, тачки, кайла... хотя и формально, и фактически они принадлежали до войны к группе А.

По лагерным меркам 1934-1940 года придурками обзыва-ли зонную обслугу на безответственной работе с возмож-ностью при этом подкормиться на ней, не обязательно за счет общего котла, да канцелярско-счетный персонал. Их могли росчерком пера местного лагерного начальника «сдуть» с ме-ста и отправить на общие, а то и в карцер, да еще и лишить зачета рабочих дней, если имели право на них. Но никогда не называли и не относили к придуркам докторов, заведующих транспортом, всех инженерно-технических работников, неза-

висимо от того, в зоне ли они были заняты или за ней, вплоть до бригадиров. Все они, кроме докторов, не только не принадлежали к группе Б, но каждый на своем лагерном участке работы нес уголовную ответственность за него в большей степени, чем на воле по обычным советским законам. Их позволительно и справедливее делить на честных и шкурников, на отзывчивых и на мерзавцев, как и было заведено до 1941 года. Если же в военные и послевоенные годы таких без разбора огулом считали придурками, то объяснить это можно только тем, что моральный уровень советских людей, попадающих в лагерь, тогда упал настолько низко, что по сравнению с населением Соловецкого концлагеря двадцатых годов их можно было не сплошь, конечно, называть морлоками. Но, опять таки, надо подумать, по своей ли вине стали они такими или их доводят до этого, для чего, какими способами, и кто. Десять советских заповедей далеки от десяти библейских, отмененных большевизмом. От сего все качества... И оттого, говорит пословица, не бей Фому за Еремину вину.

Придурки были и на царской каторге. Принудительный труд не может обойтись без них, без этой, приближенно говоря, группы Б. Почему же тогда сахалинские каторжники девяностых годов прошлого века не обзывали их придурками, а «чиновниками», даже дневальных бараков, при чем не только без ненависти, а и без зависти? Да потому, что политикой на каторге не занимались. Тамошнему начальству, а тем более петербургскому, даже в голову не могла притти мысль расложить каторжников и натравить одну ее часть на другую. Даже если и было бы к тому желание, то существовало общественное мнение и на рожон бы к нему тюремное ведомство не полезло. А работа не убивала каторжан и «кормежка» была достаточная для всех. Тогда не знали слова ДОБАВОК, за ним на кухню в перегонки не бегали и котелков своих каторжане не вылизывали. Больше того: остатки густой баланды с кухонь продавались, по свидетельству Лобоса, по пять копеек за ведро на откорм свиней ссыльно-поселенцам и служащим каторги. Да и Солженицын вспоминает, что на каторге Достоевского по двору острога безбоязненно гуляли гуси и никто им голов не свертывал, тогда как в лагерях «великой эпохи» истребили всех кошек и собак, а на Соловках и чаек.

Откормленные американские арестанты, отбывающие срок по закону поближе к семьям, наигравшись в футбол, выключив телевизоры устраивают кровавые бунты против служилой тюремной администрации и тюремных правил. Губернаторы, конгрессмены, суды, пресса, бесчисленные «защитники Сво-

боды» нянчаются с ними, как с малыми детьми. Хорошо бы для проверки большевистского лагерного опыта на практике и для просвещения на нем «молчаливого большинства» отделить без разбора три-четыре тысячи арестантов из какого-нибудь Синг-Синга, да вывезти их на Аляску на постройку «вторых путей аляско-канадской автомагистрали имени Картера». Пусть по-работают в советско-лагерных жилищных условиях по урочным нормам для 10-часового рабочего дня, а хлеб и баланду выдавать им по выработке. Уже через полгода их «перекуют», и напрактиковавшись вилизывать котелки и бегать за добавком, они прежнюю ненависть к администрации и тюремным правилам переключат на своих собратьев, кто благодаря специальности, ловкости или подхалимству назначен или устроился поварикмахером, банщиком, хлеборезом, поваром, нарядчиком, «лепилой» — многое есть теплых мест в лагерях. Вот только кто возглавит такой проект? Может, в «рамках культурного обмена»?... Или подождем 1984 года?... Подозреваю, что кандидатуры уже намечены... хорошо, согласен, считайте, что переборщил, запаникерствовал.

Глава 8

СТУКАЧИ И КОНДОСТРОВ

Южнее водного пути с Кеми на Соловки, в Онежской губе, километрах в тридцати от деревни Унежма расположен маленький Кондостров (11 квадр. км.) с небольшим скитом, вначале приспособленный УСЛОНОМ для провалившихся стукачей, отправляемых туда насильно или по личной просьбе из-за боязни мести. С 1924 по 1930 год там сменилось шесть начальников. Первыми двумя были бывшие помощники начальника Кемперпункта Климов и Провоторов (Мальсагов, стр. 72 и 127), оба из проштрафившихся чекистов, возможно даже — «жертвы проискнов Тельнова», но вскоре последнего сменил Сажин, бывший начальник мест заключения одной из губерний. «Сажин — пишет Клингер (стр. 190) — сам прошел путь секундата и теперь — это в 1925 году — он там «царь и бог» над 150 стукачами. Если Мальсагов не напутал, туда же на Кондостров к Сажину с пересылки была отправлена после голода на Поповом острове и большая группа студентов, «признанных политическими, но не социалистами».

Однако, и Сажин почему-то долго не удержался. С 1926 года Кондостровом управлял чекист Райва, до того, по Ширяеву (стр. 91), «утвержденный выше гонитель любви в соловецком кремле, ее Торквемада и неутомимый охотник на Ромео и Джулет, одетый всегда в длинную кавалерийскую шинель с грязной белой кавалергардской фуражкой на голове». Зайцев передает (стр. 23), что «у Райвы за зиму 1926-27 года, т.е. за 6 месяцев, из 560 заключенных его 6-го отделения было отправлено на тот свет 350 человек или 62 процента, после чего Кондостров окрещен соловчанами «Могилевской губернией», —проще сказать, самым гибким местом во всем архипелаге. А Киселев (стр. 126) утверждает, что там вообще не осталось ни души: «...После зимы 1926-27 года начальник Кондострова Райва явился на Соловки с 15 надзирателями и тремя красивыми девушками (их «сожительницами» М.Р.) и рапортовал, что «все шакалы подохли». Ни Зайцев, ни Киселев не объясняют причин повальной гибели, но ею, очевидно, был тиф, тогда свирепствовавший по всем соловецким лагерям.

Более подробно рассказывает о Кондострове 1929 года тот

же Киселев (стр. 125-138 и 158, 159), пробывший там «по делам службы в ИСЧ» с июня по октябрь. После Райвы Кондостров превращен в инвалидный центр всего УСЛОНа, куда отправлялись с островов и материковых командировок все те, с кого больше уже не выбьешь ни куба земли, ни куба леса: цынготники в последней стадии, саморубы без пальцев или ступней, обмороженные с гниющими членами, искалеченные на работе или дрынами начальства, «леопарды», уже не в силах нестись вперегонки четверками на оправку, страдающие неизлечимыми болезнями и те, на кого начальство охотнее и поскорее бы взглянуло в братской могиле. Кондостров не был мерным домом Достоевского, а домом вымирающих Соловецкого концлагеря, самой большой соловецкой общей могилой, если не считать ям заполненных на Онуфриевом кладбище за кремлем. В эту человеческую свалку на Кондострове если все еще и отсыпали стукачей, то они тонули в общей массе и им было не до издания стенгазеты «Стукач» и обвинения друг друга в «задроченности» (Солженицын, стр. 46).

Но пусть сам Киселев расскажет, что он наблюдал и узнал на Кондострове (стр. 126, 127):

«...По виду это не люди, а ходячие трупы, бледны, худы, неимоверно грязны, в струпьях и цынготных ранах. Кондостровские надзиратели называют их уже не «шакалами», а «индейцами»... 90 процентов их одеты в мешки с дырами для головы и рук. Все сидят безвыходно в бараках, получают 300 граммов черного сырого хлеба, два раза в день воду, в которой варились пшено и ничего не делают... За зиму 1928-29 г. из 4850 чел. 4230 погибли. К моему приезду оставалось в живых 620 «индейцев», а к моему отъезду в октябре лишь 47. За пять месяцев при мне повесилось 105 человек».

Сто пять! Словно какой-то психоз напал не то на «индейцев», не то на Киселева. Почти все летописцы приводят факты самоубийств, но как единичные. При любых тягчайших, кошмарных жизненных условиях в человеке теплится, не гаснет искра надежды, перемучаюсь, мол, пережду, справлюсь, не поддамся отчаянию. Даже в немецких кашетах сознавая свое неминуемое уничтожение, люди в таком числе и в такой пропорции не накладывали на себя руки. В обычных соловецких условиях периода «произвола», огонек жизни в себе заключенные поддерживали и раздували бесконечными приятными упованиями на амнистию, новые кодексы, разгрузку, пересмотр дела, перемену в политике власти, наконец, ее падение; зимой тешились надеждами на лето, летом — на грибы и ягоды и круглый год

на блат, на туфту, на легкую работу. Многих поддерживал моральный долг перед семьей, да еще вера в своего Бога.

Особенно много в разных местах свой книги на эту тему и в этом духе рассуждает Олехнович, и на 80-той странице подводит практический итог:

«Несмотря на ужасные условия, почти за семь лет на Соловках я припоминаю только три случая самоубийств: двое повесились, один бросился под поезд».

Не больше фактов самоубийств, чем у Олехновича, приводят и остальные летописцы. Киселев — не в счет...

Среди вымерших, Киселев упоминает «христосиков» — духоборов и муссаватистов. Умалчивая о причинах повальной смертности, единичные случаи он объясняет. Так, доктор Дженир Агаев, муссаватист, и инженер В.В. Крыжановский, прораб смолокуренного заводика, умерли от тифа в зиму 29-30 г. Если у Райвы все вымерли от тифа, то он свирепствовал там и все последующие годы и, конечно, при такой скученности и питания и в таком состоянии обессиленные инвалиды сваливались замертво в первые же дни болезни.

Беда Киселева в описании Кондострова и вообще Соловецкого концлагеря в том, что он преувеличивает и без того ужасную обстановку и условия и тем подрывает доверие к своей «исповеди». Из многих фактов сошлюсь здесь еще на один. Он пишет, что «инвалиды получают 300 граммов хлеба и два раза в день воду, в которой варились пшено». 300 граммов хлеба есть штрафной паек, назначаемый в наказание от первого дня творения концлагерей и доныне. Для инвалидов и вообще неработающих существовала, как минимум, «основная норма лагерного довольствия» в 400 граммов, то же достаточная для замедленной отправки на тот свет без расхода свинца. «Вода, в которой варились пшено» — фраза, не однажды заученная в его книге. Ну, напиши, что получали жиденький супишко, но не вычерпывай из него все пшено! Ведь крупы-то, помнится, закладывалось по 80-100 грамм. Не пожирали же ее всю чекисты-надзиратели, имевшие свою кухню и свой красноармейский паек. Да и овощи полагались всем. А службы, т.е. «аристократов» по-соловецки или «чиновников» по старосахалински на Кондострове было не так уж много, да и обслужива по Киселеву, тоже вся «загнулась».

Киселев знал и начальника Кондострова Новикова, Александра Михайловича, но что это был за тип нам еще раньше рассказал Клингер (стр. 172):

«Из команды надзора (в кремле, в 1924, 1925 гг.) чисто животным бессердечием выделяется Новиков, бывший солдат.

Зверским обращением с заключенными он славился еще в Холмогорском лагере (при Клингере, в 1921 и 1922 гг.), где практиковались массовые расстрелы, в том числе женщин и глубоких старииков. Тот же Новиков в Соловках с одобрения высшей администрации, совместно с начальником кацелярии Первого (кремлевского) отделения Анфиловым насилил всех, попадающих к нему женщин».

Получил ли Новиков дальнейшее повышение по службе «за избавление лагеря от людского балласта» или понижение с возвратом в команду надзора, мы не знаем. Киселев сообщил только, что место Новикова на Кондострове с зимы 1929 г. занял чекист Сошников.

Кто-то наговорил автору «Архипелага», будто адмчасть Соловков выявляла и ловила стукачей и отправляла их на Кондостров и на лесозаготовки. Что ж, возможно: ни административное, ни производственное лагерное начальство из кого бы оно не состояло: ссылочных или вольных чекистов или специалистов из заключенных, — на стукачей ИСО всегда смотрело косо, с опаской и при первой формальной возможности отправляло их куда-нибудь подальше от себя и в худшие условия. Я это утверждаю категорически, так как не раз был очевидцем таких фактов, правда, не на Соловках, а позже в других лагерях (Смотр. «Завоевателей...», стр. 127 209 и 210). Но чтобы «белогвардейцы из адмчасти врывались в комнаты ИСЧ и тащили оттуда стукачей на этап, а в 1927 году даже взломали сейф ИСЧ и огласили списки ее стукачей» (стр. 46, 47) — этому не поверит ни один соловчанин тех лет. За подобные «военные действия» любой работник ИСЧ обязан был пристрелить взломщиков на месте, чтобы не быть расстрелянным самому. В таких делах ГПУ не щадит и своих опричников. Ворваться в ИСЧ в лагере то же, что ворваться на Лубянке к Менжинскому или Петерсу. Летописцы Зайцев, Андреев-Отрадин, да и Ширяев тоже в 1927 году были на Соловках в кремле, но в их воспоминаниях нет даже намека на такую «войну». В НРСлове от 18 сентября 1974 г. Андреев-Отрадин дает и объяснение:

«Начальником адмчасти в том 1927 г. был вольный чекист Васьков (о ком была и еще не раз будет речь в других гла- вах. М.Р.), а начальником ИСЧ — Полозов, тоже вольный чекист (его сменил в конце 1928 г. Борисов, а Борисова в 1930 или 31-м году — Мордвинов, оба кадровые чекисты. М.Р.) и над ними обоими стоял вольный чекист, начальник Соловков Эйхман, так что никакого засилья белогвардейцев и «военных действий» не могло быть».

На место так или иначе провалившихся или чем-то проштрафившихся и отправленных на Кондостров или в лес стукачей, ИСЧ навербовывало новых. Как это делается, хорошо описано в «Архипелаге», да и Киселев, близкий к этому делу, не плохо изложил ряд фактов. Слежка за каторжанами с каждым годом усиливалась и атмосфера подозрительности и скрытности сгущалась. В своем очерке «Соловецкие острова» (в «Гранях» стр. 53-56) Андреев, спровоцированный сокамерником, восклицает: «Проклятое время, проклятые Соловки, в которых никому нельзя верить!». Но смрадное это удушье не пришло сразу и не во всех ротах оно было одинаковым. В «Неугасимой лампаде» Ширяев (стр. 327-328) вспоминает, как они, московская интеллигентская молодежь с налетом бодемщины, в первые годы — в 1924, 1925 и даже в 1926 гг. собирались по вечерам у директора соловецкого театра «парижанина» Миши Егорова в его «квартире» — небольшом подвале под сценой:

«В «подполье» говорили свободно, хотя туда приходили и ссыльные интеллигенты-чекисты, вовлеченные в русло интеллектуально-духовной жизни каторги. Присутствие их никого не смущало. Знали: эти не стукнут, хоть и чекисты, но «свои»... Самой интересной фигурой среди них был тот, кого я условно назову Отен, сохранивший в себе типично польскую религиозность, вплоть до изуверства. Религиозная музыка Дамаскина действовала на него потрясающе. О его религиозности, конечно, знали в управлении лагеря, но доверия не лишили. В некоторых случаях ЧК смотрела тогда сквозь пальцы на подобные «чудачества». Теперь — вряд ли».

Нам-то подобное «существование» чекистов с бодемствующей интеллигенцией сегодня кажется чистым вымыслом, но Ширяев тут все же передает правду. И чекисты эти, и группа молодежи круга Ширяева, в «стуке» не нуждались. Они все были сыты, в тепле и не обременены работой. «Стук» не мог улучшить их положения в концлагере, а скорее наоборот: стукача съели бы те, у кого были связи, т.е. всемогущий лагерный блат. Другое дело — лесозаготовки, торф, «кирпичики», тракты, где голод и тяжкий труд толкали слабовольных или от рождения низенькие натуры на путь сексотства, чтобы через него добиться более легкой работы, набить мамону и отодвинуть смерть. Могли быть и были доносчики и среди канцеляристов, и в ротах квалифицированного труда, а также и среди низшего и среднего административного и производственного персонала. Одни из них сучали, чтобы избежать леса и «кирпичиков» — это те, кого завербовала ИСЧ и угрожала им за «бездействие»

другие — меньшая часть — чтобы и на каторге возвыситься над своим братом-арестантом, подкопаться, свалить и взобраться на его место.

Без стукачей, ИСЧ в лагерях, да и ГПУ на воле были бы почти пустым местом и звуком, не вызывающим содрогания и мурашек по телу. Как ГПУ, так и его стукачи, в большой ли «зоне» или в малой лагерной были ухом, глазом и дубиной, на которой держится власть партии. Но, как видно из рассказанного выше, стук был палкой о двух концах и порою заканчивался в те годы отправкой сексата в гибкие места.

О стукачах и провокаторах пишет и Пидгайный, указывая даже фамилии их и подчеркивая, что эта грязная работа чаще других выполнялась иностранными коммунистами, которых не мало понасажали в Соловки после Кирова и при Ежове. В террор, развившийся и на Соловках после убийства Кирова, на острове выявлено, якобы, свыше двухсот доносчиков. Пидгайный пишет и в «Недострелянных» (стр. 12, ч. 2-я) и в «Островах смерти» на английском (стр. 132, 133) будто на Соловках в кремле существовала секретная организация из трех секций под инициалами АТС или АТЦ, которая публиковала фамилии стукачей. Проверить наличие такой организации за 1933-1937 гг. мы не можем. Но Пидгайный относит начало ее к 1924 году и с той поры ИСЧ, будто бы, так и не могла раскрыть ее при сотнях своих соглядатаев и доносчиков. Вот эта неуязвимость АТС-АТЦ и вводит в сомнение, тем более, что никакого намека на ее существование нет ни у одного летописца того периода.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

КОНЦЛАГЕРНЫЕ ГОСТИ: коммунист Альбрехт, гуманист М. Горький, природолюб М. М. Пришвин

Что творилось на Соловках, Лубянка знала во всех подробностях как от своих «насадок», скрытых под какими-нибудь масками, так и от ее «разгрузочных» и следственных комиссий, с 1924 года постоянно, обычно осенью навещавших остров. Об этих комиссиях вспоминают многие, в частности Мальсагов (стр. 128), Ширяев (стр. 95) и Олехнович (стр. 83-86). Зайцев (стр. 85) довольно подробно передает о развлечениях комиссий попойками и охотой, а Киселев (стр. 146) добавляет: «..и особо красивыми каэрками», словно только за этим и приезжали на остров те, кто помогал в Москве Ленину, потом Сталину вершить бессудство и расправу.

В состав комиссий в разные годы входили члены коллегии ОГПУ Глеб Иванович Бокий, Фельдман и Филиппов и с ними начальник бандотдела Московского ГПУ Вуль, «прокурор по надзору за следственной деятельностью ОГПУ» Р.П. Катаньян, заместитель председателя Верховного Суда А.Н. Смирнов, кто прославился как обвинитель на процессе петербургского митрополита Вениамина, и менее заметные другие ромбоносцы или по лагерному — «шишкомоты». Обследуя хозяйственное и финансовое положение концлагеря, иногда — ужасающую «убыль» в людях на лесных работах и от тифозных эпидемий, а также проверяя отдельные редкие жалобы смельчаков и постоянные обвинения эмигрантской и европейской прессы в разных формах молча допускаемого свыше произвола, комиссии кого-то снимали с должностей, отправляли на Секирку, кому-то увеличивали срок, а кому-то его сокращали, кого-то выпускали из штрафизоляторов. В 1926 и в 1927 годах комиссии должны были привести в Москву ответ, в чем оказался прав и что преувеличил в своих писаниях Мальсагов, но содержание его летописцам неизвестно. Едва ли дело ограничилось тем, что, как отмечает Зайцев, (стр. 3 и 4):

«ОГПУ прислало выписки из очерков Мальсагова и прика- зало Эйхмансу, чтобы сами заключенные опровергли их. Дей- ствительно, были неточности, но зато у него отсутствовали факты самых зверских злодеяний».

Выполнил ли приказ Эйхманс, ни Зайцев, ни Ширяев ответа не дают. О следственной деятельности московских комиссий в книгах соловчан нет ни слова. Нам осталось сейчас о ней только гадать и догадываться, стараясь понять причины тех или иных изменений в соловецком режиме и перетасовок в административном и производственном персонале лагеря, на которые указывают, но которых не объясняют летописцы. И только Зайцев (стр. 22 и 23) до некоторой степени проливает на них свет:

«...Все же бывают случаи, когда сведения о соловецких ужасах доходят... даже до Москвы. Тогда ГПУ умывает руки и сваливает вину на низших исполнителей его распоряжений и наказывает их, как переусердствовавших... Так, стало известно Москве и об ужасах на лесозаготовках на острове. ОГПУ всполошилось... Его расследованием была установлена картина кошмарных зверств над лесорубами с целью принудить их к выполнению непосильных суточных уроков... После этого было короткое затишье (со зверствами. М.Р.) на лесозаготовках, а затем все пошло по старому...»

Зайцев, очевидно, пишет о зимах 1925-26 и 1926-27 годов, когда на острове приступили к заготовке экспортного леса и заключенному И. Ф. Селецкому (будто бы в прошлом, по Андрееву — офицеру, а по Киселеву — начальнику какой-то царской тюрьмы), назначенному командовать всеми лесозаготовками, приказом по лагерю, якобы, дано было право «расстреливать без суда на месте отказавшихся выполнять суточный урок». Киселев (стр. 179) добавляет: «В правой руке — револьвер, а в левой дрын, — вот в каком только виде не боялся Селецкий показаться лесорубам». Осенью 1927 года Зайцеву оставшийся срок заменили ссылкой и вывезли его на материк, а у Никонова, привезенного на остров летом 1928 года мы все еще встречаем Селецкого и в зиму 1928-29 года в той же должности, правда, без прикрас Киселева насчет револьвера и дрына. «Много легенд — вспоминает Отрадин-Андреев (НРСлово от 18 сентября 1974 г.) — ходило о Селецком, о том, как он расправляется на лесозаготовках, но правды ради сказать — главным образом с урками». Киселев же утверждает, будто ГПУ освободило Селецкого досрочно и УСЛОН направил его в Вишерское отделение помощником начальника экон.-производ. части, где он и находился до по-

бега Киселева, т.е. до июня 1930 года. Как помнят еще живые соловчане, в июне 1930 года по всем командировкам УСЛОНа зачитывался приказ коллегии ОГПУ о расстреле десятков «произвольщиков», в числе которых и одним из первых упоминался Селецкий.

От Олехновича (стр. 69, 70, 75) узнаем и детали:

«В 1930 году (весной. М.Р.), когда на кладбище расстреливали заведующего лесозаготовками на острове бывшего чекиста С. (ну, конечно же его, Селецкого, другого не было, а «чекистом» он окрещен соловчанами, как всякое начальство, как например, у Зайцева. М.Р.) с его любовницей госпожей П., женой миллионера-фабриканта, наблюдавшей расстрел из окна женбарака (дальне поясним, как это делалось), произошла истерика и обморок. ...Впрочем, добавляет Олехнович, через две недели она обзавелась новым хахалем»...

По примеру с Селецким лишний раз можно судить о том, сколь трудно теперь, не имея доступа к первоисточникам, добраться до правды.

Основной задачей московских комиссий до 1929 года была все же «разгрузка» Соловков для новой «нагрузки». Одних освобождали по чистой, другим остаток срока заменяли ссылкой, третьим сбрасывали с приговора от одного до трех лет и и, в виде исключения, даже до пяти лет. Среди первых преобладали урки, среди вторых — духовенство и каэры, с учетом их возраста и здоровья, чтобы не заполнять ими соловецкие могилы, среди третьих — представители всех племен и профессий, прежде всего родственные по духу сотрудники ЧК-ГПУ, милиции, уголовного розыска, судебно-следственного аппарата, а также специалисты, чем-либо отличившиеся на порученной им работе, например, в Обществе краеведения, театре, на профкурсах, в сельском, рыбном или пушном хозяйстве, в кустпроме, на ремонте судов — на Соловках были десятки всяких производств, заведенных монахами, с составом от нескольких человек до нескольких сотен. Не забывали и нэпманов, тех, кто обхождением и приношением во время задобрил нужное лагерное начальство. На эти «разгрузки» соловчане расчитывали больше, чем на разные «радио-параши» об амнистиях и новых кодексах из Москвы, хотя шансы на «разгрузку» были мизерные, никогда не выше, чем одному из двадцати. Тем не менее заключенные старались не попасть в «черные списки» так или иначе за что-нибудь оштрафованных, чем-нибудь досадивших начальству, особенно такому, от которого, в сущности, и зависела их судьба. Перечисление до трех десятков фамилий таких лиц ничего не скажет читателю, а

пояснения к ним заняли бы не одну страницу. У самой же комиссии не было ни времени, ни охоты, ни нужды проверять каждую кандидатуру на тот или иной вид «разгрузки». Списки утверждались целиком, что подтверждает и Олехнович (стр. 83, 86). Возможно, что при этом несколько слов было сказано местным и московским начальством относительно такой персоны в УСЛОНЕ, как начальник эксплоатационно-коммерческой части Нафталий Френкель. Ему сразу сбросили все оставшиеся отсидеть семь лет, а помощнику и однодельцу Френкеля с 1925 года, Бухальцеву с носямилетним сроком, скинули пять лет. Оба в благодарность или по обязательству остались в УСЛОНЕ вольнонаемными.

По утверждению Зайцева, чем хуже относились к рядовым соловчанам и своим подчиненным всякие лагерные начальники из заключенных, начиная с десятников (бригадиров тогда еще не было) — Зайцев всех их честит чекистами — тем больше у них было шансов на сокращение срока. В качестве примеров Зайцев приводит (стр. 20) заместившего Френкеля «коварного Е.С. Баркова, просидевшего из своих десяти лет, кажется, около пяти... Время их эксплоататорства останется в памяти у всех уцелевших соловчан». В такой обстановке заключенные остree крепостных прошлых веков чувствовали, что «добрый начальник нашему брату — полбога, а плохой и чёрта не стоит».

Откровенно говоря, все эти формы «разгрузок», особенно инвалидов из-за непригодности их к дальнейшей эксплоатации (Розанов, ст. 45), особой главы не заслуживают, тем более, что три четверти счастливчиков, покинувших Соловки — уголовники или работники «органов» и других карательных заведений. Мальсагов пишет (стр. 179, 180), будто «разгруженную шпану — до пятисот человек в 1924 году» — с Кемперпункта вывозили на станцию в Кемь в грузовиках голой, отобрав у нее лагерную одежду (а ее в те первые годы по всем свидетельствам и не выдавали, разве что выкроенную из мешков. М.Р.), снабдив проездным билетом и хлебом на дорогу и что половина голышей уже в Кеми, чтобы прикрыться, грабила карелов и тут же арестовывалась, возвращалась в лагерь и получала год нового срока. Вторая половина — о ней Мальсагов умалчивает — тоже, значит, голая, все же уезжала в классных вагонах. Как она вела себя в поезде и что думали о ней и о Соловках вольные пассажиры, рассказать о том у Мальсагова фантазии уже не хватило. Из-за подобной белиберды иностранцы сомневались и в остальном содержании его книги «Адский остров».

Режим на Соловках заметно изменился в относительно

терпимую для заключенных сторону не от этих комиссий 1924-1928 годов. Режим облегчен с лета 1930 года для всех концлагерей Севера благодаря взаимодействию многих политических и экономических факторов и событий как внутри, так и вне страны. Бушевало раскулачивание и коллективизация; концлагеря множились и бухли и уже включились в план первой пятилетки. Френкель успешно обосновывал в Москве перспективы и рентабельность освоения богатств Севера силами заключенных при иных методах их использования (уже далеких от якобы высказанной им на Соловках «формулы, ставшей высшим законом Архипелага: от заключенного нам надо взять все в первые три месяца, а потом он нам не нужен» (Солженицын, стр. 47). На Западе и в Америке снова поднялась кампания против принудительного труда на советских лесозаготовках и даже против хлебного демпинга (о чем подробнее рассказано в главе о лесозаготовках). Наконец, нужно же чем-то заглушить заграничные почти документированные обвинения о зверствах в концлагерях, да и боязливый по углам ропот собственных подданных.

А тут, нежданно — негаданно, из ЦКК-РКИ (Центр. Контр. Комиссия-Раб.-Крест. Инспекция) к весне 1929 года по инициативе Сольца выплыл доклад председателя его Лесной комиссии какого-то правдолюбца Альбрехта, неосмотрительно, да еще и с почетом приглашенного Ногтевым на Соловки, очевидно в самом конце навигации 1928 года. Тогда-то, надо полагать, и решено было прикрыться именем Буревестника, а в подкрепление ему выпустить вторично старый фильм «Соловки», кое-что выбросив из него, кое-что подновив и добавив отдельные кадры. О нем особая глава. Неполную бочку дегтя от Альбрехта, Горький, возможно и с горечью, но с большим опытом и ловкостью доливал и покрывал своей ложкой меда.

За тифозную эпидемию 1929-30 года и за все, что просочилось за границу, уже после, весной 1930 года нашли стрелочников и козлов отпущения. Из приказа, нам зачтенного, следовало теперь благодарить за расправу с «произвольщиками» коллегию ОГПУ. О Сольце в нем — ни слова. Альбрехт сам вскоре очутился в подвалах Лубянки.

**

Вот теперь мы и попытаемся последовательно изложить события, связанные с этими именами. Начнем с Карла Ивановича Альбрехта (род. в 1898 г.). В составе группы иностранных лесных специалистов из коммунистов, он по заданию Центральной Контрольной Комиссии и Рабоче-Крестьянской

Инспекции — ЦКК-РКИ — изучал постановку лесного хозяйства на севере в 1928 и 1929 годах и свои выводы изложил в книге «Реконструкция и рационализация лесного хозяйства», изданной в 1930 году под общей редакцией М.М. Кагановича (брата самого Лазаря). Нам важна не эта его книга, а другая, на немецком «Der verratene Socialismus» — «Преданный социализм», многократно переиздававшаяся в гитлеровской Германии с 1939 по 1944 год включительно. За эту книгу он заслуживает своего места в истории Соловков.* В ней 652 страницы со многими десятками фотоснимков из жизни ссыльного крестьянства в лесах Севера. Для нашей работы ценна глава о Соловках (стр. 91-106).

Как руководитель группы, он в зиму 1928-29 года посетил многие лесные лагеря, а также Кемь. В Кеми их встретил «тогдашний начальник УСЛОН_а тов. Ногтев». Во френкелевском ресторане УСЛОН_а, описанном Солженицыным, их угостили «отборными блюдами и напитками под музыку отличной капеллы из выдающихся музыкантов Москвы и Ленинграда, как нам с гордостью пояснил Ногтев».

После беглого показа Кемперпункта (но не Курилки и его методов), Ногтев пригласил группу посетить Соловецкий остров. В книге есть снимок этой группы и сопровождавших ее генеушников во главе с Ногтевым в пути на остров на одном из двух лагерных охранных катеров.

Прежде всего их повезли в бывшую летнюю резиденцию архимандрита — в «Биосад» (хутор Горки), где проживало главное начальство острова.

Альбрехта поразила роскошь обстановки: «Чудные gobelenы, персидские ковры, стильная мебель». (Гобелены из бар-

*) Немецким солдатом, Альбрехт участвовал в подавлении коммунистического путча в Мюнхене, затем, присоединившись к коммунистам, вскоре оказался в Москве и до 1932 года подвизался на высоких должностях в германской секции Коминтерна и в ЦКК-РКИ как лесной специалист, пока ГПУ не упрятало его на Лубянку. Оттуда Альбрехта, как немецкого подданного, пришлось выдать Гитлеру. Гестапо сразу же посадило Альбрехта в кацет, но вскоре сообразило, что выгоднее использовать его для пропаганды. Последний раз его повстречал наш летописец — соловчанин Андреев-Отрадин в Австрии в 1944 году в форме майора немецкой армии, занятого склонянием воинской части из россиян, убегавших от большевиков. Потом его имя видели в советском списке разыскиваемых военных преступников.

хата и парчи для облачений, ковры — дары богатых богомольцев, все — из монастырской ризницы, а мебель из конфискованных обстановок в столицах). Тут их угостили «обедом из продуктов лагерного хозяйства не хуже, чем в курортных ресторанах Ялты и Сочи». Группу возили по всему острову, показывая ей огороды, конюшни, скотный двор, госпиталь, музей, театр, даже Секирку, — почти все, кроме лесных командировок. В театре группу посадили в кресла первого ряда и усладили оперой, балетом и оркестром. Тут, в театре и после в других местах, Альбрехту удалось кратко побеседовать без сглядатаев с рядом заключенных и узнать часть подлинной трагедии, переживаемой на Соловках. В передаче Альбрехта некоторые рассказы заключенных об ужасах концлагеря кажутся не совсем-то правдоподобными, вернее — преувеличенными. Но ведь и мы, летописцы, взявшись за перо, тоже не макали его в мед и чего сами не испытали, брали на веру от других.

Нет сомнения, что лагерное начальство постаралось заранее убрать с глаз Альбрехта все, что ему не полагалось знать и видеть. Это была «генеральная репетиция» для Ногтева перед Буревестником. Еще в пути на Соловки Ногтев морочил голову Альбрехту, «убеждая, что зигзаги катера при подходе к острову объясняются тем, что повсюду расставлены мины» (а не потому, что тут многочисленные отмели, камни и корчаги, о чем пишет и Богуславский и Олехнович. М.Р.) и что даже, «если Белое море изредка и замерзает от острова до материка, то против беглецов в его распоряжении эскадрилья самолетов». (А в «эскадрилье», как указывают все летописцы, один «летающий гроб». М.Р.)

Где-то за углом в удобную минуту смельчаки шепнули Альбрехту: «Секирку почистили, большинство секирчан переслали в другое место, а из лазарета тяжело обмороженных в лесу перетащили в дальние бараки за кремлем». Вот почему Секирка произвела на Альбрехта впечатление обычной дисциплинарной роты. Лазарет блистал чистотой, порядком и операционные комнаты выглядывали не хуже, чем в городских больницах. Только пациенты вели себя как-то странно: не отвечали на вопросы и многие лежали, повернувшись лицами к стенке. Альбрехт нашел этому правильное объяснение: «Ведь с нами обходил лазарет сам Ногтев, которого соловчане боялись и ненавидели и потому нашу группу они принимали за какую-нибудь комиссию, от которой добра не ожидали».

Тут же в лазарете Ногтев попытался навязать группе переводчицей «грузинскую княжну-фальшивомонетчицу с пятилетним сроком», но Альбрехт отклонил любезность Ногтева и

навязчивость «княжны», когда ее акцент оказался совсем не грузинским.

Более подробно описал Альбрехту положение на Соловках осужденный за оппозицию поляк — член президиума молодежного Коминтерна. Все же, сколь ни сумбурны были отрывочные картины соловецкой были, они возмутили Альбрехта и как «верный член партии он решил по возвращении в Москву открыть глаза ЦК, ЦКК-РКИ и ОГПУ на преступное обращение с заключенными». Одновременно в Соловках поколебалась его вера в то, что тут собраны подлинные враги: террористы, монархисты, шпионы.

Через несколько месяцев, очевидно, в начале весны 1929 г. Альбрехт представил ЦКК-РКИ доклад о всем виденном и услышанном на острове, дополнив его устными подробностями. Обсудив доклад, ЦКК-РКИ назначила полномочную комиссию под председательством Сольца. Альбрехт утверждает, что своими глазами потом читал отчет Сольца, и вот что он приводит из него:

Сольц вызывал по-ротно заключенных, удалив их начальство и требовал, чтобы ему открыто сообщили правду, наказывают ли их без повода, кто и как. Долгое время призывы Сольца оставались безрезультатными, т.к. соловчане подозревали, будто «комиссия Сольца» — очередная фальшивка, чтобы дать повод для расправы с ними руками других ногтевых. И только когда на глазах заключенных по приказу Сольца расстреляли пятерых надзирателей, соловчане заговорили. Всего по материалам Сольца расстреляно свыше ста человек.

Ногтева вторично убрали (первый раз в 1925 г. за стрельбу по социалистам, о чем прочтете в главе о политических.), некоторое время продержали на Лубянке и даже отобрали партбилет. Однако, заслуги по ЧК при Дзержинском превысили его вину по Соловкам. К тому же сыскался покровитель и через Ягоду выхлопотал Ногтеву «почетное задание — обеспечить Москву дровами и лесом силами 30 тысяч ссыльных крестьян». Дело было знакомое. Ногтев «обеспечил» и получил обратно партбилет, а с ним и новое повышение: управлять всей лесной промышленностью европейского севера СССР. Альбрехт называет «покровителем» Ногтева некоего Фушмана или Фухмана, начальника советских лесозаготовок.

Таково вкратце основное содержание главы о Соловках в книге Альбрехта. Проверим степень ее достоверности, пользуясь другими источниками и моими личными соображениями.

Прежде всего, никакого Фушмана-Фухмана в истории лесной промышленности не отыскали. Вероятнее всего, «покро-

вителем» Ногтева оказался его бывший удачливый соловчанин Френкель, уже прочно утвердившийся в только что оформившемся ГУЛАГе Когана. Лиць Френкель мог в благодарность выручить из беды друга и к тому имел больше возможностей, чем какой-то «Фушман» из Наркомлеса. Альбрехт, сколь это ни странно, не знал ни о карьере Френкеля, ни о том, что через несколько месяцев после знакомства с Соловками и вскоре после его доклада о том ЦКК, Сталин направил на остров Максима Горького. Как мог Альбрехт пропустить и не отметить в книге очерк Горького о Соловках в его журнале «Наши достижения» и в газете «Известия»? А вот пропустил! Вообще, о 1929 и 1930 годах на Соловках в лагерной литературе и мемуарах много неразберихи, противоречий и пора уже, по возможности, расставить даты и события этого отрезка времени по своим местам и с необходимыми поправками.

1. Начнем с Альбрехта. Все летописцы о нем ни слова не проронили. Пидгайный со своими «Островами смерти» не в счет. Хотя он и называет Альбрехта чуть ли не спасителем соловчан, но узнал он о нем только через 15 лет в Мюнхене, прочитав «Преданный социализм». Даже такой, казалось бы, сведущий оперуполномоченный Киселев (стр. 180), и тот про Альбрехта счел нужным умолчать.

«Два раза — пишет он — на Соловки приезжали экскурсанты-карелы, посмотреть, как живут заключенные. Оба раза их поместили в пустом театре и они все время находились под надзором командиров рот и чекистов-надзирателей. Последние сводили их в музей, показали пустой розничный магазин — и больше ничего. Как живут заключенные, экскурсанты не узнали».

Вот так лесную комиссию Альбрехта из иностранцев Киселев препарировал в карельских экскурсантов, на 30 лет опредив историю Соловков...

Никаких «экскурсантов» до шестидесятых годов на Соловках не бывало, а заезжали по приглашениям такие группы, как Альбрехта, о которых заключенных не извещали, либо следственные комиссии с Лубянки. Кого Киселев скрыл под второй группой «экскурсантов», сейчас не установить.

2. Еще более темна вода во облацах относительно Сольца. От Солженицына (стр. 57-59) мы узнаем, что «побег в Англию был из Кеми на пароходе» и что «вышла в Англии книга, очевидно, С.А. Мальзагова «Адский остров», и что из-за нее «поехала комиссия ВЦИК, под председательством совести партии Сольца, но только по мурманской жел. дор., да и там ничего особого не управила, а на остров сочтено было послать

Максима Горького ...Эт было 20 июня 1929 года... И напечаталось от его имени, что зря Соловками пугают... А режим исправим... На Соловки поехала комиссия уже не Сольца, а следственно-карательная... Всего задались цифрой «300». Набрали и в ночь на 15 октября 1929 года... Расстреливали те три хлыща-морфиниста... начальник ВОХР Дегтярев и начальник КВЧ Успенский... Весь октябрь и ноябрь привозили на расстрел дополнительные партии с материка... И кто теперь будет искать виновных? — в 60-х годах нашего великого века!»

Виновных? Оставим их историкам, но пока сами живы, подправим даты и события. Начнем по порядку изложения их Солженицыным.

Побег был из Кеми, точнее — с Кемперпункта при заготовке веников в лесу с разоружением охраны, а не на пароходе. То случилось в Мурманске и проще, чем описано в «Архипелаге». Из Кемперпункта с веников бежала группа из четырех под старшинством Бессонова. Мальсагов, участник этого побега, действительно написал такую книгу, но вышла она давно, в 1926 году, и едва-ли Сольц, член президиума ЦКК, мог быть послан с «комиссией ВЦИК» по железной дороге для проверки «клеветы Мальсагова». Горького послали на остров не потому, что «Сольц ничего особого не управил», а совсем из иных политических соображений, изложенных в конце главы. Если на самом деле Сольц или кто-то другой участвовал в «проверке клеветы Мальсагова», то это могло быть только в 1927 году, т.е. за два года до Горького и с поездкой «гуманиста» на остров не связано. После Горького на Соловки будто бы послали следственно-карательную комиссию с заданием набрать «300» и пустить их «в расход». Тут без сомнения подразумевается так называемый «Соловецкий заговор», особо широко расписанный Никоновым в разных местах его книги. Под его пером «заговор охватывал до 60 процентов заключенных», т.е. включал и шпану. Среди расстрелянных в ноябре «руководителей заговора» был ряд приятелей Никонова. Посвящая его в существование «заговора» они, тем не менее, не предложили ему участвовать в нем, а ведь Никонов был одним из двух возглавителей крестьянского восстания в Нижегородской губернии, ряд лет скрывался под фамилией Дубинкина и получил расстрел с заменой по амнистии Соловками. После с Белбалтлага бежал в Финляндию. Да такому человеку самое место быть в штабе заговорщиков, а он о кроликах в Пушхозе душой болеет. Однако, дадим слово самому Никонову (стр. 24-25):

«В одно июньское утро (1929 г.) ...Петрашко рассказал мне

подробно об обширном заговоре среди каэров... Заговор охватывал весь лагерь, включая Кемь... «Активным участником я вас не приглашаю — нас уже достаточно, чтобы захватить этот курятник»... В конце лета... организация провалилась от оплошности одного из участников... Свыше двухсот заговорщиков сидели в изоляторе, между тем заговор охватывал более 60 проц. лагерного населения... Заговорщики не выдали никого... 22 ноября 1929 г. 63 из них были выведены из «Святых ворот» и расстреляны на монастырском кладбище... Сто сорок остальных были расстреляны немного позднее под Секирной горой... Расстреляли их без санкции Москвы, а по лагерным приказам провели умершими от уже свирепствовавшего тогда тифа».

Несколько иную версию о «заговоре» передает Отрадин-Андреев в НРСлове от 23 июля 1973 года в статье о лицеистах:

«В 1929 году, в конце зимы (т.е. в конце апреля — в начале мая по тамошнему климату. М.Р.), когда соловчане... считают недели, оставшиеся до открытия навигации, до посылок и писем... неожиданно пошли аресты. И как-то необычно для Соловков, зловеще, ночью, тихо, чтобы не будить спящих рядом. Арестовали что-то больше пятидесяти... главным образом, из «бывших». По лагерю зашелестело: «Заговор». Но я уверен, как уверены были почти все окружающие, что никакого заговора не было. Он существовал только на бумаге, в «деле», был специально выдуман зарабатывающими медальки. Случайно, уже в другом лагере, узнал потом, что в конце лета или осенью в Соловки приехала специальная «команда» чекистов в высоких чинах: это были исполнители смертных приговоров. Они и расстреляли, как говорили, человек сорок... но кто попал в это число, не знаю».

Близкую с этой версию и с большими подробностями приводит Олехнович, сам в этом 1929 году находившийся в кремле (стр. 25, 69, 70, 75 и 76):

«Весною неожиданно арестовали более семидесяти человек. Шопотом, по углам, со страхом передавали: — Раскрыт заговор. Хотели захватить пароход...

Через несколько месяцев около тридцати человек из арестованных выпустили. Выглядывали они так, что жалко было на них смотреть. Никто из них, как мы не допытывались, ни словом не обмолвился о том, в чем их обвиняли и как допрашивали в ИСЧ. Видно, получили грозное предупреждение молчать.

Как-то осенью, заглушая обычный крик чаек, прорвался надрывный вой собаки Г.-ского (По Солженицыну — собаки Ба-

гратуни), заведывавшего одним из предприятий на Соловках и ожидавшего своей участи по «Заговору» в изоляторе. Пес шестым своим чувством предугадал судьбу хозяина и завыл... Через несколько часов в кремле воцарилась мертвая тишина. Роты были под замками. Никто не рискнул высунуть нос за дверь келий или в окно. Работники ИСЧ выводили из изолятора «заговорщиков» на расстрел в нижнем белье, связанными попарно: правая рука одного с левой рукой другого. Расстреливали на кладбище за кремлем в темноте, при фонариках, в затылок, работники ИСЧ и командир охранного полка Дегтярев (Относительно Дегтярева Олехнович как бы подтверждает написанное Солженицыным и опровергает обратное утверждение Отрадина в НРС. М.Р.). В такие обычные для Соловков часы растрела в женбараке гасили свет и из окон второго этажа охотницы наблюдали «технику палачей». Потом, (надо полагать, с лета 1930 года. М.Р.) расстрелы перенесли в дезинфекционную камеру внутри кремля, в нескольких десятках метров от изолятора. Расстрелы оттуда были неслышны и невидимы. Затем приезжала подвода из сельхоза и ротные, нагрузив ее трупами, отвозили их в братскую могилу. ...А собаку Г.-ского, вспоминает потом Олехнович, отвязал и взял к себе другой заключенный, у кого была возможность кормить ее».

Из всех этих выписок с несомненностью следует лишь одно: аресты для «заговора» начались еще до приезда Горького и с ним в связь поставлены быть не могут. Не из-за Горького прислали на Соловки «следственно-карательную комиссию», а чтобы проверить, утвердить обвинения и расстрелять: по Олехновичу и Отрадину — 40 человек, по Никонову — 63 на Онуфриевом кладбище и 140 под Секиркой и по Солженицыну — 300 человек. В НРСлове от 29 сентября 1974 г. Отрадин поясняет, что: —

«К 1929 году техника расстрелов была давно разработана... и существовали твердые правила приведения приговоров в исполнение» —

и потому расстреливать «заговорщиков» не могли те лица, на которых указали Солженицыну соловчане. Не утверждаю, но подозреваю, что поводом «дела о заговоре» мог послужить доклад Альбрехта, о содержании которого коллегия ОГПУ, конечно, узнала в тот же день, что и Сольц, и немедленно шифром приказала соловецкому ИСЧ, чтобы начинала «контратаку» — создавала доказательства, в сколь опасной обстановке она работает и тут, дескать, в белых перчатках с заключенными не справишься; вот смотрите, что они готовили — восстание!

В итоге, 1929 год никакого облегчения соловчанам не принес, особенно кэрам-интеллигентам, снятым с хозяйственных и конторских работ. Испытав лес, торф, кирпичики, они все же возвратились на прежние места. И очень странно, что инициатор «защиты пролетариата» — Ященко — выставлен Киселевым, как благодетель заключенных (см. стр. V):

«В 1928 году на должность помощника начальника СЛОНа из Москвы был прислан Ященко. Он энергично принял за улучшение условий жизни заключенных. Начальник СЛОНа Эйхманс был в это время в отпуске. Вернувшись из него и узнав о мероприятиях Ященко, Эйхманс донес о них в ОГПУ. Последнее срочно отзвало Ященко... и понизило его в служебном положении».

Условия жизни соловчан ни капельки не улучшились ни в 1928, ни в 1929 г., ни до весны 1930-го. Только к весне 1930 года созрела и была учтена Московской политической и экономической целесообразность и выгода перестроить каторгу на новый лад, придав ей неслыханные в истории формы и размах. Вот тогда и отошла эпоха дрына и приклада, уступив место, как назвал Никонов (стр. 264 и 268) «каторжному социализму». Солженицыну сказали (стр. 63, 64), будто:

«После тех расстрелов (по «Заговору». М.Р.) в октябре и ноябре 1929 года сменился начальник СЛОНа: вместо Эйхманса Зарин и считается, что установилась эра новой соловецкой законности... Впрочем, и Зарин был скоро снят — за либерализм. (И, кажется, 10 лет получил)».

Тут и в чинах, и в датах, и в событиях многое спутано. Начальником Соловецких лагерей — УСЛОНа — с весны 1929 года, а, может, и несколько ранее, вместо Эйхманса был опять Ногтев, а его помощником Мартинелли. Они вдвоем вертелись при свите Горького в июне 29-го года. Ни с Ногтева, ни с Эйхманса за 1929 год и за расстрел сорока или «300» не упал ни один волос. Эйхманса, будто бы, расстреляли позже не то на Новой Земле, не то на Вайгаче, а за что — точно неизвестно (Ширяев, стр. 42).

Зарин, Владимир Егорович, никогда не был даже заместителем начальника УСЛОНа. С конца 1928 г. и до весны 1930 г. он известен, как начальник первого отделения СЛОНа, вскоре переименованного в четвертое, т.е. всех лагерных «точек» на Соловецком архипелаге. При Зарине тоже дрыновали, может, чуточку меньше и не на глазах, так что зачислять его в пострадавшие «за либерализм» нет оснований. За голодную смерть сектантов на Малом Заяцком острове, если она произошла в 1930 году, как передали Солженицыну, Зарин даже

косвенно отвечать не может. Его тогда не было на Соловках. Начальствовал там уже другой — Д. Успенский. Зарин просто стал козлом отпущения за отмененный курс на дрын весною 1930 года, а не осенью 29-го. Его помощника и начальника кремля Петра Головкина, пьянчугу и большого мерзавца с партбилетом, не арестовали, как ошибочно сообщает Никонов, а перевели на материк начальником Мурманского отдельного пункта (Киселев, стр. 166). Следовательно, оба они к расстрелу «300» отношения тоже не имели.

Успенский, с весны 1930 года вступивший в управление Соловками, до этого был там, окончив срок, начальником адм-части, потом КВЧ. Это он в новом качестве еще не успев все взвесить и взглянуть вперед, носился по островным командировкам, наводя порядок, и, в частности, кричал на Карлушу Туомайнена в его Пушхозе: — «Это позор! У вас лисицы и собаки едят лучше, чем заключенные. Я не потерплю такого безобразия!» (Никонов, стр. 233).

Осенью того же года Успенский уже «прозрел», о чем узнаете в главе о духовенстве (о расстреле «христосиков»). Осенью 1931 г. или весною 1932 г. его перевели на ББК. Там о нем, как начальнике Белбалтлага, говорили, как о «Соловецком Бонапарте, чрезвычайно властном, очень умном и совершенно беспощадном.. об администраторе, который делает свою карьеру изо всех сил, своих и чужих» (Солоневич, РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ). Несмотря на ум, Солоневич облапошил Успенского, втянув его в «лагерную спартакиаду» с тем, чтобы через нее создать условия себе, брату и сыну для побега в Финляндию. И преуспел!

Успенского я видел с группой «приближенных» на Соловках осенью 1931 года всего лишь раз на полотне разбираемой узкоколейки и он, по моему, вполне отвечал приведенной выше характеристике. Лично мне встреча эта принесла пользу. Успенский поинтересовался, почему я, табельщик, в теплый день в валенках и, взглянув на раны от наружного ревматизма — последствия сплава — сказал одному из «свиты» от его имени написать распоряжение лекпому, чтобы вылечил меня и об исполнении донес. И что вы думаете? — мази помогли.

Успенского на Соловках сменил Солодухин, Солодухина с 1933 года — И. И. Пономарев; Ногтева в УСЛОНЕ — Сенкевич из Севлага.

Все перечисленные начальники, худые или такие, что «и черта не стоят», не имели прямого отношения к «Соловецкому заговору» и к расстрелу «300» и вообще к делам подобного рода, как ВЦИК или ЦИК СССР к делам политбюро и

Лубянки в политических процессах. Они могли загнать в гроб, если хотели, непосильной работой, штрафным пайком, карцером, но «заговоры», следствия, приговоры и пули в затылок в их функции не входили. Для этого было «ГПУ внутри ГПУ» — информационно-следственные части в отделениях и отделы или Третий отдел — для целого лагеря. Только они делали политику в лагере и могли по заказу Лубянки или по личной инициативе сфабриковать с помощью провокаторов и стукачей всякие фальшивки, вроде «Соловецкого заговора» из тех же соображений и теми же методами, какими создавались всякие «промпартии», «шахтинские вредители», «заговоры обкомовцев», — им же несть числа!

Из фабрикаторов «Соловецкого заговора» нам досталось узнать лишь две фамилии, да и то не от летописцев из заключенных, а от работника этих «органов» — Киселева, почему-то ни словом не обмолвившегося о нем, хотя в тот год он служил в соловецком ИСЧ и всю подноготную «заговора» знал несомненно. Эти двое — Борисов и Расщупкин, а до них — Вальденберг из Минского ГПУ. Борисов был начальником ИСО на Соловках и жил на том же хуторе Горка, где и Эйхманс.* С Соловков он переехал в Кемь, а оттуда в ББК. Вторым был Расщупкин Николай Иванович, пом. начальника ИСЧ соловецкого отделения, а в ноябре 1929 года уже помощник начальника ИСО всех соловецких лагерей в Кеми. Возможно, к «заговору» приложил руку и Полозов, начальник ИСЧ в 1928 г., если он оставался там и в двадцать девятом. Какую-то роль сыграл и Дарвин, упоминаемый Никоновым, как лицо, которому выдали «заговор», да еще следователь ИСО Залкинд. Как видите, набралось всего несколько строк, явно недостаточных для обоснованного обвинения 3-го отдела — ИСО. Но кого же иного обвинять? Зарина? Эйхманса? Ногтева? Тогда зачем существует ИСО? Почему только у него сейфы, только у него

*) Солженицын передает (стр. 52), будто «Эйхманс выстроил себе приполярную виллу». Эта «вилла» была построена почти сто лет назад как летняя резиденция архимандритов и стала называться хутор Горка. В альбоме «Виды Соловецкого м-ря», изданном в 1884 году, он изображен таким же, каков сейчас. Тут были не только парники и оранжереи, но еще задолго до СОКа, с шестидесятых годов 19 века одновременно велась работа по акклиматизации некоторых садовых и огородных культур. Все это описано Богуславским на пяти страницах в главе ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ХУТОРА ГОРКА. «В двадцатых годах — пишет он — здесь размещалось руководство слон».

стукачи, только у него доносы на Ногтева, Эйхманса, Зарина? Может быть, найдутся более сведущие лица и подробнее и убедительнее, чем я, изложат эту важную тему? А мне пора после Альбрехта перейти к Максиму Горькому.

**

20 июня 1929 г. на соловецкий берег сошел Буревестник. По всем свидетельствам соловчан, от него ожидали больше, чем от амнистий и разгрузок. Ждали-пождали, кукиш выждали, прочитав в «Известиях» (№ 253 от 1 ноября 1929 г.) отрывок из его очерки «Соловки». Некий партийный П. Мороз, в то время, очевидно, шишка не малая, через четверть века в «Социалистическом Вестнике» за 1954 год вспоминает, что на его вопрос: — Как вы могли допустить появление в печати в таком виде вашей статьи о Соловках? Горький ответил: — «В ней карандаш редактора не коснулся только моей подписи, все остальное совершенно противоположно тому, что я писал и неизнаваемо».

Весь очерк о Соловках под руками, напечатанный в полных собраниях его сочинений в главе «По Союзу Советов» (стр. 202-236, из-во «Наука», 1974 г.) и в журнале Горького «Наши достижения» № 5 и 6 за сентябрь-декабрь 1929 г. Тут уже Горькому прятаться за чужой карандаш не приходится: сам писал, сам редактировал, сам корректуру просматривал и сам главный редактор журнала. Об этом очерке мы сейчас и поговорим.

Из 34 страниц, собственно концлагерю и заключенным Горький отвел меньше половины, а из этой половины три четверти — уголовникам. А все, что он написал о каэрах, уместится на одной странице. Выпишем же все, что о них сказано Горьким в разных местах очерка.

«Подавляющее большинство островитян — уголовные, а «политические» — это контрреволюционеры эмоционального типа, «монархисты», те, кого до революции именовали «черной сотней». Есть в их среде сторонники террора, «экономические шпионы», «вредители», вообще «худая трава», которую «из поля вон» выбрасывает справедливая рука истории... Партийных людей, за исключением наказанных коммунистов, на острове нет, эсеры, меньшевики переведены куда-то... В верхнем этаже (женского) общежития, должно быть, сосредоточены женщины, работающие «по линии культуры»: в театре, музее. Мне сказали, что большинство их контрреволюционерки, есть и осужденные за шпионаж... На торфе работает немало женщин в серых халатах, они же неподалеку ворошат сено, но

одетые «в свое»... Людей, которые, отбыв срок, остались на острове и влюбленные в свое дело, работают «за совесть», я видел несколько... Гордость своим трудом чувствуется у заведующего кожевенным заводом: он бывший заключенный... Заведующий Пушхозом тоже бывший заключенный и тоже «схвачен делом за сердце». Зверей своих трогательно любит... Сумел приручить даже лису... Особенно значительным показался мне заведующий сельским хозяйством и опытной станцией. Он уверен, что Соловки могут жить своим хлебом... Говорит: нет плохой земли, есть плохие агрономы (Читал, значит, речь Сталина: «Нет плохих заводов, есть плохие руководители». М.Р.). Переписывается с профессором Палладиным и Н. И. Вавиловым. Разводит огурцы, выращивает розы, изучает вредителей растений. Показал конский завод, стадо отличных коров. Первый раз видел я конюшни и коровник, содержимые в такой чистоте... Ленинградская молочная ферма гораздо грязнее... Похвалили мне заведующего конским заводом, бывшего офицера Колчака. Показывая лошадей, он о каждой говорит так подробно и напористо, точно хотел добиться, чтобы лошадь поблагодарила за то, что она такова... Молочным хозяйством заведует старый священник, кажется, протоиерей... На бородатом лице его сосредоточенно светятся под серыми бровями глаза человека, который явно остановился где-то очень далеко от людей и едва видит их такими, как они есть... Он живет тут же, рядом с лабораторией, в маленькой комнатке; в ней много икон, горит лампада, на столе — несколько церковных старопечатных книг, а у стола — постель; в общем это — типичная келья монаха. «Знающий человек, хорошо работает» — говорят мне».

Вот и все, что Горький рассказал о каэрах, объединив их всех в «черную сотню». О том, как и чем живут не только «черная сотня», но и все остальные заключенные от Горького мы не узнали. Он даже не обмолвился о самом главом: о пище, о работе, о лесе, не говоря уже о лагерном режиме. То, что больше всего в конце прошлого века интересовало Чехова и Дорошевича на Сахалине, а еще раньше американского журналиста Джорджа Кеннана в сибирских тюрьмах и на каторге — о том про Соловки Горький и не заикнулся. Когда те сами пробовали из котлов пищу и хлеб и, описывая быт арестантов не боялись и не скрывали многих отрицательных и порою даже возмутительных сторон сахалинской каторги и совсем не восторгались окружающей остроги природой, Горький (а за ним вскоре и Пришвин) пользуется всяkim поводом подменить очерк о Соловецком концлагере описанием природных красот

острова, даже с высоты маяка над Секиркой. Стоны оттуда, из штрафизолятора, до него не дошли, но сердце Горького готово выскочить от расстилающейся внизу прекрасной панорамы озер и лесов. О природе Соловков не хуже Горького писал и Василий Немирович-Данченко в 1875 году, но он вникал и в жизнь монастыря, монахов, богомольцев, трудников, отмечая отрицательное и похвальное. У Горького и природа прекрасна, и концлагеря на Соловках как будто и нет. Читаешь и чувствуешь, как Горькому до горечи не хотелось касаться нутра советских Соловков, как он старался свалить с себя моральную ответственность за свою ложь, оговариваясь: «слыхал... мне сказали... говорили», или отвлекая читателя от настоящего в давнее прошлое монастыря, о чем будет речь дальше. Сейчас же, пока свежа память читателя, дадим некоторые пояснения к только что приведенным выпискам из очерка.

1. Об эсерах и меньшевиках. Бедный, несведущий Горький. Не слыхал и не знал, что их в 1925 году развезли с острова по политизоляторам, о чем ему мог подробно рассказать каждый москвич, а тем более — первая жена Горького — уполномоченная Красного Креста. А про «эмоционального типа контрреволюционеров» — тут даже и не знаешь, что возвратить, так это все для нас, соловчан, звучит наивно, фальшиво, глупо, просто — подло!

2. О женщинах на втором этаже. «МНЕ СКАЗАЛИ», что контрреволюционерки, «ДОЛЖНО БЫТЬ» работают в театре и музее. И все. Неужели у него не было даже простого любопытства писателя взглянуть, как они живут, чем дышат, на что жалуются?

3. О заведующем сельским хозяйством. Кто это? Да Лавровский, Д.Г., бывший коммунист, он же зав. агрономическим кабинетом СОКа, отсидевший два года и теперь вольнонанесный, чтобы опять не попасть на Соловки арестантом (Никонов, стр. 133) Кстати, насчет огурцов и роз. В главе «Иеромонах-огородник» Немирович-Данченко (стр. 233, 234) рассказывает про огороды монастыря в 1872 году: «Горбатый, колченогий монах с тремя даровыми работниками (трудники, по обету, голодники. М.Р.) деятельно трудился над грядами. Тут росли: лук, капуста, картофель, огурцы, морковь, редька... — У нас еще в Макарьевской и Савватьевской пустынях огороды есть, — пояснил нам монах: — арбузы, дыни, персики и разную нежную ягоду в теплицах разводим, потому что краснобаев у нас мало, зато работников да знающих людей много... Одначе, и Господь помогает, потому у нас хозяева угодные Ему — Зосима и Савватий».

Тот Немирович побывал и в Муксальме: — «Въехали на зеленеющую, покрытую пастищами Муксальму. При нас на мост вошло целое стадо превосходных коров и телят, — всего штук двести. Их отправляли пастьись на свежие луга». Быков не было. Их, оказывается, с весны выгоняют в лес на «самообслуживание», а осенью, полуодичавших, ловят. Осмотрев конюшни и коровник, описывая рациональное ведение хозяйства, писатель восклицает: «— Не знаешь, чему удивляться! Те же крестьяне в Соловках по любви к порядку напоминают чистокровных немцев».

4. О заведующем Пушхозом — питомнике по разведению лисиц, соболей, песцов и кроликов. Это Туомайнен, Карл Густавович, Карлуша, как его нежно за глаза называли подчиненные, был видным финским коммунистом, но на чем-то «подзашел» и, получив три года Соловков, начал их кучером Эйхманса. Срок кончился, и Карлуша остался вольным директором своего детища-Пушхоза. Есть даже снимок Горького с Туомайненом. Работавшие у него соловчане не изнывали на работе и голода не испытывали (Никонов).

5. Заведующий конским заводом — колчаковский офицер. Так это же «Осоргин-кавалерист и ярый лошадник», спавший по соседству с Никоновым (стр. 177). Солженицын дополняет: «Георгий Михайлович, назначенный к расстрелу и упросивший начальство отсрочить приговор на три дня, пока жена, приехавшая на свидание, не уедет. Когда пароход с женой отходил от пристани, Осоргин уже раздевался к расстрелу». (стр. 42, 43). Она и рассказала все это Солженицыну, очевидно, со слов кого-то из освободившихся соловчан. Сама она знать этого не могла. Осоргина знал Никонов летом 1929 г., т.е. когда лишь редкие соловчане верили в то, что «соловецкий режим еще не стянулся панцырем системы», что «воздух Соловков странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти еще добродушным непониманием: к чему это все идет...». Режим к 1929 году достаточно стянулся, и то, что отнесено Солженицыным к Осоргину, было возможным в 1924-м, даже в 1926-м годах, в чем убеждаешься, читая «Неугасимую лампаду» Ширяева, в частности о расстреле Тельнова. Если Осоргина и расстреляли, то лишь после Горького, осенью 1929 года, присоединив его к «Соловецкому заговору». ИСЧ никогда не считалась ни с должностями, ни с производственной ценностью заключенных для лагеря.

6. О священнике и его «кельи». Глаза лезут на лоб от такого «репортажа». Ну и ну! И лампада, и старопечатные церковные книги, и много икон. Где, когда, кто на Соловках

слыхал про подобное для духовенства? Для такой оказии, как заранее известный визит Горького, все это могли выдать из музея в кремле, а священнику пригрозить: попробуй только пикнуть!.. понял? А, возможно, что и священник был подставной. «Артистов» на Соловках хватало с избытком. Было, правда, время — с 1924 по лето 1928 года, когда духовенству разрешали сохранять рясы, бороды, длинные волосы, какой-нибудь требник, псалтырь или евангелие, но ни иконы, ни лампады не допускались. Об этом подробнее в главе о духовенстве. Горький даже не поинтересовался откуда этот священник, за что и на сколько лет осужден и привез ли «обстановку» кельи из дома или достал ее тут, как и у кого.

Но вот Буревестник подошел к концу очерка, к странице 234. Надо же как-то «закругляться», привести показанное ему к одному знаменателю. Оттолкнув Достоевского с его «Мертвым домом» и Якубовича-Мельшина с его «Миром отверженных» (и как бы забыв про Чехова) потому, что, мол, «здесь (на Соловках. М.Р.) жизнью трудящихся (заключенных. М.Р.) руководят рабочие люди (т.е. вольные и ссыльные чекисты и гепеушники. М.Р.), которые, де, сами недавно были отверженными», Горький суммирует свой визит: (Разрядка моя)

«**ОТТОГО ОНИ (чекисты. М.Р.) НЕ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ К «ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ» (т.е. к шпане, уголовникам. М.Р.) ТАК СУРОВО И БЕСПОЩАДНО, КАК ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ КЛАССОВЫМ ИНСТИНКТИВНЫМ ВРАГАМ, КОТОРЫХ — ОНИ ЗНАЮТ — НЕ ПЕРЕВОСПИТАЕШЬ. И ВРАГИ ОЧЕНЬ УСЕРДНО УБЕЖДАЮТ ИХ В ЭТОМ».**

Тут сказано уже сильнее, нежели в набившей нам оскомину и примелькавшейся в газетах фразе: «Если враг не сдается — его уничтожают». Тут звучит совсем свирепо: «Уничтожай и сдавшихся!», «Вспарывай кишки и лежачему!». Горький открыто говорит, что «их не перевоспитаешь» и поневоле, мол, чекисты должны к ним относиться сурово и беспощадно. Следовательно, Горький все-таки знал подлинные условия каэров, наслушался про ужасы от топографа Ризабелли (Никонов, стр. 179), вычитал из записок, насыщенных ему в карманы в курилке соловецкого театра (Андреев, стр. 78), от мальчишки-правдолюбца (Солженицын, стр. 60, 61), от зазвавших его в свою колонию малолеток, чтобы рассказать ему об ужасах (Олехнович, стр. 112-115). Но включить это узнанное от них в свой очерк не хотел, да и знал, что тогда очерк света не увидит, да и сам он света не взвидит... Не за тем его послали на Соловки. А сверх того, Горький уже понял, что шире порток не шагнешь и лучше гнуться, чем переломиться.

Все это очень наглядно раскрывается им самим в описании возвращения на лодке из Пушхоза:

«Рядом со мной сидит человек из породы революционеров-большевиков старого несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу, и мне хотелось бы сказать ему о моем уважении к людям его типа, о симпатии лично к нему. Он, вероятно, отнесся бы к такому «излиянию чувств» недоуменно, оценил бы это как излишнюю и, пожалуй, смешную сентиментальность».

Так почему же не сказать читателю, кто был этим кристально благородным лицом, хотя бы его фамилию? К счастью, в издательском пояснении к очерку на странице 592 прочли, что «человек из породы революционеров» —

«Вероятно, имеется в виду Г. И. Бокий (1879-1941), член коммунистической партии с 1900 года, в 1917-1918 гг. секретарь Петроградского комитета РСДРП(б), а затем председатель Петроградской ЧК; с 1921 г. — ответственный работник ВЧК, член коллегии ОГПУ-НКВД, — Г. И. Бокий сопровождал Горького на Соловки».

Надо бы добавить для полноты картины: «арестован органами гос. безопасности, умер в заключении в 1941 г., посмертно реабилитирован». Но Горький сообразил, что лучше утаить его фамилию, чтобы не компрометировать себя: ехал,де, писатель-гуманист с чекистом-наставником, начальником всех лагерей. Как курьез и «парашу» можно добавить, что Пидгайный в своей книге на английском (стр. 220) внес Глеба Бокийя на мемориальную доску умерших героев на Красной площади в Москве уже в 1933 году, передавая рассказ лагерного старожила Митроши.

Значительно шире и развязаннее, чем о концлагере, Горький расписывает про монастырь, точнее — о монастырях и монахах, используя для этого, как предлог, двух монахов-инструкторов, одного в пути с ним на Соловки, другого — в пути с Соловков, не брезгая таким отвратительным и подлым способом, как спаивание их. (Не слыхали мы, чтобы монахов, хотя и вольнонаемных, выпускали с острова для прогулок в Кемь, но для Горького могли сделать исключение и выделить двух наиболее подходящих.) Все же ничего позорного для своего монашеского звания Горький от них не добился: «Начальство хочет, чтобы все работали. Мы работаем. Начальство нас понимает».

«Монах — пишет Буревестник — хорошо покушал колбасы, ветчины, выпил еще водки... но красноречия не прибавилось у него».

Это был, как следует из описания Горького, Ириарх, тот самый, кто в конце прошлого и в начале этого века за 12 лет соорудил судоходную систему, по которой транспортировались грузы. «Руководил строительством — отмечает Богуславский — монах Ириарх, гидротехник-самоучка, обладавший, повидимому, недюжинными инженерными способностями. Он жил на Соловках еще в 1920-ые годы. По этой системе, усовершенствованной СЛОНОМ, курсировали его грузовые катера «Чайка» и «Озерный» от Святого озера до Перт-озера.* Но Ириарх не только гидротехник, он и «реставратор разрушенных пожаром 1923 года зданий в кремле» за что, по словам Горького, он получает 60 рублей в месяц на всем готовом. Вот как описывает его Горький:

«Ириарх толще, сытее первого монаха, солиднее его. Глазки у него маленькие, кабаны, и на женщин он смотрит внимательно тем «центральным взглядом», который сразу обличает в человеке склонность к смертельному греху любострастия. Ему уже за шестьдесят, но недавно он выразил желание жениться. «Братия» пригрозила: не будем пускать в церковь. Убоясь отлучения, он решил: нельзя одну запрягать — на перекладных поеду».

Вот, оказывается, что сердцу Буревестника мило: покопаться в чужом грязном белье, поискать в нем гнид и вшей. Нечего сказать: достойное занятие литературного патриарха-гуманиста! И тут же вслед он приводит два заявления монахов от 22 июня. В первом — одиннадцать фамилий плюс «и прочие», во втором пять «и прочие». Оба заявления на имя начальника Соловецких лагерей ОГПУ одинаково начинаются так:

Покорнейшее заявление

Припадая к вашим столам мы, монахи быв. Соловецкого монастыря, в виду приближения праздника Пресвятой Троицы, который, как двунадесятый, по старо-христианскому и церковным обычаям и канонам не может быть без виноизлияния — просим вас разрешить выдать нам для распития и услаждения 20 литров водки (от одиннадцати. М.Р.) и 8 литров (от пяти. М.Р.).

Опровергать тут нечего, а вот добавить надо, что Горький ломится в открытую дверь. Известно, что за трапезой в монастырях по большим праздникам разносили вино. Горький,

*) Эта водная артерия из семи озер не входит в «питьевую систему» из 78 озер, начатую еще в середине шестнадцатого века и сохранившуюся в исправности доныне.

видно, не читал книгу «Соловки» доктора П. Ф. Федорова, изданную в Кронштадте в 1889 году. Там прямо сказано: «Вина официально потребляется в год от 4 до 8 сорокаведерных бочек в год за 1100 рублей», т.е. от 3200 до 6400 бутылок на 1000-1200 монашествующих, трудников и нанятых, считая монастырь, его Архангельское подворье, Сумский посад и занятых добычей зверя и рыбы на монастырских шхунах. Были, понятно, и такие монахи, кому положенная чара только прибавляла охоты и они тем или иным путем добывали «зеленого змия». Осторожным сходило с рук, а кто терял контроль над собой шли на «Секирку для монахов» — их отправляли на Анзер, в Голгофский скит, где в поте лица своего они искупляли грех чрезмерного «возлияния».

Туда же на Голгофу, но это были редкие случаи и про них в дореволюционной литературе о Соловецком монастыре сказано мало, отправляли монахов «за прелюбодеяния». Этот всемирный грех Горький прямо-таки смахивает, уже не ограничиваясь одними Соловки:

«Труды и молитвы монашества нимало не мешали ему дополнять «Декамерон» и нигде не слыхал я таких жирных... рассказов о «науке любви», как в монастырях... Эти «стражи гречного мира», боясь Бога, не жалели людей и очень выгодно для обители меняли свой кусок хлеба на труд бездомных бродяг, на ласки обессиленных, ошеломленных горем жизни деревенских баб, «странниц по обету».

Тут что ни фраза, то оголтелый поклён на Соловки. Немирович-Данченко писал о трудниках по обету, о богомольцах-крестьянах. А про «бездомных бродят» ни в его книге, ни в книге Федорова, ни даже в «Колобке» Пришвина нет и помину. И уже совсем оплевывает себя Горький, вписывая такую придуманную им гнусь, будто монахи «меняли свой кусок хлеба на ласки деревенских баб-странниц». Это наши-то матери-крестьянки, в лаптях отмеривавшие на воде и хлебе сотни верст, чтобы выплакаться у читых ими святых, добравшись до Соловков ложились под монахов! Господи, до чего опоганил свое перо и самого себя этот гуманист! Во всех упомянутых книгах о Соловках только у Немировича-Данченко встречаем некую «меланхолическую деву с флюсом», которую едва-едва вытuriвают с лестницы к архимандриту. — Он — поясняет автору благочинный — страсть не любит, ежели у него на лестнице бабье торчит (стр. 283). За краткое пребывание в монастыре сия дева до того успела надоесть монахам, что те бегали от нее, как от чумы. Не оставила она в покое и моего проводника, — продолжает автор:

«Изыде, сатана! Да воскреснет Бог и расточатся врази его! — ожесточился благочестивый монах... Иди вон, что смущаешь крещеную душу? Я ведь тебя не трогаю. Поверите ли, отбиться от нее нельзя. Так лезём и лезет... Вчера к монаху одному в келью забралась, едва ее оттуда выгнали — неймется... Страсть, как в них любопытство свирепствует. На Афоне лучше. Там их совсем не пущают».

— Говорят — спросил монахов автор — кемлянок вы особенно не любите и под замок их сажаете?

«Правда, потому развратные они... Сто бесов в каждой сидит. Они грешить сюда ездят... Сколько этих случаев было — и не перечесть! Теперь только явится из Кеми лодка, приехавших на ней богомольцев — в гостиницу, а кемлянок-гребщиц в другое место и на замок, потому им воли нельзя дать. Дай — они сейчас в наши поля и леса, и давай смущать грешные души. А как убережешься, когда они сами лезут. Сколько про нашу святую обитель из-за них дурной славы пошло... И такие ли бабы бесстыдные. Запрещь их-они в окна уйдут, а то и дверь сломают... А кто из наших провинится, эпитимию и послушание тяжкое наложим... Если неисправим — ступай вон из монастыря». (стр. 319, 320)

В Соловецком монастыре летом ведь не десять человек, а с богомольцами и обетниками-годовиками тысячи. Такая «охотница» из Кеми всегда найдет себе добычу, но они не странницы по обету, не ошеломленные горем крестьянки-богомолки. Это их «промысел», и тоже не от веселой жизни, и едва ли похвально за него чернить всю обитель и отвлекать читателя от соловецких ужасов, скрывать их за болтологией о декамеронщине.

Можно было бы многое добавить к сказанному о Горьком на Соловках, пользуясь его же очерком, но размеры книги не позволяют этого. Был он и в театре, битком набитом, застенчиво поклонившись на аплодисменты веривших в него соловчан. «На концерт были допущены только чекисты и стукачи. Ни одного рядового заключенного там не было», — пишет на 187 странице Киселев. Семьсот чекистов и стукачей в кремле!? Ври, Киселев, да знай же меру! Вот песню, спетую Горькому в театре мы возьмем от Киселева полностью:

Мы заключенные страны свободной,
Где нет мучений, пыток нет.
Нас не карают, а исправляют, —
Это не тайна и не секрет.

Хотя и за проступки сослали нас сюда,
Но все же мы имеем большие права:
Газеты получаем, газеты издаем,
Спектакли мы ставим и песни поем.

Уже по «стилю» видно, что лагерные песенники и поэты типа Ширяева, Глубоковского и других к этому «творчеству» не причастны. Жутким диссонансом звучали эти вирши после «Весенних вод» Рахманинова.

Ночь Горький провел в казарме молодых преступников с Погребинским, набиравшем в свою Большевскую коммуну уголовников, прислушиваясь к их беседе, изложив ее серо, скучно, неубедительно. Она-то и опубликована в «Известиях» от 1 ноября в Литературной странице. Никакого мальчишки-правдолюбца, воспетого Солженицыным, словно бы и не было. Плоско острит в очерке по поводу заметки в эмигрантской газете «о бегстве с Соловков... отойдя 26 километров от места работы», утверждая, что по размерам острова «отойдя на 26 км.» беглецы очутились бы в море, словно за границей и в СССР не знали, что под Соловками понимают уже не остров только, как в 1923-1925 годах, а полкарелии и весь Кольский полуостров. Впечатление от всего очерка такое, какое высказал сам Горький о стиле и содержании книги настоятеля Мелетия «Историческое описание Соловецкого монастыря»: «КРАСНО ГЛАГОЛЯЙ — ЛЖУ ГЛАГОЛЕШЬ»...*

Почему надо было лгать, сам он не сказал, я, может быть, выразился косноязычно, зато толково объяснено в редакционном примечании:

«Работа над очерком связана с обострением международной обстановки и массированной идеологической атакой империализма на Советский Союз, усилившейся в 1929 г. клеветнической кампанией ряда буржуазных стран и Ватикана. Именно 1929 г. дал еще один «поворот» для усиления международных антисоветских акций, для обвинений «в ужасах чека», пре-

*) В особом томе, где день за днем описана жизнь Горького, есть упоминание, что в «Известиях» № 147 от 1 июля 1929 г. напечатан его очерк о Соловках. Первое июля падало на понедельник, а по понедельникам тогда ни «Известия», ни «Правда» не выходили. Но номер 147 вышел в воскресенье 30 июня и тоже без очерка. Не нашли очерка, перелистив «Известия» за четыре месяца. Возможно, что очерк Горького опубликован в какой-нибудь другой газете или с ним в «Известиях» выкинули некий трюк.

следований религии в СССР; в этом году исполнялось 500 лет со дня основания Соловецкого монастыря, упраздненного Октябрьской революцией. Превращение «святой обители» в лагерь особого назначения... давало пищу для контрреволюционной и религиозной демагогии. Соловки становились... точкой опоры для буржуазной антисоветской пропаганды. Политическая чуткость Горького заставила его обратиться к Соловкам, чтобы разоблачить клеветников. Но вместе с решением этой политической задачи, Соловки привлекали писателя-гуманиста как чрезвычайно интересный для него опыт массовой перековки вчерашних преступников».

Своим очерком Горький разоблачил как клеветника самого себя, а не заграницу. Никакого «опыта перековки» на Соловках он не нашел, не отметил в очерке, да его и не было, ограничившись из-за того общими рассуждениями на эту тему, пустым словоблудием.

Солженицын на стр. 61-й приводит такой отзыв Горького о чекистах в «Книге отзывов», опубликованный в журнале «Соловецкие острова» номер 1-й за 1929 год, но отсутствующий в собрании его сочинений:

«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры».

И ведь рука не дрожала, кровь не бросилась в лицо у «литературного патриарха», вписывая эти позорные-позорные на каждой строчке! — слова, вплоть до кощунственного признания чекистов «смелыми творцами культуры». По этим строчкам не гулял карандаш редактора, Глеб Бокий не стоял рядом со взвешенным курком, угрожая: — Ну же, славословь, или..!

После такого гадкого падения «былого бунтаря, прирожденного оппозиционера», как-то не верится, что он будто бы не расчитал своей жизни и не успел вывезти за границу дневник, бичующий красных властелинов, в котором он Сталина сравнивал с блохой, силой пропаганды и гипноза страха увеличенной до невероятных размеров (Глеб Глинка: Дневник Горького, «Социалистический Вестник» за июль 1954 г.). Даже если бы и велся такой дневник и был опубликован при жизни или после смерти автора, он не сделал бы чести Горькому, как документ, изобличающий его в двурушничестве. Что простилось бы рядовому писателю, Горькому отплатилось бы презрением сторицей.

**

Михаил Михайлович Пришвин — единственный из писателей, побывавший на Соловках в разные эпохи монастыря: в июне 1903 года и в июле 1933, первый раз — не молиться, а поглазеть на богомольцев, монахов и, главное, на природу, как члену Императорского Географического общества, а вторично — тоже поглазеть на перемены, но не обмолвиться о том читателям.

Верный своему коньку — описывать природу и охоту, он, включенный в бригаду сталинских трубадуров, перед Соловками побывал на Беломорканале, но разящего пера Солженицына избежал. Пришвин, а с ним и Демьян Бедный изловчились смыться в Повенецкий Зверхоз Белбалтлага и там, пока Демьян чем-то хвастался перед вездесущими гепеушниками, Пришвин принял высыпать все, что мог из профессора Кондырева о жизни и поведении четвероногих в неволе за проволокой и в клетках. Когда же Кондырев намекнул на двухногих за проволокой, в частности о своем дутом деле, писатель только молча качал головой. Об этом визите больше узнаете из воспоминаний Никонова в «Красной каторге». (стр. 349). Он тогда в зверхозе этом заведывал крольчатником.

Перед войной, когда готовилось массовое награждение писателей побрякушками, Пришвин проведал, что ему отложили самый захудалый «Знак почета», а трепачу Михалкову — орден Ленина. Обиженный, он в писательском группом хотел узнать, нельзя ли отказаться от «великой милости» и не явиться в кремль за «почетом». Да он, наверное, и без советников понимал, чем бы закончился его протест. Пришлось к награде от Императорского Географического общества присоединить сталинскую. Об этом в НРСлове от 11 мая 1977 года рассказал живой свидетель писатель Родион Березов.

Пока мы не знаем, кто, почему и с какими наставлениями позволил или посоветовал Пришвину законно, хотя и без такого подобострастия и почета, какой оказали Максиму Горькому, сойти на «Адский остров». Нам досталось лишь то, что уже опубликовано, как «Письма другу» за номерами Главлита. Познакомимся сначала с повестью о Соловках 1903 года в книге «Колобок», при чем, перелистывая одно издание за другим (первое — в 1908 году) замечаешь, как умелой перестановкой слова или устраниением фразы, сразу вносится иной фон в повествование, более отвечающий духу дня...

Про святыни он вообще не обмолвился ни словом, да вряд ли и прикладывался к мощам соловецких святителей. Над рассказами о чудесах строителя скита на Анзере в душе и пером посмеивался. Удивлялся необразованности монахов и даже

строителей скитов — все какие-то бывшие возчики, буфетчики, лавочники, вот только настоятель Соловков еще туда — сюда: как и он член Императорского Географического общества, глядит выхоленным архиереем, а ведь был рыбаком-помором, и позволил Пришвину фотографировать все, что захочет.

Встретили Пришвина «по одежке». После скитаний по Северу, он вступил в монастырь «с заднего входа» — с острова Анзер, с беднейшими богомольцами, проехав на лодке восемьдесят верст с Летнего берега. Монахи подозрительно оглядывали и расспрашивали его и вместо отличного номера во втором этаже рядом с номером губернаторши, чья шляпка на диване распалила фантазию Пришвина, отвели его на третий этаж к семи купцам с купчихами опорожнить с ними самовар за самоваром. И только когда он переоделся в сюртучную пару, доставленную с берега, и побывал у настоятеля, монахи в гостинице всполошились: «Такой господин и на третьем этаже! «...и отвели ему номер рядом с губернаторшей, да на грех при ней был и сам губернатор: словить жар-птицу не удалось. И в трапезной как и в гостинице, Пришвин обнаружил деление на классы... Да, мало чем можно воспользоваться из его небольшого очерка о Соловках 1903 года в том разрезе, который нас интересует для сравнений и выводов.

Дьякон на Анзере посвящает его во все тамошние интриги во все мелочи.

«...И вдруг мне становится ясно, где я... я в маленьком глухом русском городке, населенном богатыми и бедными мужичками. И монахи — это те же своеобразно устроившиеся русские мужики.

— В миру, — отвечает мне дьякон, — люди проще, лучше. В миру что случится, горе там или что, — выпил, закусил и кончено...»

Не радуют Пришвина, как охотника, даже небоязливые лисицы, тетерки, куропатки, олени, зайцы; дерзкие, нахальные чайки, голуби и воробы расклевали в номере его пирог из хвоста семги. И кажется ему, что эти птицы и зверье тоже на жалованье у монастыря, тоже имеют свои домики где-то в лесу и за это обязаны показываться богомольцам. Попросил отвести его в лес поговорить с каким-нибудь подвижником, а, оказывается, теперь даже схимники могут жить в каменных домах. Такие ему неинтересны. Такие есть и в его

Александро-Невской лавре и незачем ездить на Соловки.*

Монахи Пришвина не понимают. Они чтут старых подвижников, но сами живут иначе. Со строителем Анзерского скита, отслужившего для него молебен, писатель быстро «сторговался» записать своих родителей не на вечное поминовение, а только на год.

«Пришел пароход, битком набитый странниками. Еще далеко с моря доносился с него отвратительный запах. Когда я увидел, сколько их набилось в пароходе, увидел эту грязь, это настоящее истязание людей... я ужаснулся. Но потом они вышли на берег. У них сияли лица. В это время они забыли все трудности пути, все горе... Эта простая народная вера меня волнует так же, как зелень лесов, так же, как природа в те моменты, когда увлечешься охотой.

«Земля обетованная»... Сейчас я понял, почему земля Соловецких островов называется в народе святою».

Но слово не воробей, особенно напечатанное. И долго еще в разных советских изданиях к этому крамольному слову СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ, ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ в разных вариациях привешивались охлаждающие добавления, им ли самим, цензурой ли, не знаем.

Последнее «Письмо другу», помеченное 12 июня 1903 года, начинается так:

«Монастырские чайки долго летят за нами. Потом одна за другой отстают, а вместе с ними отстает и тяжелое, мрачное

*) При Немировиче-Данченко в 1872 году, в год выхода «Капитала» Маркса по-русски, они тоже уже жили в каменных кельях кремля. Таких было двое и вот как он описывает встречу с ними:

«Выходя из больницы в коридор, мы наткнулись на полнейшее воплощение смерти. Это был схимник. Он только что вышел из собора и, едва передвигая ноги, брел домой. Весь в черных покровах, усеянных изображениями гробовых крестов и адамовых голов, в капюшоне... он производил крайне мрачное впечатление. Из под савана... глядели неподвижные, бесцветные глаза... не только без блеска, но и без взгляда... Медленно он прошел мимо нас, как показалась другая фигура... Только этот был еще ужаснее. Дайте мертвцу острый и холодный взгляд — и перед вами будет встреченный нами призрак. — Нет спасения... Геена огненная... Плачьте, скорбите, — бормотал он

— Помешанный! — шепнул нам монах
Мы выбежали вон... Воздуху, свету!» (стр. 292, 293)

чувство... И чем дальше от монастыря, тем лучше я себя чувствую».

Это он уезжал тогда в Лапландию, к кочевникам-лопарям.

Прошло тридцать лет. Закончив поездку по Белбалтканалу с братьями-писателями, Пришвин снова на Соловках. Не в гостинице рядом с губернаторшей — там уже давно управление лагеря, — а в домике, принадлежавшем раньше наместнику, на берегу бухты Благополучия, как раз против той самой гостиницы.

«...Против моего окна смотрится в воду Соловецкий кремль, но какой! Тут большой пожар (в конце лета 1932 г. на моих глазах. М.Р.) уничтожил почти все деревянные золоченые купола церквей, корпуса от тесно стоявших одна возле другой церквей сохранились, и благодаря этому кремль стал похож на какой-то фантастический город из арабских сказок. Я взбирался на самый верх Преображенского собора и только наверху, в развалинах, увидел несколько гнездящихся здесь знаменитых когда-то соловецких чаек. Некоторые мне говорили, будто чайка напугал пожар и они перелетели куда-то (а почему же их не напугал пожар 1923 года? М.Р.), другие — что их постепенно известили люди («известили люди»... — ишь, как выкручивается пером, чтобы не ляпнуть правду: да заключенные с голодухи переловили и поели их. М.Р.). Не могу сказать, чтобы я особенно о них горевал: я ведь люблю птиц диких, а монахи охраняли их! (Да и чекист Эйхманс, начальник СЛОНа, тоже охранял. Каждый заключенный знал его приказ: три месяца Секирки за убитую чайку, почему до 1932 года их было почти столько же, сколько при монахах. М.Р.), богомольцы раскорамили чаек своими пирогами (Да и от заключенных в кремле им тоже кое что переподало до тридцатых годов. М.Р.) и священные разжиревшие птицы ужасно орали и гадили. Тут в развалинах они снова одичали... И так было это хорошо, что я совсем забыл об изуродованных древностях.* К счастью моему, в деле охраны природы на Соловках сравнительно с прежним не только не убавилось, но даже и сильно прибавилось».

*) И — добавим — забыл о заключенных. Их там только в кремле было тогда несколько тысяч. Не заметил. Обошел их, как кот горячую кашу. Чайками нас отвлекает, как Буревестник — монашеской декамеронщиной. А за шестьдесят лет до Пришвина, в 1872 году Немирович-Данченко побывал и в монастырской тюрьме и нашел там всего четырех арестантов: двух — капитана и купца — за ересь, а

Тут Пришвин оседлал своего любимого конька и понес, и понес! И ондатра-то уже попадает в капканы на крыс, и соболей не меньше, чем в московском зверинце, и песцы живут на свободе, а о том, что все — дело рук заключенных — ни гуру! Во втором «Письме другу» от 15 июля снова достается монахам: им, видите ли, и в голову не приходили опыты с культурами. Видел он в Соловках у Полярного круга культуры картофеля, ржи, овса, даже пшеницы; из огородных — свеклу, морковь, огурцы, помидоры, цветную капусту:

«Монахи ничего этого не знали, потому что пришли с юга.

Оттуда они и получали плоды в обмен на молитву».

Да как же ты на старости лет, Михал Михалыч, сам оплеваешь свою бороду таким беспардонным враньем? Неужели так отрыгается прошлое твоих предков-староверов? Разве в первый приезд не видел монастырских огородов, не читал о них у Немировича-Данченко? Да и с юга монахов там было меньше, чем пальцев у человека.* И не к лицу малограмотным монахам заниматься сельско-хозяйственными опытами. Это

двух — «не в роде арестантов», сидят добровольно. Одному сто два года. Лет шестьдесят назад его посадили, забыли и лет через сорок вспомнили и выпустили, да запоздали: помешался. Он глупо и изумленно посмотрел на людей, на двор, на синее небо и возвратился в свою темницу. Всех забыл и всеми забытый. Его кормят, одевают и иногда водят в церковь. Это был, судя по описанию уже советского историка Г. Г. Фрумкина в его книге «Узники Соловецкого монастыря» (стр. 120), крестьянин Антон Дмитриев, присланный за оскопление себя и своего господина графа Головина, присидевший в монастыре 57 лет, с 1817-го по 1875 год. В 1865 году его освободили, и он остался в монастыре «не в роде арестанта». Умер 18 сентября 1875 г. на 102-м году жизни, т.е. вскоре после отъезда Немировича-Данченко. Другой «не в роде» — высокий, крепкий, красивый, с окладистой русой бородой. Это — петербургский палач, пожелавший по окончании договора постричься. Монахи приняли его с условием прежде несколько лет прожить в тюрьме, чтобы они присмотрелись к нему. Этот узник совершенно доволен своей судьбой. Замаливает старые грехи и верует в искупление... Из него выйдет хороший работник, а Соловкам, утверждает автор, ничего больше не надо (Стр. 265, 266).

*) Федоров в книге 1889 года сообщает: монашествующих 228, из них 168 из северных областей, не считая сибиряков и уральцев.

ГПУ вынуждено было, запрятав в Соловки всякую профессуру и специалистов, по разным соображениям, по возможности, использовать их с максимальной выгодой. Кремлевских башен, стен и соборов они бы не построили со своими надсмотрщиками. Их возвели «темные» монахи, трудившиеся вместе с приписными к монастырю поморами и карелами.

Пора бы понять, что ложь на коротких ножках. Неужели «маститому» она к лицу лишь потому, что строкой ниже он пишет:

«Меня совсем закормили. Каждое утро ко мне является культработник Чернаш с каким-нибудь специалистом и треугольник наш приходит в движение до самого вечера».

Почему бы сразу не пояснить читателю, что Чернаш — вольнонаемный инспектор культивспитчасти Соловецкого лагеря, а «какие-нибудь специалисты» — заключенные из Соловецкого общества краеведения, очевидно, натуралисты. Тратить бумагу, свое и читателей время на этот «треугольник», занятый, на «Адском острове пыток и смерти» только растениями, мошками и козявками — «там» — «есть тьма охотников, я не из их числа». Вс科尔ъ только отметим, что остров поднимается из моря за сто лет на 17 сантиметров (Ай-да открытие!) и что «зима на Соловках во много раз мягче зимы под Москвой». Тут как бы укор некоторым летописцам, чей термометр падает до 40 градусов ниже нуля. Впрочем, полураздетому и полуодному соловчанину и пятиградусный мороз в лесу страшнее трескучего для сытого и одетого. Еще вот, между строк, узнаем, что «натуралист, помогавший мне, очень страдал здесь от невозможности без большой лаборатории сделать свою магистерскую работу и потому стал замечательным соловецким краеведом». (Чем и сохраняет свою жизнь там. М.Р.).

Побывал вслед за Горьким на маяке над Секиркой и Пришвин, узревший оттуда «остров, как решето». Пробираясь туда на моторке по каналам от Святого озера, он пришел к мысли, что «выбор места древних колонизаторов края был сделан далеко не на основе аскетического истязания плоти». Читайте, значит, так: пять веков назад Герман, Зосима и Савватий искали не уединения для молитв и труда, а очаровательного и безлюдного угла природы. А для «истязания плоти» этот уголок природы полностью использовали большевики... да не своей плоти!

«Мне бы очень хотелось — размечтался Пришвин — чтобы в будущем здесь, в Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего Севера... В будущем доктора не станут всех посыпать на южные воды и виноград, а в ту природу, в

ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Вот тогда-то Соловки и делаются любимейшим островом здоровья для всего Севера».

Эти его мечты Богуславский особо выделил в своем описании послелагерных Соловков, но в отличие от Пришвина не раз и не два поясняет и напоминает, что с 1923 по 1940 год там был СЛОН, расшифровывая его в примечании, как «Соловецкий лагерь», опустив «Особого Назначения». Богуславский признает большую научную работу, проделанную СОКом и трудолюбие монахов, создавших стране такой исторический и архитектурный памятник. Он даже по фамилиям называет некоторых сотрудников СОКа из заключенных и их напечатанные на острове работы.

Богуславский писал в 1966 году, когда Соловки уже наводнились туристами и добровольцами — «рестовраторами», а Пришвин — в 1933 году, когда Соловки все еще пропитывались потом, слезами и кровью заключенных, о чем он умалчивает, хотя на его глазах из окна своего дома он не раз, конечно, наблюдал, как «Земля обетованная» поглощала новые этапы узников. Читая его «Письма другу» оттуда, невольно вспоминается крыловская басня:

«...В кунсткамере, мой друг!
Часа там три ходил.
Все видел, высмотрел, от удивленья...
...СЛОН, а? Слона-то я и не приметил»...

С каким чувством вторично покидал остров Пришвин, уже не провожаемый чайками, он не поделился с «другом». Но в самом начале первого письма есть загадочная, эзоповским языком сказанная фраза. Вспомнив первый приезд в Соловки «в милую древность с неприятным для меня запахом ладана и постного масла», он добавляет:

«Но теперь это прошлое совершенно прошло, и встреча с ним тяжела: хочется жизнь кончить песней о здравии, а родные древности требуют, чтобы ты слушал их заупокойную».

Не хотел ли он этим намекнуть, что запах ладана и постного масла сменился запахом трупного тления и крови?

Да, мало и не беспристрастно в 1903 году, и с оглядкой, умалчивая про главное в 1933 году, описал Соловки Пришвин, и этот грех останется темным пятном на его биографии, во всяком случае для тех, кто сидел на Соловках и их родственников. После Соловков, в том же 1933 году, в августе Пришвин снова навестил знакомый ему по 1903 году Кольский полуостров и сразу попал в район «ударных соловецких строек» — Нивастоя, Хибиногорска, Мончегорска, дорог, шахт, лагерей

и поселков ссыльных. Правда, тут не остров, которому посвящена книга, но все же стоит отметить несколько «ключевых» фраз из его писаний:

«Я узнал издали Ниву... глубоко взрытую землю и людей там бесчисленное множество... Бросалось в глаза разное положение рабочих: один сидит на экскаваторе... другой обыкновенной железной лопатой выгоняет свои кубометры... Береза тут, в Хибинской тундре, вырастает за 50 лет на 15 сантиметров, а человек в каменной пустыне в три года собирает города с электричеством, заводами, железными дорогами... И беспрерывные взрывы аммиака в горах доставляют мне удовольствие, и чем больше гремит, тем больше хочется, чтобы дальше сильнее гремело...».

Ведь не он, Пришвин, из-за страха голода и наказания оторванный от семьи долбит на морозе дырки для аммиака, взрывает его, строит, возит и «выгоняет свои кубометры». Пришвин хочет чужими руками, чужим потом и страданиями создать богатую и сильную родину и радуется ее успехам, отгоняя мысль о том, не в чрезмерную ли цену они обходятся. Пришвин отлично знал, что сюда, в хибинскую тундру пригнали десятки тысяч заключенных и ссыльных, а он-то приехал сам, добровольно, лишь посмотреть и повернуть пеплом. От Белблатлага как-то открутился, а теперь, в одиночном порядке и с охотой, не по нужде, восхваляет то же рабство на другом месте. К прискорбию, таких там много. Перо легче тачки. А попоробовали бы сами — запели бы иную песнь.

ГЛАВА 2

ДУХОВЕНСТВО И СЕКТАНТЫ

В ноябре 1925 года в Соловках содержалось более ста двадцати церковных людей, включая сюда 24 епископа и архиепископа, белое и черное духовенство (священники, игумены, архимандриты и др.), а также мирян, осужденных за участие в церковных делах. В 1926 и в 1927 годах на Соловки продолжали посыпать дополнительные партии осужденного духовенства, но все же численность этой группы соловчан никогда не превышала двух-трех процентов от общего числа заключенных на острове: одни убывали окончив срок, или шли в ссылку, других привозили им на смену. В скобках отметим, что по Зайцеву в 1925 г. в Соловках было до двухсот человек духовенства всех религий (стр. 96), по Клингеру на тот же год «до четырехсот представителей православного духовенства» (стр. 199), а по Ширяеву — до пятисот (стр. 389). Приведенную вначале цифру — более 120 церковных людей — называет протопресвитер М. Польский в 1-м томе «Новых мучеников российских» и она должна считаться вполне достоверной.

Смертность среди духовенства была незначительная. Летописцы упоминают лишь трех, умерших на Соловках: Петра Зверева, архиепископа Воронежского (умер 25 января 1929 г. М. Польский, т. 2-й, стр. 279), Петр, епископ Тамбовский (в секирном изоляторе в конце 1925 г., Клингер, стр. 190 и 200-я) и отец Никодим — «Утешительный поп», тоже на Секирке в начале весны (Ширяев, стр. 264). Два замерзших священника у Френкеля по Ширяеву — не в счет... Однако Солженицын (стр. 49) передает, будто на штрафной командировке на Анзере:

«В Голгофской церкви лежат и умирают от бескорыщи, от жестокостей — и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки».

Но подтверждения относительно священников у протопресвитера Польского не нашли, а он, сам соловчанин с весны 1924 года, всю жизнь собирал сведения о погибшем повсюду духовенстве: в лагерях, ссылках, убитых в храмах или на гла-зах семьи, расстрелянных или утопленных. В его «синодике» — в книгах и записях — сотни фамилий с указанием мест и

причин смерти и тысячи — общим счетом по губерниям.

В начале книги уже было сказано, что в ноябре 1925 г. 67 епископов, духовенства и мирян собрались в кремле и были сфотографированы соловецкой коммерческой «фотостудией». После 1926 г. такие групповые снимки не допускались, но общение между духовенством продолжалось. Так, в день отдания Пасхи, 7 июня 1926 года (М. Польский, т. 1-й, стр. 164):

«В продуктовом складе лагеря в кремле собрались по возможности все епископы на доклад заключенного профессора Московской Духовной Академии И. В. Попова и приняли, как бы на «малом соборе» так называемую в современной истории православия «Памятную записку соловецких епископов, представленную на усмотрение (советского) правительства». Совершенно неожиданно, в неурочное время — пишет отец протопресвитер, участник этого совещания, — лагерь стал осматривать сам начальник лагерей Эйхманс со своим штабом. Отец Питирим встретил его в складе и надеялся, что он не пойдет в комнату его и его сотрудников, где происходило заседание. Но начальник решительно подошел к дверям и открыл их. «Это что за собрание?» — У нас сегодня праздник, — ответил смущенно отец Питирим. Почему этот момент прошел благополучно, трудно сказать. Надо полагать, что начальство вообще было довольно порядком на складе и в то время заключенному духовенству позволялось иногда по праздникам ходить в кладбищенскую церковь св. Онуфрия, открытую для остатка монахов-специалистов... Потом эта поблажка была уничтожена, все монахи удалены из лагеря и храм закрыт». (В 1930 и в 1931 годах. М.Р.)

Это объяснение отца Польского, конечно, иными словами и дополнительными фактами подтверждают все летописцы двадцатых годов.

Прежде всего надо отметить, что духовенство никогда не играло на нервах лагерного начальства, ни в бараках, ни на разводах, ни на работе, беспрекословно выполняя приказанное. Ширяев (стр. 43, 44) поясняет:

«При Ногтеве (1923-1925) духовенство было рассеяно по самым тяжелым уголовным ротам. В силу необходимости, уже в правление Эйхманса, его сконцентрировали в шестой роте. До того времени на кухни и в продсклады назначались каторжане разных категорий (Зайцев: «...сначала чекисты, потом — уголовники») но все неизбежно проворовывались: голод — не тетка. Практичному Эйхмансу это надоело и духовенство приняло его предложение — взять все дело внутреннего снабже-

ния. Епископы стали к весам, дьяконы пошли месить тесто, престарелые — в сторожа. Кражи прекратились».

Зайцев подтверждает и дополняет:

После первых опытов, всех каптеров назначили из духовенства, при том из старшего. Так, епископ Глеб был назначен на Пертозеро, епископ Василий — на лесозаготовки и т.д.».

Даже многочисленная мелкая шпана осталась довольна такой заменой, ибо баланда с кухни стала погуще и сахар раздавался сухой. Ни мелкое начальство, ни блатари не могли уже нахально, в открытую лезть в каптерки и на кухни и брать «по потребности» и по выбору, как бывало прежде. С конца двадцатых годов, когда «франкелизация» производства потребовала повального учета, духовенство перешло на счетную работу в конторах, а в каптерки и ларьки поставили евреев.

Само духовенство, за исключением, может быть, одиночных случаев, голода не испытывало, т.к. родственники и прихожане обеспечивали их посылками и денежными переводами. (Седерхольм, стр. 331). Зато в первые два-три года духовенство переживало не менее тяжкие для него, чем голод, моральные муки от уголовников, вынужденное слушать их постоянную матерщину, похабные рассказы и песни, брань и драки.

«Чтобы умерить ревность скверносоловов — рассказывает Зайцев (стр. 97), духовенство иногда ...начинало подкармливать «шпанят», чтобы они лишь не ругались. Этот прием приводил к печальному массовому вымогательству».

После того, что мы узнали о духовенстве от отца Польского, Ширяева, Зайцева и Седерхольма, послушаем, что пишет о нем один из первых соловчан Клингер (стр. 199, 200):

«На Соловках в настоящее время (1925 г.) свыше 400 человек православного духовенства... Непередаваемый гнет, насилия, издевательства... с особенной силой обрушаются именно на головы заключенного духовенства. Им приходится выполнять наиболее трудные работы. С поразительным смирением, покорностью и выносливостью духовенство рубит лес, прокладывает дороги, чистит уборные, высушивает болота, разрабатывает торф. Каждым словом, каждым жестом любой соловецкий чекист старается задеть, оскорбить священников. В их присутствии администрация бранится с особым кощунством. Их пайки обкрадываются со всех сторон. В их среду администрация старается втесать побольше «стукачей». Чинятся всевозможные препятствия к получению духовенством из дома посылок и денег. Какие бы то ни было богослужения, конечно, совершенно исключаются. За желание перекреститься на работе

надзор бьет по рукам плетью... Выделяющийся среди духовенства архиепископ Иларион... больной старик (в 1925 г. ему было 40 лет. М.Р.) в сентябре 1925 г. чекистом Бариновым, начальником кремля, отправлен в штрафной изолятор, где и поныне, ежедневно ожидая смерти... Там же на Секирке скончался Тамбовский епископ Петр, но вполне возможно, что его задушили чекисты, как о том носились слухи».

В какой степени здесь сгущены темные краски Клингером, читатель может судить сам по первым страницам этой главы и по продолжению ее. А относительно архиепископа Илариона известно, что на Секирке он ни разу не был, здоровья завидного, телосложения богатырского, что подтверждают все летописцы, лично знавшие его. Клингер спутал Секирку с Ярославской тюрьмой, куда владыка был в 1925 г. временно вызван Тучковым, уполномоченным Совнаркома по церковным делам. Тучков расчитывал перетянуть Илариона к «Григорьевцам» или к «Живой церкви», но потерпел неудачу, результатом которой явились три года нового срока Илариону «за разглашение». В оправдание Клингера за явный «перехлест» можно привести две причины. Как первый соловчанин, он весь соловецкий режим описывает по событиям самого раннего периода концлагеря — по 1923 и 1924 годам — когда, действительно, и условия для всех соловчан были особо невыносимые, и произвол лагерных «капралов» бушевал безудержно во-всю и над всеми, но духовенства в то время на Соловках до весны 1924 г. — почти не было. Вторая, самая простая причина — личная ненависть к большевизму за свои страдания, хотя, в отношении Клингера, надо сказать, сам он на острове, видимо, чаще принадлежал к соловецкой «аристократии». Клингер читал личные формуляры заключенных и знал по фамилиям и по «делам» почти все соловецкое начальство и кратко, но едко описал его. Только Ширяев пытался находить положительные черточки в характере соловецких начальников. Такой неблагодарный труд был не по плечу остальным летописцам со ржавыми перьями и они излагали события по принципу чем хуже показать концлагерь, тем меньше останется сторонников большевизма, но все же часто оглядывались, как бы не пересолить сверх меры. «Добра соль, а переложишь — рот дерет»...

В положении Ивана Денисича, т.е. на общих работах, кругозор заключенного очень ограничен: кухня, десятник, нарядчик, барак, конвой, околодок, работа — вот и весь лагерный мир для него, если он не семи пядей во лбу, если он не с университетским образованием. Зайцев прибыл на остров за четыре месяца до отправки Клингера на материк. Он тоже

описывает жуткую обстановку на Соловках, особенно с размещением духовенства в соборе, в карантинной роте, но все же к фразе об отхожем месте прямо на полу в келье, где хранились вещи св. Зосимы, дает в сноске такую оговорку (стр. 56 и 82):

«Во имя справедливости следует отметить, что описываемое мною время относится ко второму году существования лагеря, когда не было сделано почти никаких переоборудований и приспособлений... В последнее время ГПУ развило весьма интенсивное строительство на Соловках для расширения лагеря. Перед моей ссылкой в тундру (осенью 1927 г. М.Р.) было закончено переоборудование всех соловецких построек. Так, все нежилые здания — храмы, часовни, склады и пр. приспособлены для тюремных нужд. Выстроены... кухни, хлебопекарни, уборные, торговые лавки и другие. В 1927 году спешно возводили тюремные казармы стандартного типа». («Рабочий городок» на юге за кремлем, рубленые бараки для Филимоновского пункта, карантинный городок на северо-запад от кремля, рубленые бараки на кирпичном заводе и др. М.Р.)

В те же дни, что и Зайцев, отбывал карантин более наблюдательный Седерхольм, и он так описывает духовенство (стр. 330, 331):

«Оно держится с большим достоинством и мужеством, не высказывая недовольства, на какую бы работу его не послали. Закончив карантин, духовенство получает должности счетоводов, конторщиков, библиотекарей и т.д. Духовенство ходит одетое сообразно сану, и при встрече с лицами более высокого сана подходит под благословение, а с равными обменивается троекратным поцелуем, — словом, не отступает от установленных для него правил. Случай смерти от голода или цынги едва ли заметны, т.к. многие священники получают в достатке продуктовые посылки от родных и прихожан. Церковная служба (в церкви св. Онуфрия М.Р.) разрешена духовенству лишь по субботам вечерами, после работы. Воскресных богослужений не бывает, т.к. на Соловках нет дней отдыха для заключенных и каждый из них занят от 5 ч. утра до 8 ч. вечера» (для 1925 г. М.Р.).

В заключение послушаем Киселева, описывающего духовенство словно бы за его годы службы на острове — с 1927 по 1929-й вкл. (стр. 19-22):

«Где условия для выполнения уроков самые трудные, туда обязательно посылают священников, монахов и сектантов и только они одни работают там... После муштровки надзирателями на таких «специальных» командировках, их начинают

насильно стричь, связывают и бьют сопротивляющихся... Надзиратели на них тренируют своих розыскных собак... Как только где-нибудь начинается тиф, здоровых переводят оттуда, а присылают священников, монахов и сектантов... Тиф делает свое дело...»

Приведена лишь малая часть ужасов, сотворенных Киселевым для 1927-1929 годов, словно он, прочитав Клингера о первых годах Соловков, решил, что «установка дана» и опровергать никто не сунется. Что ж, с его точки зрения, как бывшего начальника секретных отделов Чека и ГПУ, он прав: прокуроры в его дела носа не совали... А каково без вранья и прикрас было положение духовенства на острове за годы «летописца» Киселева, сейчас посмотрим. Перед нами свидетельство профессора И. М. Андреева (Андреевского), недавно скончавшегося в Америке. Он находился на Соловках с 1928 по 1930 год по церковному делу и общался со многими духовными лицами от священников до епископов.

Андреев жил в келье роты санитарной части с врачами К. А. Косинским, Петровым и епископом Максимом (Жижиленко) — доктором Таганской тюрьмы, где он тайно принял постриг, за что и попал в концлагерь. К ним в келью довольно часто приходил владыка Виктор (Остроградский), епископ Глазовский и Воткинский, работавший бухгалтером канатной фабрики, что в полуверсте от кремля. Все эти лица имели пропуск на свободное передвижение по острову. Разложив на пожарный случай домино, они за чашкой чая обсуждали перковые дела. В свою очередь, врачи навещали домик владыки Виктора и невдалеке от него облюбовали полянку, окруженную березовым леском, названную ими «Кафедральным собором», где изредка совершили тайные Богослужения. Чаще происходили они в другом месте, тоже в лесу, и там к этим пяти присоединились священники о. Матфей, о. Митрофан, о. Александр (профессор запамятовал их фамилии), епископ Иларион, викарий Смоленский и общий их руководитель и старец протоиерей о. Николай Пискуновский. Изредка появлялись на богослужениях и другие заключенные, пользовавшиеся их доверием. Особо следует отметить среди участников этой «Соловецкой катакомбной церкви» владыку Нектария (Трезвинского), епископа Яранского, викария Вятского. Он содержался на Соловках чуть ли не с 1924 года и упомянут в «Новых мучениках» протопресвитером Польским среди епископата, принявшего в кремле в июне 1926 года «Памятную записку», о которой сообщалось выше. — «Господь хранил наши «катакомбы» и за все время с

1928 по 1930 год включительно, мы не были замечены» — пишет профессор.

«Владыки Виктор и Максим часто в келье санчасти с теологическими темами переходили к наболевшему церковному нестроению и хотя оба они, как и все упомянутые выше лица, отрицательно относились к действиям митрополита Сергия, но на будущее православия в России смотрели разно: «владыка Максим готовился к тяжелым испытаниям последних времен, не веря в возможность возрождения России», а владыка Виктор, наоборот, надеялся «на короткий, но светлый период, как последний подарок с неба измученному русскому народу».

С открытием каждой навигации владыка Виктор, скитавшийся по ссылкам и концлагерям с 1922 года, обычно, сразу получал много вещевых и продуктовых посылок, но за несколько дней раздавал их, не оставляя себе почти ничего. Особенно жаловал он урок, о которых никто не беспокоился. Последний раз владыку видели в Май-губе в Белбалтлаге весной 1931 года счетоводом ларька» (см. «Новые мученики...» стр. 70-72, том 2-й).

В 1931 и 1932 годах со мною вместе хлопал на счетах батюшка Шадымов с Урала. Иногда он куда-то таинственно исчезал, возможно, что на эти «катакомбные» богослужения, либо исповедовать и причащать тех, кто просил и кому он верил. Посылок батюшка не получал, так я поддерживал его из своих излишков, как несравненно более счастливый материально.

Наиболее известными и авторитетными среди духовенства и каэров на Соловках были три личности:

Архиепископ Иларион (Троицкий), викарий Московский и бывший профессор Московской Духовной Академии и один из ближайших помощников патриарха Тихона;

Архиепископ Евгений (Зернов) Приамурский и Благовещенский, признанный всеми епископами на Соловках за первого среди них и

Профессор Московской Духовной Академии Иван Васильевич Попов, также из ближайших сотрудников Патриарха.

**

Владыка Иларион, несомненно, был по общему утверждению самой популярной и уважаемой личностью в лагере среди всех слоев, даже среди мелких уголовников. Никонов (стр. 152), не раз встречавшийся с ним, не мало подивился, когда охранник при нем спросил архиепископа:

— Где вы, владыка, ловили рыбу? Наши вчера ничего не поймали.

— Меня все и всегда так называют, — ответил Иларион Никонову.

Ширяев (стр. 318-323) красочно, на пяти страницах рассказывает, как однажды архиепископ с монахами спасли военкома Соловецкого Особого полка Сухова из лодки, прихваченной шугой и уносимой в море и как, вскоре после того, при Ширяеве (тогда, очевидно, в должности писаря при военкоме. М.Р.) Сухов остановился на дороге перед деревянным Распятием, в которое он раньше всадил два заряда, и сдернув буденовку, размашисто перекрестился, предупредив Ширяева: — Что б никому ни слова... А то в карцере сгною... День-то какой сегодня, знаешь? Суббота, Страстная...

И Ширяев подтверждает, что «нередко охранники называли Илариона, как бы невзначай, владыкой. Обычно — официальным термином заключенный, кличкой «опиум», попом или товарищем — никогда».

В бытность Зайцева объездчиком лесничества (стр. 86, 87) владыка Иларион состоял при нем лесным сторожем «и одновременно был моим духовным отцом и истинным другом. В большой меховой шапке, в широкой козьей дохе; сам — громадного роста, геркулесовского телосложения, с громадным посохом в руке — таким его видели в лесу и на дорогах осенью 1927 года».

Дальше Зайцев передает о вызове владыки в Ярославль к Тучкову и о новом сроке ему «за разглашение» столь же подробно и точно, как сообщал о том в книге отец Польский. Добавлено только Зайцевым, будто в Ярославле пытались отравить неподатливого на уговоры и посулы владыку, но яд не подействовал и уже на Соловках Глеб Бокий, по поводу встречи с Иларионом на острове, будто бы заметил: — Это какой-то чёрт невредимый. Это —второй Распутин...

Об этом Зайцеву рассказал Михаил Иванович Юпович, залечивший собачьим питомником и организатор осенней охоты для «Разгрузочной комиссии», бывший чекист, при котором члены комиссии не держали язык за зубами (стр. 85-87). Этот Юпович выведен Ширяевым под именем Свид — Свидерского, занятного рассказчика — сокамерника (стр. 232 и 239).

Не стяжатель по натуре, Иларион мало беспокоился о своем скарбе, но всегда находились люди, готовые присмотреть за ним. Охотно он работал в сетевязальной с духовенством и монахами («Артель Троицкого»), лесником лесничества при Варваринской часовне.

Ширяев не без оснований предполагает, что именно владыке Илариону удалось сконцентрировать духовенство в шестой роте и получить для нее некоторое ослабление режима. Он же, Иларион, отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной стрижке во время первой сыпнотифозной эпидемии 1926-27 года.

«За санитарией, конечно, очень следят: насильственно стригут волосы и обривают бороды (также и всем священникам сряду). Еще обрезают полы у длинной одежды (особенно у ряс...)»

— передает Солженицын (стр. 49), не уточнив, что тут речь может идти об эпидемии 1929-30 года, что видно из объяснения Никонова (стр. 213) относительно епископа Вениамина Вятского — счетовода сельхоза.

Духовенству тогда — с 1924 по 1928 г. включительно, а кое-кому и в 1929 году еще разрешалось держать Евангелие и носить рясы, но кресты, св. Дары, иконы и богослужебное облачение не допускались. Бессонов, бежавший в мае 1925 г. из Кемперпункта в Финляндию вел свой дневник в побеге на Евангелии. Оно тогда при обысках не отбиралось.

Еще до открытия Соловков владыка Иларион уже томился в Архангельском концлагере. В конце 1923 г. с приговором в Соловки, его привезли на Попов остров. Вскоре умер Ленин.

«...и в часы, когда его хоронили в Москве — передает отец Польский, соузник архиепископа — мы должны были здесь, в лагере, простоять пять минут в молчании. Владыка Иларион и я лежали рядом на нарах, когда против нас посреди барака стоял строй наших отцов и братий разного ранга... «Встаньте, все-таки великий человек, да и влетит вам, если заметят» — убеждали нас. Глядя на владыку, и я не вставал. Так благополучно и отлежались. А владыка говорил: — Подумайте, отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество!..»

При своем несомненно высоком даровании как оратора и проповедника и моральной и религиозной стойкости, владыка Иларион все же не всегда оказывался прав. «Коварство врага лишало его решительности и прямоты — пишет Польский — и даже он, владыка, шел на компромиссы с ней и делал ошибки». Но эта тема для богословов и историков церкви и мы оставляем ее им. Отметим только, что по словам Польского, —

«Когда касался разговор об отношении власти к церковному управлению, то владыка говорил: — Надо побить в этой обстановке хотя немного, а так не опишешь. Это, воочию, сам сатана».

Почти до конца 1929 года владыка Иларион (в миру Владимир Алексеевич) содержался в Соловках, откуда его в декабре этапным порядком отправили в ссылку в Алма-Ату. В пути со шпаной, его обокравшей, он в рубище и больной сыпным тифом доехал до Петрограда, где его положили в тюремную Гаазовскую больницу.

«15 декабря владыка скончался. Когда открыли гроб, одна из родственниц упала в обморок. В гробу лежал жалкий старик, обритый, седой, а ведь ему было всего 44 года. Соловчане помнят его ясное, светлое лицо, высокий рост, широкую грудь, пышные русые волосы, крепкое здоровье — и вот что стало с ним перед кончиной! Отпевание владыки совершил сам петроградский митрополит Серафим (Чичагов, умерший в тюрьме или расстрелянный в 1930-32 годах), в сослужении шести архиереев и множества духовенства. Митрополит принес для покойного свое белое облачение, белую митру, после чего тело переложили из тюремного в лучший гроб. Похоронили его в Ново-Девичьем монастыре».

Придет время, когда поставят беспристрастный фильм о Соловецком концлагере двадцатых годов и одними из лучших кадров в нем будут кадры о жизни там архиепископа Илариона, да и писатели будущего не могут умолчать о нем, как нельзя умолчать о Ногтеве, Эйхмансе, Васькове, Глебе Бокием, когда речь заходит о первых концлагерях.

**

Архиепископ Евгений пробыл в Соловках три года (1924-1926), где, по общему согласию заключенных епископов, оставался старшим среди них и после того, как в Соловки прибыли более старшие по рукоположению. Составитель сборника «Новые мученики российские» называет его «выдающимся иерархом Церкви, о котором члены его благовещенской паствы, ныне рассеянные по всему миру, по сей день хранят самые святые воспоминания». К сожалению, в книге дана оценка архиепископа лишь в общих словах: что для соловецких монахов-рабочих он являлся святым авторитетом, богослужение его (в Онуфриевой церкви. М.Р.) отличалось величием, покоем и благоговением, что он был постник даже в лагере, что высокообразованный и богослов, неверующего провожал побежденным, скорбящего — ободренным.

После Соловков ему дали три года ссылки в Коми-Зырянскую область, в 1929-м году «освободили» из ссылки, обязав

жить в Котельницах, Вятской губернии, но через некоторое время он оказался управляющим Пермской епархией.

«В 1937 г., когда началось поголовное уничтожение всего епископата и на свободе на всю Россию не осталось и десяти епископов, владыка Евгений, уже митрополит Нижегородский, был арестован и больше о нем никаких сведений нет и по сей день» —

так заканчивает его биографию в 1-м томе «Новых мучеников» отец Польский, а во 2-м (стр. 281) добавляет: «После 1936 года в Нижнем Новгороде арестован и расстрелян». Все же иные сведения пришли — и от кого? — от пишущего эти строки. Осенью 1938 года я повстречался с ним в штрафном изоляторе Печорского Судостроя Ухтпечлага. Он был посажен туда за отказ от тяжелых работ (имел третью полуинвалидную категорию за три грыжи), я — как недавно осужденный вторично за вредительство в лагере. Я, может, и не упомянул бы о нем, до сборник отца Польского и портрет в нем владыки освежили мою память и я отчетливо вспомнил, как он на мой вопрос ответил: — Митрополитом в Нижнем, да недолго... Когдато митрополия насчитывала тысячи приходов, да не теперь... Ну, вы были бы счастливы получить мою статью. Приписали мне сокрытие церковных доходов.

Я даже ни имени, ни фамилии митрополита не спрашивал. К чему, когда после отсиденных восьми лет впереди новых пятнадцать? Теперь-то я уверен, что разговаривал с соловчанином, с владыкой Евгением (он спал надо мной, на верхних нарах) и вот почему. В газете «Труд» от 20 декабря 1937 г. сообщалось, что «митрополит Нижегородский Феофан Туляков не ограничивался теми рамками деятельности, которые разрешены православным иерархам соответствующими органами надзора, но благословлял организацию тайных монастырей, несколько таких монастырей возникло в Нижнем Новгороде и в Муроме. Настоятельница одного из нелегальных монастырей свое тайное иночество сочетала со службой в крупном советском учреждении» (Текст взят из предисловия ко 2-у тому «Новых мучеников...»). Владыка Феофан, очевидно, осужденный по 58-й статье в зиму 1937-38 года не мог ни летом, ни осенью оказаться на Судострое. Путь туда, в верховья Печоры, тянутся месяцами, а зимой вообще невозможен, да и не поступало на Судострой новых этапов в 38-м году. С одним из последних этапов из Архангельска осенью 1937 г. и мог оказаться на Судострое владыка Евгений, а Феофан наследовал ему после ареста, да и не стали бы ему за опубликованные обвинения «шить» «сокрытие доходов». На судостроевском неболь-

шом кладбище, как-раз возле штрафизолятора, в сосновом лесу, в песчаном грунте и похоронен владыка Евгений. Слишком хил он был тогда в изоляторе, а условия содержания в нем не шли в сравнение с теми, которые владыка имел в Соловках 1925-1926 годов.

**

Профессор Московской Духовной Академии и Московского университета Иван Васильевич Попов оказался в Соловках в 1925 году за помощь патриарху Тихону, особенно за помощь в письме патриарху Константинопольскому Григорию УП, признавшему обновленцев и предложившему Тихону «удалиться от дел управления церковью». На острове профессор пробыл немногим более двух лет. В ноябре 1927 г. его перевели в лагерь на материке, а весной 1928 г. отправили в ссылку на р. Обь, между Березовым и Обдорском, а затем еще дальше на север, за Обдорск. Оттуда через него пересыпались деньги и посылки местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Петру Крутицкому, сосланному еще севернее по Оби в тундру, в зимовье Хэ. Затем профессора неожиданно вызвали в Москву. Там не нашлось переводчика с латыни для какого-то академического издания, и вот вспомнили о нем... «Долго ли, коротко ли», но после ареста в 1936 году епископа Варфоломея (Ремова, викария Московского, расстрелянного в июне 1936 г.) на третий день под Москвой «органы» забрали и Попова, помогавшего епископу вести занятия в Духовной Академии, о которой власти знали, но разрешения на нее не давали. С той поры след профессора был потерян. Это он, Иван Васильевич, под руководством владыки Евгения, совещаясь с ним и с Иларионом, составлял и отшлифовал «Памятную записку...», с упоминания о которой и начата эта глава. В Московской Духовной Академии он преподавал по кафедре патрологии (свято-отечественной литературы), являясь ее создателем, а потом в Московском университете читал лекции по психологии. Чем перечислять его богословские труды, многим читателям мало понятные, ограничимся оценкой, которую дал ему архиепископ Иларион: «Если бы, отцы и братия, все наши с вами знания сложить вместе, то это будет ничто перед знаниями Ивана Васильевича». К тому же, профессор Попов отличался строгим образом жизни, почти монашеским: воздерживался в пище, безропотно трудился и оставался безбрачным. В Соловецком кремле доктор богословия и профессор академии и универси-

тета обучал грамоте уголовников, которые, по словам Солженицына, «и так хорошо отличают черви от треф». (стр. 65, 66).

**
**

Всего из списка свыше 250 епископов так или иначе по СССР репрессированных, убитых или расстрелянных, в Соловецком концлагере (только на островах, без материковых командировок) за все время перебывало не более 40-50 человек, а поименно известно и того меньше — около тридцати, в том числе 24 содержались в период 1924-1926 годов.

**
**

Только один из летописцев, генерал Зайцев обстоятельно (впрочем, без особой нужды в этом для круга читателей его воспоминаний) изложил причины и методы борьбы большевиков с религией и церковью и, как следствие — положение духовенства на Соловках в особой главе «Мученики за светлое имя Христа» (стр. 93-108). Зайцева привезли на остров летом 1925 г. с большой группой духовенства, с ней же вместе он выдерживал карантинную муку и долгое время затем «квартировал» в шестой сторожевой роте, где оно вскоре было сконцентрировано. Из его воспоминаний о духовенстве ограничимся несколько сокращенным изложением о вскрытии мощей соловецких святителей и о кладбищенской церкви.

В августе 1925 года начальник УСЛОНа объявил приказ создать комиссию для публичного вскрытия мощей. В комиссию он включил Ювеналия (Машковского. М.Р.), архиепископа Курского и Тульского, Мануила, епископа Гдовского (Не Лемишевского ли, епископа Лужского, викария Петроградского, потому что в сборнике Польского есть только Мануил Лемишевский? М.Р.) и еще одного епископа и трех ссыльных чекистов. По вполне понятным причинам, это событие для церковных людей, содержавшихся на Соловках, не нашло упоминания в сборниках Польского. Председателем комиссии был назначен «известный на Соловках и памятный чекист Коган, прославившийся своими зверствами в Крыму».*

*) Ширяев, очевидно, часто по «культурным делам» общавшийся с Коганом, фактическим начальником воспитательно-трудовой части, отзываются о нем иначе: «Бывший начальник ЧК Закавказья Д. Я. Коган (В истории Закавказья и Крыма имени Д. Я. Когана так и не

«Гробницы с мощами святых Зосимы и некоторых других были поставлены в Преображенском соборе... Чтобы не оскорблять религиозных чувств читателей описанием гнусного фарса... ограничусь одним моментом. Когда вскрывали мощи св. Зосимы, то отделили голову от тулowiща... Будто бы Коган спросил архипастырей: «Это ваш главный святой? Вот ему...» — и с силой ударил носком по черепу, который, отлетев, ударился о стену».

К этому важному событию, не упомянутому другими летописцами, и не совсем-то обстоятельно изложенному Зайцевым, хочется процитировать абзац из книги Богуславского (стр. 89), привести, так сказать официальную советскую версию:

«Кстати, о соловецких «святых мощах». В сентябре 1925 года они были вскрыты специальной комиссией. Оказалось, что нетленные мощи представляют собой беспорядочное нагромождение полуистлевших костей, труху, деревянный чурбан в форме черепа... Любопытно, что соловецкие монахи распространяли слух, что «мощи» Зосимы и Савватия увезены за границу; однако, они были обнаружены в небольшой, замурованной снаружи нише южной стены Преображенского собора в двух заколоченных ящиках, на одном из которых была надпись «Зосима» и на другом «Савватий».

Больше к этому вопросу в своей книге Богуславский не возвращается, обойдя молчанием ряд напрашивающихся вопросов, хотя, несомненно, он читал и протокол вскрытия мощей и акт о находке ящиков. Все летописцы того периода согласно говорят о «мании кладоискательства» соловецкого лагерного начальства, создавшего даже «Раскопочную комиссию» под атаманством того самого монаха — расстриги «Васьки» Иванова — «антирелигиозной бациллы», о котором, по словам Ширяева, знавшего «Ваську» (В кавычки беру потому, что официальные инициалы его были А. П. Иванов) уголовники говорили (стр. 108 и 109), слушая его антирелигиозные «лекции»: — За то Васька Бога обидеть старается, что Бог-то его крепко обидел... Описывая «Ваську», одну из колоритнейших фигур первых лет концлагеря, Ширяев говорит, что более безобразнейшего по

нашел. М.Р.) ...до революции считался крупным подпольщиком и теоретиком марксизма... был умный, широко и глубоко эрудированный, благодаря чему через него удалось добиться сохранения уцелевших соловецких исторических ценностей под вывеской антирелигиозного музея, ставить пьесы, по содержанию совсем не пролетарские и т.д.».

внешности человека он не встречал. «Васька» из кожи лез вон, чтобы заработать сокращение срока. Его статьи о прошлой тюрьме монастыря печатались в соловецком журнале, а потом были выпущены отдельной книжечкой, ценой в 50 копеек. И такой «раскопщик» пропустил бы сообщить о находке ящиков с мощами в журнале и не кричал бы об этом на всех углах: — Святых нашел! Едва ли. Во всяком случае, если до 1933 года о «ящиках с мощами» и слуху не было, то естественно утверждать, что они случайно нашлись много позже. Вскрывали же не ящики, а гробницы в 1925 году, из которых мощи были замурованы в стене собора и вполне допустимо, что в гробницы для маскировки были положены чьи-то кости и чурбан в форме черепа. Начальство искало ценности и подозревало, что о них знал лишь инок Иринарх. «Сам Эйхманс поил его и даже катал на самолете, — пишет Ширяев: — Любил выпить Иринарх,* но и выпив сверх меры молчал».

После «вскрытия», раки перенесли в антирелигиозный музей, открытый в бывших палатах и домовой церкви архимандрита (в юго-западной части кремлевской стены, южнее Святых ворот. М.Р.). Никонов побывал в нем в 1929 или в 30-м году и оставил довольно полное описание его (на стр. 135-138). Первая краеведческая часть музея описана им точно, как я ее осматривал в 1932 году. Но насколько правильно он передает, что видел из исторических ценностей в остальных комнатах музея, ручаться не могу, и привожу его слова только относительно мощей с той же оговоркой:

«По обе стороны двери (в настоятельскую церковь) стояли массивные раки... Зосимы и Савватия. Они были покрыты толстым зеркальным стеклом. Внутри рак — по несколько горстей праха с белыми крупинками костей. «Это и есть мощи?» — По-видимому да, сказал Жуков (Сергей Васильевич, почвовед СОКа, замещавший заведующего музеем, приятель Никонова. М.Р.)... Мы прошли дальше, в алтарь... Направо от жертвенника в особом стеклянном ковчежце — белый череп преподобного Германа».

Осмотрев множество собранных монастырских исторических ценностей и рассказав о них в книге, Никонов спросил Жукова:

«А нет ли еще где-нибудь спрятанных святынь?» — Весьма возможно, что и есть, — ответил Жуков: — В монастырской стене и в громадах соборов столько разных тайников... Лагерное начальство учредило особую комиссию для обнаруже-

*) Более подробно рассказано о нем в предидущей главе.

ния их, но отискать не так-то легко и просто. До сих пор не удалось открыть ни одного тайника».

Не много узнали мы о мощах и от Ширяева (стр. 20), посещавшего музей:

«Кое-что (из царских даров монастырю) и теперь осталось, стоит за стеклом... в антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосимы и Германа. Открыты у них лишь главы, да персты нетленны, а Савватий закрыт — нетленен весь...»

Еще меньше узнаем о том же от Олехновича (стр. 118):

«В 1933 году музей реорганизован и исторический отдел его, где хранятся в стеклянных ящиках мощи Зосимы и Савватия, для заключенных закрыт. До этого все три отдела могли посещаться только группами под опекой ротных и воспитателей. Некоторое время я пробыл сторожем музея, охраняя его от «соцблизких». Как-то раз худенький мужичек из под Тулы попросил меня впустить его внутрь помолиться. Удостоверившись, что опасности вокруг незаметно, я провел его в историческое отделение. Отдав там земные поклоны всем четырем углам, где висели иконы, он стал отбивать их и перед мощами соловецких святых».

Все-таки относительно мощей в музее из этих трех свидетельств более правдоподобным надо признать первое. Никонов и Жуков бессознательно подтверждают, что и в 1930 году ящики с мощами еще не были обнаружены. Лагерное начальство (Ногтев, Эйхман, Неверов, Васьков) не позволило бы хранить в музее мощи (или кости) в таком виде, как это описано Ширяевым.

Под алтарем Преображенского собора, в усыпальнице, где веками покоялось тело Зосимы, находился крест из восьми толстых сосновых брусьев,

«по верованию народа обладающий целебным действием против зубных болей. Нужно только с верою, после молитвы, своими собственными больными зубами погрызть этот крест; он так усердно грызется страждущими паломниками, что в одном месте совершенно перегрызен и верхняя часть стоит отдельно, прислоненная к стене. Несомненно, не одна сотня тысяч людей грызла этот крест, и не одна тысяча получила исцеление. Многие ...стараются отгрызть от него как можно больше... и увозят отгрызанные кусочки домой для родственников и соседей», —

сообщал в 1889 году доктор Федоров (стр. 88). В музее этого креста нет. Он в первый же год концлагеря, очевидно, пошел на топливо.

Оставшиеся на службе лагеря монахи-инструктора молились в кладбищенской церкви после работы: вечером по субботам и в воскресные дни. Доступ в церковь до 1925 года был запрещен всем заключенным, даже высшему духовенству. Это подтверждает и Клингер (стр. 164). Лишь когда Эйхманс заступил Ногтева, духовенству разрешили не только молиться в церкви, но и отправлять службы — вечерни и литургии, что особенно радовало монахов, когда для них служили сами «князья церкви» — архиепископы. Особенно торжественным было пасхальное богослужение в 1926 году. Тогда первый и последний раз его разрешили посетить всем заключенным. В теплых словах, от души, а не от пера, описал его Ширяев (стр. 388-393). Этот сонм высших иерархов церкви, вышедших на паперть, и громовое возглашение владыки Илариона: — Да воскреснет Бог и расточатся врази его! — разве полностью словами передашь, как оно отзывалось в душах заключенных, усыпавших не только кладбище, но и все пространство вокруг него, чуть ли не до леса. Сама церковка не могла вместить даже духовенства. Зайцев, несомненно, был там, но умолчал о заутрени в книге из «тактических» соображений...

Пасхальная служба в 1927 г. была, очевидно, только для монахов и высшего духовенства. Свирепствовал тиф и из-за него введено было много всяких ограничений.

В 1928 году в церковь на Пасху к заутрени на полчаса заходил Андреев (стр. 84). Тогда еще можно было, изловчившись, выскользнуть за кремлевские ворота и пробраться в церковь. Служили высшие иерархи, а монахи и белое духовенство молились и пели.

В 1929 году Андреев по просьбе друзей пошел просить разрешение посетить службу к начальнику кремля недавнему «палачу Секирки» Вейсу, но тот, сославшись на приказ свыше, отказал «как будто бы сожалея» Андрееву. Никонов (стр. 175) подтверждает, что Пасхальную заутреню совершали 13 епископов. В церкви, среди молящегося духовенства и монахов, было несколько счастливчиков из заключенных. Это была последняя Пасхальная заутрена на Соловках. В 1930 году доступ в церковь заключенным был строжайше запрещен, а в 1931 году с острова удалили последнего монаха-инструктора и Онуфриевская церковь была окончательно закрыта. Сообщая о заутрени 1929 года, Никонов допустил ошибку, написав, будто служба шла во главе с местоблюстителем патриаршего

престола Петром Крутицким», тогда как ее возглавлял архиепископ Иларион Троицкий. Местоблюститель, как уже отмечено нами раньше, никогда на Соловках не содержался.

Вообще-то, «в соответствии с конституцией и свободой совести», не брежневской, не сталинской, а еще ленинской,ходить в церковь не запрещалось, но требовалось заручиться в адмчасти особым пропуском, а таких смельчаков оказывалось мало. Соловчане знали, что под каждым пунктом «конституции» есть примечание, не обязательно на бумаге, но обязательно в секретных «разъяснениях и дополнениях». В Щедринской «Конституции» для глуповцев так и печаталось: «Пункт такой-то: Ходить по городу невозбранно. Примечание: А ну-ка попробуй!»...

«Во-первых, поясняет Зайцев (стр. 100), ему сделают отметку в формуляре, что «подвержен религиозному дурману», а это послужит препятствием к досрочному освобождению... о чем мечтали все, стараясь заслужить его работой и поведением, а, во-вторых, если смельчак занимал какую-либо должность, его переведут на тяжелые общие работы. За посещение церкви без пропуска сажали также в (кремлевский) карцер на срок от двух недель до одного месяца».

А находились таки заключенные, которые шли на этот риск:

«Я сам был очевидцем, говорит Зайцев (стр. 101), когда во время пения «Хвалите имя Господне» раздался громкий истеричный вскрик: «Боже! За что? за что?» заключенной Наживиной из Царицына. Мужа расстреляли, ее сослали на 10 лет на Соловки, дома осталось пятеро детей без всякого присмотра. В довершение всего, здесь уже чекисты из комсостава вызывали ее «для мытья полов» и, как говорили, заразили...»

По этому поводу Зайцев вправе рассуждать и кипеть негодованием, но патетические тирады не входят в задачу этой работы. Повторю: в меру способности и опыта в соловецких и других лагерях, я только сухо излагаю события на острове, чтобы, сопоставляя разных летописцев, читатель сам уяснил, какие из событий реальные, какие приукрашены, а какие просто разрисованы на канве из всевозможных лагерных «параш».

Но вернемся к Зайцеву. Однажды, после работы он отстоял вечерню, а вернувшись в роту, был вызван в адмчасть. Там ему напомнили правила и пообещали доложить о случае «грозе Соловков, самому Васькову».

«На другой день — продолжает Зайцев — обойдя свой лесной участок, я демонстративно отправился к обедне (это было уже после Седерхольма, в 1926 году, когда духовенство

получило разрешение на службу и в воскресные дни. М.Р.). И что же? Аресту меня не подвергли, но отобрали постоянный пропуск, а давали разовые. Через пять дней, 1 сентября, сам пьяный (кто ж его обнюхивал? М.Р.) Эйхманс, объезжая ночью лес, спровоцировал там пожар и в приказе приписал его моей небрежности и отправил меня на три месяца на Секирку... Но причины репрессии были другие, а посещение церкви лишь усилило гонения на меня».*

В трех местах своей книги Зайцев отмечает странную «закономерность» использования самых святых мест в соловецких церквях и соборах.

В храме на первом этаже, где Секирный нижний изолятор, боковые алтари переделаны в карцеры, в которых избивают строптивых и обезумевших от режима штрафников, надевая на них смирительные рубахи. Передавая об этом, Зайцев (стр. 146) добавляет:

«А в верхнем этаже на месте святого жертвенника поставлена огромная «параша» для большой нужды».

«В карантине в Преображенском соборе, обокраденное шпаний духовенство (стр. 60), как особо пострадавшее, перевели в восточный выступ, где раньше был алтарь. Утром... оказалось,

*) Зайцев тут не объяснил «других причин», но на стр. 65-й он писал, что под разными предлогами не выполнял предложение Эйхманса от марта 1926 года написать что-нибудь о гражданской войне для журнала «Соловецкие острова». За это его сначала сняли на общие работы (из лесничества), потом отправили на лесозаготовки, где его выручил медперсонал, освободив от лесных работ. Все же Зайцев опубликовал свои воспоминания в соловецком журнале, но не о гражданской войне, а как царский резидент перед первой мировой войной при последнем хане Хивинском, очень высоко оцененные Ширяевым (стр. 68 и 130): «Они могли бы смело итти в любом эмигрантском издании». Кстати и заодно: Ширяев тоже опубликовал в газете «Новые Соловки» статью «Наука в Соловках» под своими инициалами Б.Ш., а Розанов, много позже, кажется, в конце 1931 года в общеусловновской «Перековке» статью о соревновании и ударничестве на Соловках под своей фамилией. Подозреваю, что подпись к шуточному рисунку «в стенгазете на Кирпичном, сформированной с нашей помощью воспитателем» дана летописцем Никоновым (стр. 178). Горькому шутка о нем так понравилась, что он привел ее в очерке «Соловки» (стр. 219): — Слышали — Горкий приехал к нам! — «На десять лет?»

что наши архипастыры Ювеналий, Глеб и Мануил спали на досках, положенных на неподвижный кирпичной кладки жертвенник... По нашему общему мнению, это было сделано умышленно».

Так оно и есть. Киселев (стр. 105) подтверждает, и тут я ему могу поверить, что «Словесно ИСО приказывало Чернявскому размещать всех священников, ксендзов и раввинов на нарах, устроенных в бывшем алтаре... и помещать с ними десятка два отпетой шпаны».

Чернявский был ротным в годы Киселева, а Зайцев и Седерхольм писали о более раннем периоде, когда ротным было иное лицо. Следовательно, описанное Зайцевым насчет алтарей и жертвеников, существовало издавна, как система.

Седерхольм, в те же дни и в том же соборе отбывавший вместе с Зайцевым карантин, вспоминает о другом случае, тоже родственном рассказанному событию (стр. 314-315):

«...В одну из последних (сентябрьских) ночей 1925 г. произошло странное событие... Нас внезапно далеко за полночь разбудили и построили в три шеренги, а зачем — никто не знал. Иные уже подозревали, не на расстрел ли. Дело оказалось проще. Наш начальник Ногтев (не Ногтев, а Баринов, начальник кремлевского отделения, по Зайцеву, стр. 90) ...пьяный до предела, осилил на лошади 47 ступеней паперти (по Зайцеву — двадцать), остановил коня и благодушно обратился к нам: — Здорово, ребята! Как поживаете, господа буржуи?... Стоявший рядом со мной старый батюшка все время что-то бормотал сам себе. Не больны ли вы? — спросил я его. Священник, указывая на пол пальцем, дрожа промолвил: — Боже! Боже!! Пьяный безумец на лошади в святом храме! А мы топчем ногами основание святого алтаря и что за слова слышим тут». Батюшка был прав. Я понимал его ужас. Как Ногтева (Баринова) на лошади вывели наружу, я не знаю».

Зайцев знает: Нашлись добровольцы из арестантов, взяли лошадь под уздцы и вывели ее во двор с Бариновым. И добавляет:

«Баринов объявил гулявшей с ним компании чекистов, что, как Магомет Второй въехал в храм св. Софии, так он въедет в главный кремлевский собор. Конечно, за такое самодурство, Ногтев, начальник лагеря, только посмеялся над Бариновым».

Сущая правда из двух уст. В одном только сомнение: знал ли Баринов, московский жел.-дор. весовщик, кто такой был Магомет Второй и чем вошел в историю? Генерал Зайцев, ко-

нечно, знал. Впрочем, нестоющая придирка. Важен факт: чекист на лошади в храме.

Кто-то в первые годы концлагеря пустил слух, будто на Соловках скрывался в лесу схимник. С помощью бойкого пера Ширяева (стр. 22 и с 343 по 350) — и только им — в летопись добавлены уже все детали его жизни. Остальные летописцы, живые и доживающие, даже и «параши» этой не слыхали. А Ширяев, возвращаясь сентябрьской ночью с отдаленной командировки:

«...сбылся с дороги... Землянка... Лампадка... Борода схимника... Гроб его... Простоял всю ночь... Проведали чекисты... Прискакал сам Ногтев пьяный, с бутылкой заявился... Сбил затвор... «Выпей со мной, распросвятой отец опиум!» ...А старец ему поклон в ноги, как покойнику, и на свой гроб показывает: помни, мол, там будешь! Переменился Ногтев, бутыль за дверь и ускакал... Пил месяц без перестану... Старцу же приказал паек выдавать и служку к нему из монахов приставил... Предвидел смерть его схимника... расстреляли Ногтева за серебряных херувимов и закопали в бору, где скончаны мятежные инохи, петлей удавленные воеводой... Спустя год, на вязке плотов инструктор-инок Петр сказал нам: — Работайте, братики, сегодня без меня... Схимник наш преставился... Да, тела еще лампадка... Подлили маслица... Подлинно-неугасимая... Хоронили в лесу, около землянки, даже священников не пустили... но весть взволновала многих в кремле...» Закроем кавычки...

М. М. Пришвин в 1903 году искал на Соловках схимника-отшельника в лесу и не нашел. Они жили в кремле, в келиях. Поди теперь проверь, был ли на самом деле схимник и какой чародей с Лубянки воскресил Ногтева к 1929 году и снова на время возвел его на УСЛОНОвский трон? И чего ради понесло Ширяева в полночь с дороги в лесные дебри, в темень, меж трясин и болот и прямо к землянке схимника? Зачем понадобилась ему эта эпопея? Поддержать название книги «Неугасимая лампада» что ли? По моему разумению приведенная «Одиссея» только вредит книге. Так много в ней живых лиц, фамилий, событий, нам знакомых и близких по переживаниям, и вдруг сказка о схимнике и Ногтеве на тех же страницах. И «Утешительный поп» Никодим, и адвокат «Василек — святая душа», и «царь Петр Алексеевич» и баронесса Фредерикс и многие, многие другие имена не канули в вечность с закрытием Соловков, а перекочевали с памятью выживших соловчан в другие лагеря и политизоляторы, но уже обросшие досужей фантазией, и нет нужды галлерею реальных известных хоро-

ших и плохих соловчан дополнить несуществовавшим схимником.

Как не раз уже было и будет еще сказано, да читатель и сам припомнит: «хорошая хозяйка из петуха уху сварит», а талантливый писатель и обыденный факт так разукрасит «подробностями», что только ахай и рот раскрывай. Вот и эта история со схимником отдаленно роднит ее с обыкновенной смертью в 1926 г. одного монаха, из-за болезненной дрялости и потому непригодного больше к работе, выгоняемого с Соловков на материк, где он также никому не нужен и пристанища не имел. И умер, как задано по монашескому обету, в монастыре по молитвам своим и владыки Евгения (о. Польский, т. 1-й, стр. 167). На его-то похороны и ушёл с плотов инок Петр и все остальные монахи. О смерти других монахов в двадцатых годах что-то не было слышно. ГПУ, надо сказать, осмотрительно отбирало монахов для лагеря: чтобы были нужные специалисты и вполне работоспособные. Большая часть из оставшихся монахов занимала отгороженные от 10-й канцелярской роты келии. Клингер (стр. 160) передает, что «они работали на жалованье не свыше 10 рублей в месяц, т.е. медленно умирая с голоду». Другой «летописец» двух дней 1929 года — Максим Горький в очерке о Соловках называет 60 рублей на всем готовом. Истина где-то между Клингером и Горьким, ближе к последнему.

Работали монахи, действительно, в поте лица, и этого не отрицают летописцы, но к тому у них были три причины: вера в то, что они и теперь работают на обитель, а не на ГПУ, птились сносно и жили своим мирком, своими духовными интересами. У заключенных таких стимулов к работе не было.

В годы Розанова и Пидгайного уже была закрыта кладбищенская церковь, монахи расчищаны и удалены с острова на все четыре стороны, и, конечно, ни Пасхи, ни Рождества заключенные не праздновали. Если где-то тайком допускаю, двое-трое старичков или духовных лиц как-то отмечали такие праздники, то укрывшись, как мыши в подполье, чуя кота. Но были соловчане двадцатых годов, которые шли на риск и праздновали эти торжественные для христиан дни. Иные ухитрялись к Пасхе испечь подобие куличей, покрасить яйца, а к Рождеству раздобыть маленькую елку, тайком протащенную в кремль, украшенную затем самодельными ангелочками и звездочками. Каждый из этих праздников подробно описан, о Пасхе — Андреевым (стр. 84-86) о Рождестве — Ширяевым (стр. 233-242), но читателям лучше всего самим прочесть указанные страницы. У Ширяева разгулявшееся перо включило в рождественскую коротенькую службу и в подготовку к ней в его келье отца

Никодима — «Утешительного попа», атеиста-эпикурейца, барона-лютеранина, поляка-католика, истового старообрядца, турка-магометанина и даже дежурного по кремлю чекиста-еврея. Безет же Ширяеву на материале для летописи!.. И каждый говорит у него своим языком. Вот, к примеру, чекист Шапиро со своим «паем»:

«— Очень вкусная рыба... хотя не щука, а треска. Сам говорил. Я не ем трефного. Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже Лейба Троцкий... Но, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде все сказано и ученые ребби знают... Батюшка, давайте молиться Богу!».

У Андреева Пасха в келье описана более скромно и потому правдоподобней, даже без религиозного «интернационала», как у Ширяева, и без священника.

«Утешительный поп» Никодим был единственным священником-стариком на Соловках, осужденным по служебной статье — за крещения, свадьбы и похороны без предварительных справок о регистрации от ЗАГС. Поэтому отец Никодим не числился в роте духовенства, а скитался по разным работам, вечерами занятно пересказывая уркам библейские события и улучая время в укромном месте исповедывать и причащать клюквенным соком «того же виноградаря полуночных стран» — особо верующих заключенных. Теперь где там установишь, что из описанного Ширяевым о Никодиме происходило на самом деле, и что он, мягко выражаясь, присочинил, но живо и убедительно. Никодим даже отслужил панихиду в лесу для группы офицеров на могиле расстрелянных по ним и по царской семье со свечами из просмоленных канатов.

На двенадцати страницах описал житье-бытье отца Никодима на Соловках Ширяев (стр. 253-265), не считая многократных упоминаний о нем в других местах книги. «Утешительный поп», воистину, пережил Соловки, так как о нем я слыхал много лет спустя от уголовников в штрафизоляторе Печорского Судостроения. Рассказчики, по молодости, и в Соловках-то не побывали, но наслышались о нем в тюрьмах и этапах от более старых и бывалых из своей «конгрегации». Никодим умер на Секирке в ночь под Пасху во время сна в «штабеле», отправленный туда за утреннюю рождественскую литургию перед разводом. Так ли, нет ли, но рассказ доведен Ширяевым до конца.

Довольно подробно и близко к истине о положении духовенства на Анзере с весны 1929 до лета 1930 года повествует на семи страницах (с 212 по 218) Никонов в форме бесед то с одним, то с другим из знакомых. Выберем главное.

Возвратившийся с Анзера бывший комсомолец, «друг секретаря Сталина», рабочий Пушхоза Пильбаум, описав Никонову аховое положение «леопардов» в Анзере на Голгофе — голые, вымирают, проигрывая даже будущие пайки, — добавляет:

«— Попы и епископы живут там изолированно, отдельной группой и не плохо. Они не работают, но обслуживаются сами себя. Посылок им шлют до чёрта. Но держат строго: ни к ним, ни от них никого не пускают».

Другой старый знакомый Никонова, Вениамин, викарий Вятский, счетовод строительного отдела сельхоза, подтвердил ему, что тридцать православных епископов и несколько католических, действительно, отправлены на Анзер, но что отдельные епископы из старых этапов и вновь прибывшие (осенью 1929 г.) все еще в шестой сторожевой роте. С них-то, из-за начавшейся тифозной эпидемии, и начали поголовную стрижку, а затем взялись за священников. Заодно отобрали у них рясы и выдали бушлаты и в их роту добавили шпану. Переписку ограничили одним письмом в месяц.

Пока Никонов слушал епископа, к нему в кантону вошел командир сводной роты князь Оболенский со взводным, стрелком и китайцем-парикмахером:

«— Вы почему не острижены? — спросил князь епископа.
— Вам же было объявлено о самостоятельной санобработке.

Владыка молчал. — Нечего рассусоливать, — сказал стрелок: — Парикмахер, стриги!

...Весною (1930 г.), повстречав владыку, я едва узнал его. Своим видом после «санобработки» он напоминал моложавого деревенского парня... Бродя по кремлю, я уже не видел ни одной рясы. Серые бушлаты скрыли лицо духовенства».

Никаких эксцессов, протестов во время «санобработки» духовенства ни в шестой роте, ни на Анзере, по словам Никонова, не было. Стрижку начинали с епископов. Это при первой тифозной эпидемии в 1926-27 году владыка Иларион отстоял перед начальством волосы и бороды духовенства, а также и рясы.

**

*) За сводной ротой числились занятые вне кремля, главным образом, в предприятиях сельхоза. Они спали в разных ротах, но числились за сводной. Ни поверок, ни разводов в этой роте не было и не могло быть.

До сих пор в этой главе мы пользовались выборками только о православном духовенстве. Но наряду с ним, в Соловках со дня учреждения «Особого Назначения» содержались и магометанские муллы, и бурятские ламы, и польские ксендзы, и еврейские раввины, не говоря уже об украинском автокефальном духовенстве. Но сколько было таких, летописцы не сообщают. Знаю, что в зиму 1931-32 года от двадцати до тридцати ксендзов содержались на одной из бывших лесозаготовительных командировок, но на какой именно — запамятаю. Десятником у них был тоже поляк. Спал он в нашем бараке и по его описанию, ксендзы жили материально вполне прилично, в достатке получая хорошие посылки. У ксендзов все получаемое от лагеря и с воли шло в общий котел, как много раньше у политических в Савватьеве. Когда заявивший себя больным ксендз не получал от лекпома освобождения, остальные выполняли за него урок, тем более, что урок был вполне сносным: заготовка топлива из старых порубочных остатков, сколько-то «палок» на пару.

Кое-что о ксендзах рассказал Олехнович, сам католик (стр. 106, 107):

«Католическому духовенству для богослужений тоже отвели помещение, но маленькое, в лесу, в километре от кремля. Тот сарайчик не мог вместить всех молящихся... Впрочем, вскоре, в 1928 году и православная церковь на кладбище и католическая часовенка были закрыты и все духовенство (только высшее: — епископы, и то не все. М.Р.) согнано в 14-ю (запретную) роту, откуда их отправили на Анзер, на Голгофу, которая и стала для них местом страданий. Там им пришлось работать на недостаточном пайке. Перед отправкой на Анзер у духовенства отобрали богослужебные книги, кресты и иконки. До Анзера оно выполняло легкие работы: были сторожами, кладовщиками, каптерами. Но в 1932 году Голгофу закрыли и духовенство распределили по другим соловецким пунктам».

Олехнович «поторопился» закрыть церковь — (фактически в 1931 году) и нарисовал куда более мрачную картину о духовенстве на Анзере, нежели Пильбаум, «друг секретаря Сталина» Никонову, а тот — нам. Правда где-то между этими двумя свидетельствами. Отметим попутно, что в камеру в Бутырках, куда к осени 1933 года привезли Олехновича для обмена, с той же целью вскоре добавили пять ксендзов. Олехнович и тут приводит только их инициалы. Трех доставили с Соловков, одного из Сибири и одного из ссылки. Всех их вскоре обменяли с Польшей и Прибалтийскими странами.

О раввинах летописцы то же лишь вскользь упомянули. Розанов знал одного, будто бы старшего раввина из Минска, но стоит ли говорить о нем? Тот раввин («Завоеватели...», стр. 52) в конце 1931 года был начальником плановой части Четвертого отделения УСЛОНа, т.е. всех островов, как бы переняв половину кабинетных функций Френкеля. Комната его была на втором этаже, против кабинетов начальника ИСЧ и начальника адмчасти (Тут прежде останавливались члены царствовавшего дома, а в дни Пришвина — в 1903 г. — какой-то губернатор. В тот 1931 г. на Соловках «гром победы раздавался...» — шло ударничество, соревнование и впереди всех неслась туфта, о чем с завидным сарказмом пишет Солженицын (стр. 66-68). Так Розанову загорелось прочесть анализ экономических показателей для статьи в общелагерную «Перековку».

— Не могу дать, — ответил ему начальник плановой части.
— Документ секретный, только для вольнонаемного руководства. Обратитесь за разрешением к начальнику отделения.

Но Солодухин носил два ромба и Розанов не рискнул его беспокоить.

**

СУДЬБА СЕКТАНТОВ

Пора уже от служителей религий перейти к верующим, официально заклейменным церковью сектантами. На Соловках их называли иначе: «Имяславцами», «Христосиками», «Федоровцами», «Бог знает» и по иному. Все члены этих сект, попавшие на Соловки, и там, как правило, так или иначе истрепленные, были едины в одном: — в отрицании большевизма, в твердой вере, что наступила власть Антихриста, труд на которого противен Богу и каждый, на чем-либо расписавшийся или взявший документ с печатью и тем раскрывший свое христианское имя, ввергает себя в геену огненную и чтобы избежать ее, почти все сектанты упорно скрывали свои имена, отвечая: «Бог знает».

Они протестовали молчанием, а духовенство безропотно исполняло все приказы по режиму и работе и потому не могло возбуждать к себе такой ненависти и озлобленности, которая проявлялась к сектантам со стороны лагерного начальства. Положение этих двух групп на Соловках было резко различным, да и держали их обособленно друг от друга. В главе о Кем-

перпункте 1928 года от Никонова уже знаем, как «Имяславцев» в холодный день, под дождем, по целой смене голодными держали «на стойке» — на валунах во дворе пересылки за то, что отказались назвать свои имена.

Надо полагать, что за 1928, 1929 и 1930 года на Соловки из тюрем и с материковых командировок УСЛОНа было отправлено несколько сот сектантов разного толка. Содержались они на острове Анзер, на Кондострове, на Заяцких островах и, возможно, в других местах. Женщины-сектантки и православные монахини жили в женском бараке вместе с аристократками и проститутками, если работали. Таких были единицы. А наиболее стойких из них расселяли по мелким глухим командировкам. Одну из таких я повстречал во время карантина весной 1931 года на полузаброшенной командировке вдоль узкоколейки. Ее голую на носилках тащили двое надзирателей, куда и почему — Бог весть. Другую молодую, сильную, с приятным лицом не раз видел осенью того же года на Филимоновом пункте. Она ушла из секты или от монахинь, соблазненная бугаев — вохровцем и жила с ним тут уже «в законе».

Сектанты были единственной систематически неработающей прослойкой среди соловчан. Ни штрафной паек, ни глумления надзора, ни уговоры и посулы воспитателей, ни угрозы более высокого начальства на них не действовали. Один за другим сектанты угасали, а как, послушаем летописцев, кто близко наблюдал их. Начнем с Киселева (стр. 135, 136). Летом 1929 года, обозленное отказом «Имяславцев» — Киселев называет их духоборами — открыть свои фамилии, ИСО отправило 65 сектантов на Кондостров:

«...на загиб к начальнику того пункта Шурке Новикову. Новиков отвел им в лесу место, выдал инструмент и велел строить себе землянки, а пока — спать под открытым небом. Самоуверенный Новиков сначала решил, что (он-то!) заставит их и фамилии открыть, и работать. Но ошибся: избиваемые им плетью духоборы умоляли застрелить их, продолжая называть себя «сынами Божьими». Их просьбы приводили в бешенство полуноormalного Новикова, и он с новой силой бил их. Посылки с сухарями от родственников Новиков не отдавал, и они питались на трехстах граммах хлеба и на «горячей каше» в виде воды, в которой варились пшено, тем временем «потихоньку загибаясь»...

— Ну, а как поживают «христосики»? — спросил Новикова Расщупкин, Николай Иванович, пом, начальника ИСО УСЛОНа в Кеми.

— Пока что загнулось пятнадцать человек. А зимой, не

беспокойся, загнутся все, — обнадежил его Новиков».

Другая партия сектантов содержалась на Анзере, поблизости от православных иерархов. О ее судьбе повествует Никонов (стр. 239-243) со слов одноэтапника-вохровца Мыслицына. Всех 148 сектантов осенью 1930 года перевели на Секирку и в один день расстреляли.

Тут придется отойти от начатой темы и дать длинное пояснение, без которого многое ныне показалось бы странным и непонятным. Прежде всего, расстрел 148 ни в какой связи с «Соловецким заговором» и «расстрелом 300» не находится Между ними разрыв по времени в целый год. Осенний расстрел 1929 г. по «Заговору» был при Зарине, когда на острове все еще свирепствовал произвол, а осенний расстрел 1930 года был уже при Д. Успенском, в самый, так сказать «разгар оттепели», после расстрелов «произвольщиков» весною 1930 года. На первый взгляд — противоречие: и «оттепель», и тут же массовый расстрел сектантов, самых мирных узников. Придется напомнить, что «оттепель» была двояко воспринята заключенными: одни поверили в нее, и соблазненные бесконвойной работой, зачетом рабочих дней, денежными и ларьковыми премиями, трескотней воспитателей и прочими «благами», вплоть до промелькнувшей метеором пятидневки — стали живее орудовать лопатой, пилой, счетами и пером; другие же, большинство, более прозорливые, практические и недоверчивые — в основном «свои», уголовники — решили не упускать удобного момента и нажиться на нем испытанным методом туфты, о чем особенно едко передано в «Архипелаге» (стр. 66-68). А не мало оказалось среди них и таких, кто рассуждал совсем иначе: «Теперь нам и море по колено. Проживем и без туфты. Прежде мы боялись их, теперь они бояться нас. Пусть медведь работает». Еще два-три месяца такой «оттепели», и половина заключенных оставалась бы в бараках. Кривая отказов взвилась вверх, а кривая выполнения норм полетела вниз. (Дальше отдельной главой даются выписки из воспоминаний Китчина о Севлаге, а Розанова, Олехновича и Никонова — о Соловках о том, как началась «оттепель», к чему привела, и как ее «подморозили», восстановив покорность.)

Для «подмораживания» Лубянка на Соловки комиссию уже не посыпала, а затребовала от ИСО законченные дела на отказчиков, саботажников, беглецов, лагерных бандитов, агитаторов и подобных и вынесла по ним приговор, а какой — узнае дальше.

Но одно дело — расстрелять на острове всех отказчиков из уголовных, т.е. из «своих» и тем отдалить их от себя, дру-

гое дело — сектантов. Графа «Отказавшиеся от работы» не предусматривает объяснений, кто да почему. И Успенский по своей ли инициативе, по указке ли своего ИСО или по предписанию ГУЛАГа распорядился оформлять отказы от работы сектантов актами. В тот период, да и много позже признавалось достаточным трех актов на последовательные один за другим отказы, особенно групповые, чтобы получив от начальника лагеря акты, ИСО-ИСЧ могли «завести дело», а наиболее важные по их мнению дела со своим заключением направлять на окончательное решение в ГУЛАГ. «Дела» возвращались с приговорами коллегии: одним — расстрел, другим — «довески» от одного до десяти лет, третьим почти помилование — Секирка.

Кого же в данном случае скорее и охотнее всего прикажет расстрелять ОГПУ или его областные и краевые полномочные представительства (П. П. ОГПУ): воришек с десятью отказами или сектантов, как один не работающих уже второй год. Тут и разъяснять читателю нечего. Конечно, шлёпали и уголовников, но в такой пропорции и с таким разбором, чтобы не вызвать в них ненависти к власти и не потерять их поддержки в отравлении жизни каэрам, а чаще гнали их на Секирку.

Вернемся к расстрелу 148. Красочные детали его, с поразительной подробностью переданы вохровцем, по должности в тот день близко наблюдавшим расправу Насилия с Покорностью, да и летописец, подозреваю, кое-что в передаче усилил своим пером в порядке «художественной самодеятельности» — он тогда, в 1938 г., уже готовил роман «Соловецкий заговор» (цена 1 а. м. доллар по подписке. Кажется, так и не опубликован). Тем не менее самый факт массового расстрела за веру несомненен (ибо отказ работать являлся одним из «символов веры» этих сектантов), лишь численность жертв хорошо бы уточнить, но как?

Полностью приводить рассказ вохровца Мыслицына нет нужды. Ограничусь выпиской со страниц 240 и 241:

«...Выводили их из церковного притвора, где я стоял, а стреляли в ограде. Два часа. Восемь палачей и сам Успенский... Вначале была полная жуткая тишина, потом их старший — огромный, дородный рыжий бородач услышал шепот соседа:

— Помирать будем. Молитву бы на исход души.

Бородач хотел было перекреститься, но крепко связаны у всех руки сзади.

— Не терпит Антихрист креста, — руки вяжет. Крестись, братья, умом...»

До 1928 года сектантов на Соловках содержалось очень

мало и от летописцев первых лет концлагеря мы о них ничего не узнали. Пожалуй, больше всех понаписал, вернее — понастрочил на английском (стр. 117-124) и на украинском о «христосиках» Пидгайный, но так, что, читая, глазам не веришь: и правда, и кривда, и легенды и «параши» — всего с избытком понатекло с пера этого литератора. А следовало бы, слегка придерживаясь правды, описанное им на восьми страницах изложить на одной, ну вот хотя бы так:

«В конце 1933 года лагерное начальство решило переселить из кремля на пустынnyй Малый Заяцкий остров несколько десятков монахинь-христосиков, отрицавших работу на Антихриста, но помогавшим заключенным в починке и стирке белья и одежды. Монашek насилино погрузили на сани и отвезли туда (Чем и как они там существовали, Пидгайный с нами не поделился). Об убийстве Кирова им сообщил в январе 1935 года незаметно пробравшийся туда их последователь и вроде духовника некий Филимон Подоляк, содержавшийся на острове с 1926 года, добавив: «И слава Богу! Жаль, что не убили самого Антихриста». Вскоре приехали уполномоченные ИСЧ и, не получив от монашek подтверждения произнесенных Подоляком слов, забрали его и вскоре расстреляли. Одна из старших монашek, после отъезда чекистов, сказала: — Пусть оказавшаяся Иудой покинет нашу семью, и мы простим ее, как прощал Христос». И точка.

А всего остального, что домыслено к этому Пидгайным — не было, и в 1935 году быть не могло. Никого в Соловках в одиночках под замком по 8-10 лет не держали, тем более какого-то Подоляка. «Начальником кремля» не был и не мог быть «красивый и стройный князь Трубецкой», на французском языке приказавший монашкам «прекратить комедию», т.е. прекратить религиозное пение, подняться из снега и идти к саням, а через год он же допрашивает их о Подоляке. Всю эту ахинею Пидгайному потребовалось высасывать из пальца, чтобы как-то обосновать его «теорию»: на Трубецких, дескать, монархия и РУССКОЕ православие держалось, да и теперь они служат своему богу Соловков и без жалости пристреливают приверженцев другого бога. Для усиления красок, Пидгайный кадр о монашках начинает с утверждения, будто святые Зосима и Савватий были «творцами каменных мешков и подземных казематов», будто это «они наполнили ужасом Белое море, а на иконе глядят такими смиренными. Лжет икона!» Подобная ультра-шовинистическая клевета и на соловецких святых, и на духовенство, и на еще не вымерших на Соловках представителей старой России у Пидгайнного по книге разбросана столь ще-

дро что хоть лопатой сгребай, думаю, даже Добрянский краснел, ее читая.

Возможно, о тех же самых монашках-христосиках сообщал во втором томе «Новых мучеников...» (стр. 257-261) один из бывших соловчан, доктор соловецкой санчасти, но как задушевно, как убедительно, без прикрас и лжи. Ему я вполне верю и вкратце сейчас передам содержание его рассказа:

Летом 1929 года в Соловки привезли около тридцати монахинь, в большинстве из Шаморского монастыря, что вблизи Оптинской пустыни. Поместили их отдельно, т.к. о себе они абсолютно ничего не сообщали администрации и даже отказались «работать на Антихриста», несмотря на ругань, угрозы, избиения, карцер, голод и жажду — все это было испробовано на них. Обычно в таких случаях отказчиков отправляли на штрафной остров Анзер, т.е. на медленную смерть. Монахинь туда не отправили.

«Меня и профессора доктора Жижиленко вызвали к начальнику санчасти (Тогда — Антиповой, получившей вскоре срок за тиф на острове. М.Р.) Нам намекнули на желательность освидетельствовать и признать монахинь нетрудоспособными, чтобы иметь основание освободить их от принудительного труда... Сам вольнонаемный врач-начальник санотдела УСЛОНА (Тогда им был Яхонтов, уже окончивший срок за практику в Смоленске без диплома, как указывает Киселев на 45-й странице. М.Р.) объяснил нам, что протест монахинь не похож на обычные: без скандалов, криков, хулиганства... — Они — фанатичные мученицы, ищащие страданий... Но их становится невыразимо жалко. Да и не мне одному. Владимир Егорович (Зарин, начальник Первого Соловецкого отделения т.е. островов. М.Р.) то же не смог перенести их смирения и кротости. Он даже поссорился с начальником ИСО (Точнее — ИСЧ. Им был тогда или Полозов по Андрееву, или Росщупкин, по Киселеву, вскоре переведенный в Кемь, в ИСО. М.Р.).. И вот он хочет как-нибудь смягчить и уладить это дело. Если признаете нетрудоспособными, их оставят в покое».

Дальше на двух страницах доктор описывает свои тщетные попытки убедить монахинь согласиться, даже без освидетельствования, чтобы он записал их неспособными к труду... Даже ссылка на работающих православных иерархов не помогла. «Мы здоровы.. Спасибо. Но работать на Антихриста не станем» — отвечали они на все доводы доктора... Все же через неделю они пошли шить и стегать одеяла для лазарета, выговорив себе пользование сообща работать и петь псалмы.

«И только через месяц нам удалось узнать о последнем ак-

те их трагедии. На Соловки доставили священника, оказавшегося духовным отцом некоторых монахинь. Еще более фанатичный, на запрос своих духовных дочерей он ответил категорическим запрещением работать. И тогда монахини отказались от всякого труда... Священника расстреляли... Монахинь вскоре разъединили и по одиночке куда-то увезли... Они сгинули без всякого следа».

Не из этого ли события, передвинув годы, заменив одних лиц другими, состряпал Пидгайный свою «версию», приправив ее «шовинистической начинкой»? Рассказанное доктором напоминает отчасти также эпизод о христосиках-мужчинах, отправленных на тот же Малый Заяцкий остров, только годом позже, в 1930-м, при том же Зарине (А был он тогда, к слову сказать, уже арестован. Начальствовал в Соловках Д. Успенский). Не получив расписок христосиков на продовольственной ведомости, их отправили на голодную смерть, «и через два месяца там нашли только расклёванные трупы», о чем передает Солженицын (стр. 63, 64) со слов «неугомонной Анны Скрипниковой», уж очень напомнившей мне другую Аню-анархистку. В зиму 1931-32 года она изредка забегала в хозчасть кирпичного завода к счетоводу-красавцу Султан-Галиеву, бывшему предсновнаркома Татарии (расстрелян в 1937 году). Тогда я из деликатности бросал шахматные партии с ним недоигранными и удалялся в свой куток... но это едва ли относится к теме о сектантах. Об этой Ане (Зотовой) добрыми словами вспоминает и Андреев (стр. 47): «От нее за версту пышет здоровьем и жизнерадостностью. Толстая, краснощекая, с сияющими глазами и носом, как пуговка... Зотову все любят, и, вероятно, она всегда была и останется такой, чтобы приносить людям утешение...» ...Так неужели та, наша Аня, теперь эта старушка Скрипникова?! Вот бы повидаться, да вспомнить старину!

ГЛАВА 3

ЛАГЕРНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» И РАССТРЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ

Летописцы единодушно подтверждают, что «произвол» продолжался повсюду до весны 1930 года. Но самый момент «перехода количества в качество», как говорят диалектики, т.е. от «произвола» в «оттепель» и лагерная обстановка при ней переданы с пропусками важных деталей, которых они или не знали по своему положению или не могли должным образом оценить.

В тот краткий по времени период — от двух до шести месяцев — в лагерях находились летописцы: на самом острове Олехнович и Никонов, на материке за Кемью Розанов и в Северных лагерях Китчин. Послушаем, как они поняли происходившие на их глазах перемены.

Начнем с Розанова (стр. 17-20):

«На нашем Лоухи-Кестенъгском тракте в мае 1930 года еще не было «обученных лагерных кадров». Наука быть своих воспринималась медленно. При мне только раз конвойр прикладом... только раз в бараке ротный выбрасывал с нар замешкавшихся... только раз, возвращаясь по сухим обочинам, два верховых гепеушника обдали нас грязью от конских копыт и крикнули конвойрам: «Почему не ведете строем и по дороге? Не фабричные. Пусть знают, что в концлагере. Выстроить их и вести в порядок!» Для ГПУ наших мускулов было, очевидно мало. Вот эти двое и напомнили о том.

А еще через несколько дней — в середине июня — на вечерней поверке нам зачли приказ коллегии ОГПУ: «Материалами следственной комиссии... установлены факты произвола, искривлявшего карательную политику. Пользуясь правом внутренней самодеятельности, враги ...пробрались..., чтобы насаждая произвол, вызвать... Бывшие белогвардейцы систематически применяли методы с расчетом разжечь недовольство и вызвать восстание. На основании... низкоименованных — к расстрелу.... Приведен в исполнение. Член коллегии Глеб Бокий».

Первым в списке стоял Курилка, затем десяток бывших белых, а остальные — уголовники. Около сотни «произвольщиков» получили дополнительно от трех до десяти лет лагеря.

Концлагерь вступил в новую эру. Ротный вдруг оказался добродушным весельчаком... У лекпома нашлось время проверять, не заболел ли кто на работе ...Новый начальник из демобилизованных взводных «брался» с нами, гоняя футбольный мяч... Конвоиры уже не вмешивались в работу, а молча пересчитывали людей... Десятники «без похода» отмеривали уроки... Воспитатель привез гармошку, гитару, балалайку и мандолину... По воскресеньям с пропуском в кармане охотники ходили на станцию поглазеть на волю (а иные — и промочить горышко...). Колхозники оценили перемену как скорый роспуск по домам, урки — как близкую разгрузку, и у всех возродилась вера, что власть хороша, да вот люди в лагерях бесчинствовали, не слушались ее. Благодаря доверчивости и близорукости народа, советской власти все сходило с рук. Грязь стекала с нее и липла к другим.

Новая обстановка увеличила число побегов, отказов, краж и освобождений от работ по болезни. Даже «колхозники» часто не выполняли нормы, не говоря уже об уркаганах. Но век страха перед дрыном отошел. Требовались новые, иные методы и средства, чтобы укрепить производственную и лагерную дисциплину».

Теперь послушаем, что говорит об этих днях на самом острове Олехнович (стр. 90-93):

«С первым пароходом в мае из Москвы приехала какая-то комиссия из пяти лиц. Она сразу же пошла по ротам и, приказав удалиться ротному начальству, принялась допытываться у заключенных, в каких условиях они жили прежде и живут теперь, подвергались ли и подвергаются ли теперь наказаниям, каким, за что и кем... По кремлю и всему острову разнеслись слухи, что комиссия поарестовала несколько сот заключенных и вольных, обвинив их в искривлении лагерной политики и в халатности. Почти половину арестованных соловчан вскоре расстреляли, а остальным и вольным дали от пяти до десяти лет нового срока. Зарин, начальник Соловецкого отделения, получил 10 лет. После комиссии уже не дрыновали. Упразднили Секирку (т.е. ослабили режим в ней. М.Р.), улучшили санитарные условия... Хотя нам и объявили, будто все это сделано ГПУ из гуманных соображений, но мы тому не верили и считали причиной всех перемен желанием властей, чтобы у границы не было больше поводов кричать об ужасах в концлагерях. Кто же пострадал от этой комиссии? — Каэры, занимавшие административные должности. Они, якобы, сознательно насаждали произвол, самоуправство. А кто выиграл? — Уголовники, получившие после комиссии ряд привилегий.

Но расчет на них не оправдался. Они лишь запутали учет и снова развели воровство и хищения там, где было чем поживиться. Тогда начальство стало осмотрительнее оказывать им предпочтение перед каэрами: сначала, мол, заслужи его».

Не думаю, чтобы Олехнович был прав относительно каэров на административных должностях. Он повторил официальную версию. Таких на Соловках были единицы, вроде Селецкого или ротных Платонова, Черняевского, Сахарова, Воинова и над всеми ими стояли вольные или ссыльные чекисты, обучавшие их «соловецким методам». Начальниками всех лесозаготовительных и всех остальных командировок и пунктов на островах и на материке до приезда комиссии были старшие конвойные из команды надзора, все из вольных солдат, вроде «Шурки» Новикова на Кондострове, «Ваньки» Потапова или Гусенко на штрафной «Овсянке» и десяток им подобных на материке, приведены в книге Киселева. Как к ним отнеслась комиссия, мы не знаем.

«О привилегиях» шпане. Олехнович, очевидно, вспомнил и привел тут не к месту замену каэров в управлении и духовенства на хозяйственных должностях «соцблизкими» в феврале-марта 1929 года, о чем рассказано в главе «Девятый круг — в лесах». То было сделано по инициативе Ященко, временно замещавшего Эйхманса. Расстрелы весной 1930 года дали уголовникам только одно преимущество — куражиться своей «соцблизкостью», но занять место бухгалтера, прораба или завхоза они не могли. Вот вступать в лагерные «коммуны», «коллективы», «передовые бригады ударников», и на этом основании требовать и получать материальные и жилищные преимущества перед серой каэровской массой — на это они были мастаки и этого у них не отнять. За них горой стояла соловецкая воспитчать, как ни странно, состоявшая, тогда в основном из каэров, но это — особая тема.

Что происходило на Соловках при «оттепели» с дисциплиной, работой и уголовниками, мы от Олехновича ничего больше не узнали. Он сразу же переходит к «замораживанию» ее, но о том — дальше.

Перелистаем страницы с 231 по 237 и выберем, что на них о том же самом рассказывает Никонов:

«К нам в Пушхоз возвратился из кремля с поразительными новостями Михайлов (Борис Михайлович, подполковник). ...«Но какой бум стоял в 12-ой роте общих работ, — рассказывал он: — Там всегда много шпаны и довольно шумно. Вдруг вваливаются с портфелями пять чекистов. Один из них приказывает: — Начальствующие — ротные, взводные, воспитатели,

десятники — немедленно удалитесь ... — Товарищи!.. Сенсация: чекист товарищами назвал. Неслыханное дало!! И полились у него крокодиловы слезы: «Да разве мы знали о зверствах!? Но пролетарское правосудие найдет ваших палачей. К вам обращаемся за помощью. Припомните, что можете». Братва молчит. Потом нашелся один. К нему — другой. И пошло! Возле следователей хвосты. Посмотрели бы вы теперь кремль! Уже арестовали Чернянского и Шманевского (взводного и их одноэтапника. М.Р.). Начальство ходит, как в воду опущенное». ...Через день — вспоминает Никонов — шпана загоготала и на нашем Пушхозе. Видно было: работать эта братия теперь не будет.

С первой оказией Никонов отправился в сельхоз при кремле, розыскал там друга, учителя-правдиста Матушкина* и получил от него такие «разъяснения» о соловецких событиях:

«Самая обыкновенная история. Называется она «Комиссией Ворошилова». Будто бы он возбудил все это дело, получая множество писем от красноармейцев об истязаниях их отцов в лагерях... А Зарина просто пришли к «Заговору». Ведь расстрелянных заговорщиков он провел умершими от тифа».

Насчет «Комиссии Ворошилова» — чистейшей воды лагерная параша! Вполне сродни той, что тот же Матушкин, но уже на 333 странице и по другому поводу выкладывает Никонову:

«А ты уверен в единодержавии Сталина? Я — нет. Помнишь комиссию Орджоникидзе по ревизии ГПУ? Чем она кончилась? Ничем! Сталин мечтал было наложить руку на ГПУ, да не тут-то было!»...

Н-да!... За Матушкиным языком не поспеть и босиком... Из-за таких вот «лагерных откровений», да еще из-за тревог за целость его кроликов, перевозимых в Зверхоз Белбалтлага, Никонов забыл упомянуть об осеннем «подмогаживающем» приказе.

Зато вспомнил о нем Олехнович (стр. 101):

«Однажды осенью 1930 года в редкий и потому дорогой для нас день отдыха, когда так хочется и можно поспать подольше, вдруг в пять часов утра истошный крик: «Подъем! Всем наружу!». Во дворе кремля четырехугольником по-ротно выстроили несколько тысяч соловчан. По рядам шепотом разносилась молва: «Новый кодекс... Максимум пять лет... Нет, не

*) Так называли членов организации Братства Русской Правды, о которых часто вспоминает в книге Никонов.

кодекс — амнистия пришла... Сейчас зачтут».

Наконец, из главных северных ворот показалось начальство в длинных шинелях со списками в руках... Читали, перевертывая страницу за страницей: за побег... за неоднократные отказы... за попытку обезоружить конвой... за участие в групповом отказе... за бандитизм на территории лагеря... Коллегия приговорила... Приговор приведен в исполнение.

Возвращаясь на нары, слышу сзади: «Много ли расстрелянных? Кто-то отвечает: — 123. Другой его поправляет: — «Ты ошибся — 121. Я сам считал».

О тех, кто получил «только довески», Олехнович под впечатлением минуты совсем забыл. А их было много больше, чем расстрелянных. В те же самые осенние уже морозные ночи Розанов слушал этот приказ на командировке «35-й километр» Лоухи-Кестеньгского тракта и в его памяти он сохранился лучше (стр. 26-28):

«Ежась и прихлопывая ладонями от холода, мы выстроились во дворе лагеря. «Больным то же! Важный приказ!» — орало ротное начальство, подгоняя оставшихся.

По рядам волной пробежала новость: — Это насчет разгрузки концлагеря. Давно уже о том болтают. В первую очередь распустят тех, кто пережил произвол, а за ними крестьян... Да и время. Поля-то остались невспаханными... То тут, то там слышалась смешки. Люди повеселели. Дождались. Вот когда дошла она к нам, эта разгрузка. Скоро, теперь скоро и по домам!..

Строй затаил дыхание, схватывая каждое слово приказа. При тусклом свете фонаря, ротный медленно и громко читал: **Приказ коллегии ОГПУ.**

Зачесть во всех подразделениях исправтрудлагерей.

На основе материалов следственной комиссии по Соловецкому и другим концлагерям, коллегия ОГПУ в мае сего года вынесла приговор в отношении контрреволюционеров и произвольщиков, искривлявших основы карательной политики. Определенная часть заключенных восприняла данный приказ, как изменение трудового режима и как право работать тогда и там, где они желают. Учет использования рабочей силы по лагерям с мая констатирует рост побегов и отказов от работы. Классово враждебный элемент распространяет злостные слухи, будто означенным приказом отменяются меры принуждения и воздействия к нарушителям трудовой и лагерной дисциплины. Все это, вместе взятое, привело к срыву производственных планов и крупным материальным убыткам по ряду лагерей.

Коллегия ОГПУ предупреждает всех заключенных, что труд

для них является главной обязанностью, а лагерный режим — законом, за невыполнение которых впредь будут карать со всей строгостью. В отношении нижепоименованных отказчиков от работы, беглецов и контрреволюционных агитаторов, на которых информационно-следственными отделами лагерей был представлен материал, коллегия ОГПУ применила высшую меру наказания — расстрел. Приговор приведен в исполнение. Член коллегии Беленький.*

И началось: Свищев, он же Курочкин, отбывавший срок по статье 59 пункт 3 (за бандитизм) за организацию группового побега, Купцов — по статье 49 (вор-рецидивист) за организацию группового отказа, Охрипенко, осужденный по статье 58 пункт 2 (участие в восстании) за побег с целью перехода государственной границы, Перепелкин, по статье 58 пункт 10 (к.-рев. агитация) за подстрекательство к отказам... И пошло! И пошло!! Около трехсот имен расстрелянных! (Каюсь: включил сюда в книге до двухсот человек, кому по этому приказу дали «только» дополнительные сроки. Принимаю цифру подсчитанных при Олехновиче — 121).

Чуть не час слушали мы жуткий перечень. ОГПУ шутить не любило и отлично знало, когда и как оскалить зубы. Как раз в эти дни и на тех же основаниях — систематические отказы — и расстреляли «148» сектантов. Они хотя и не включены в зачитанный нам приказ, но могли быть уничтожены только с предварительной санкции Беленького. Успенский, всего лишь начальник одного из отделений Соловецкого и Карело-мурманского исп.-труд. лагеря был слишком мелкой сошкой самостоятельно решать такие дела, подведомственные с весны 1930 года только Лубянке или ее областным ГПУ.

— Разгрузили! — иронически, полушопотом пронеслось по рядам: — Дождались разгрузки... Спасибо!.. Реплики слышались только со стороны уголовников, более развязных на язык. Крестьяне молчали, понурив головы. Многие в эту ночь поняли, что их пригнали в концлагеря, как гурты прилежного рабочего скота, — «всерез и надолго». Большевики не позовут обратно пахать землю. Найдут других».

Вот и все, что сообщили летописцы об этих двух мас-

*) Беленький А. Я. (1883-1941). Член партии с 1902 г. Работал в ЧК, ГПУ (1919-1924). Начальник личной охраны Ленина. Затем работал в НКВД. Арестован и умер в заключении в 1941 г. Брат его, Григорий Яковлевич, арестован за троцкизм и также умер в заключении в 1938 г.

совых «законных» расстрелах в Соловецком концлагере. На многие вопросы они не дали и не могли дать объяснений и ответов или приводили такие, как Матушкин, в которых нет ни крупицы истины.

К счастию, имеем мы в запасе еще одного летописца — Георгия Китчина, кто близко наблюдал игру Лубянки в кошки и мышки, правда, не на Соловках, а в Северных лагерях. Разница, впрочем, лишь в местоположении, а не в условиях. Они были сросшимися близнецами телом и душой, от одной мамки. Срок свой Китчин отбывал в Усть-Сысольске (с 1931 г. — Сыктывкар, столица Коми-республики) то заведуя в 1930 году техническим снабжением Севлага, то перепечатывая на машинке управленческую писанину под боком фактического начальника СевЛОН, а — Севлага Васькова, нашего соловецкого знакомца. Благодаря этому он хорошо знал все начальство лагеря и о виденном не судил вкривь и вкось, как многие рядовые заключенные. Его рассказ (стр. 223-238) заполняет листы лагерной истории, пропущенные соловчанами, и дает более ясную общую картину истории концлагерей 1930 года.

Подробно отметив царивший и в СевЛОН, е произвол и ужасную смертность, особенно на экспортных лесозаготовках, Китчин утверждает, что:

«В Москве к весне 1930 года подсчитали лагерные плюсы и минусы и вывели баланс: убыточное дело. С кого же требовать ответа? Отправили следственную комиссию сначала в Соловецкий лагерь на остров и на материк, где до пятидесяти тысяч заключенных были заняты лесозаготовками. Преступность, продажность, расхищения выплыли на свет. За допросами последовали аресты. Посадили едва ли не все начальство Соловецких лагерей. Вскоре коллегия ОГПУ приговорила главных злодеев к расстрелу. (Главные-то — подправим Китчина — и не пострадали: на Лубянке ни с кого головы не полетели. М.Р.)

В нашем СевЛОН, е комиссия пробыла только три дня. Монахов, начальник Котласского пересыльного пункта (из соловецких «кадров», подстать Курилке. М.Р.), не дожидаясь допроса комиссией, но зная, сколь жадно жаждала его головы шпана, которую он особо не миловал, — застрелился. Бухальцев, начальник котласского городского отделения, правая рука Френкеля и его одноделец по Соловкам, взят под конвой и отправлен в Сыктывкар, как заключенный. Неопределенность, создавшаяся в Управлении лагерем и на местах, совсем расстроила Васькова, и чем больше пил он в эти дни, тем чаще повторялись у него сердечные припадки.

В конце июля (не описка ли вместо июня? М.Р.) распространялись слухи об отмене военного положения в лагерях и замене всего начальства. Слухи подтвердила телеграмма из Москвы: «Отменить военное положение. Улучшить бытовые условия заключенных. Сократить производственные задания (Надо понимать: уроки, нормы выработки. М.Р.). Ввести дни отпуска».

Васьков, заквашенный на соловецких дрожжах, совсем сник и впал в беспрబудное пьянство.

За какую-нибудь неделю внешний вид СевЛОН,а, ставшего Севлагом — не Особого Назначения, а серым исправительно-трудовым лагерем — заметно изменился. Ввели даже пятидневку. Наконец-то заключенные могли перевести дух.

Продукция лагеря — в лесу, на погруззках и постройке дорог, однако, не только не возрасла, но покатилась вниз. Из Москвы зачастали телеграммы, требующие любой ценой удержать прежний уровень производства.. Как обычно, при таком положении в СССР из одной крайности бросаются в другую, тогда как выход находится где-то между ними. Созывались бесчисленные конференции, пересматривали и переделывали планы, ворохами портили на них бумагу, а толку ни на грош.

...А тем временем заключенные, как только возможно, пользовались передышкой. В городе Усть-Сысольске во множестве появились женщины в ярких шляпах и платках, — жены, вызванные заключенными мужьями. Севлаговцы целыми группами толпились в пивных, пили водку и перебранивались с горожанами-зырянами. Среди богомольцев в церкви появились заключенные, за что прежде строго наказывали. Два оборотистых молодых лагерника ухитрились сочетаться браком с местными девицами. Проститутки в общих женских бараках уже открыто принимали «клиентов», попутно учиняя пьяные оргии. Уголовники раскрадывали со складов лагеря топоры, пилы, гвозди и обменивали их на базаре у крестьян на продукты. Участились побеги. Васькову уже не отдавали честь встречные арестанты, когда он в своем экипаже проезжал по городу, а месяцем раньше за такую дерзость бросали в карцер. Становилось все яснее и яснее, что подобное общее разложение должно непременно привести к какому-то концу. Ждать долго не пришлось.

В начале августа (вернее — в конце. М.Р.) из котласской пересылки телеграфировали, что новый начальник ГУЛАГ,а тов. Коган в дороге к Усть-Сысольску, сопровождаемый полномочным представителем ГПУ по Северному краю тов. Шайроном. Васьков бегал из отдела в отдел, рассыпая ругань и прокля-

тия, не зная с чего начать, за что приняться. Мы все чувствовали, как зловещие облака сгущались над нашими головами.

...На другой день из окна лагерного склада я наблюдал помпезную встречу. Взвод охраны выстроился на пристани. Духовой оркестр ожидал только сигнала. Васьков и все остальные вольные начальники облачились в отутюженные формы, в сапогах, начищенных до блеска, выражая всем видом готовность «есть глазами начальство» и тем подчеркивая особую важность момента. Пароход уже подходил к пристани. Оркестр грянул «Интернационал». Васьков быстро вбежал по трапу, но еще быстрее спустился по нему, отчаянно махая оркестру, чтобы замолк. Но трубачи увлеченно продолжали дуть, пока Васьков кулаком не добрался до рёбер дирижера. Тут только оркестранты сообразили, и пустились наутек. Такое начало не предвещало розового конца.

...Короткий, коренастый, омедаленный муж в форме ОГПУ не спеша сходил по трапу с пренебрежительно сморщенными губами, словно хотел этим сказать, что не ожидал подобной идиотской встречи. За ним шествовали начальник Севлага Бокша и несколько других вельмож в тех же или выше чинах, что и Бокша, с портфелями в руках. Бокша махнул охране, и та тоже не замедлила испариться. Торжественная встреча явно не удалась.

Еще большие неприятные неожиданности для всех случились, когда Коган направился осматривать лагпункт. Первой у ворот приветствовала его во весь голос помешанная Сашка:

— А, главный палац заявился!

— Что я слышу? — спросил обозленный Коган.

— Умалишенная заключенная, товарищ начальник, — пояснил комендант лагпункта.

— Почему же она не изолирована, а свободно разгуливает?

— У нас таких несколько, они тихо ведут себя и хорошо работают, — ответил комендант.

Терпение Когана, видимо, истощилось. — Это же возмутительно! — изрек он. — И почему вон те заключенные не на работе? — спросил Коган, показывая на группу играющих в футбол и по разным причинам в этот день отдыхающим или освобожденным.

— Они больные, товарищ начальник, — ответил уже петретрушивший комендант, и тут же понял свой промах.

— Больные?! Не принимаете ли вы меня за идиота? Вот я прикажу арестовать вас, тогда узнаете, что такое быть больным. Тут какой-то венский Луна-парк, а не рабочая командировка ОГПУ! И уже совсем взбешенный, повернулся к Бок-

ше: — Что за чертоващина произошла тут со всеми вами?

Коган быстро пересек двор лагпункта и пошел по бараком, проверяя их состояние и задавая заключенным обычные вопросы: за что осужден? на какой срок? есть ли жалоба? На просьбу крестьянки переселить из их барака проституток, Коган только фыркнул, продолжая путь... Бокша с жалким видом сопровождал высокого гостя, а Васьков с отчаяния ушел домой заливать неудачи спиртом. Водку он не пил.

Результатом инспекции Коганом Управления Севлага было его распоряжение «всех перечисленных направить на общие работы, как осужденных за контрреволюцию». Сами начальники отделов — чекисты пришли в ужас: как же им тогда «руководить» без знающих работников? Васьков успокоил их и нас, обещая восстановить на старых местах всех снятых, как только Коган уедет. Так он и сделал. «Что за кукольный театр? — восклицает по этому поводу Китчин.

Восьмого августа (не сентября ли? М.Р.) зачли приказ.*

Восемьдесят два человека назначены к расстрелу по разным обвинениям: за саботаж, побег, агитацию, отказы от работ и т.д. «Приговор приведен в исполнение. Подписан: Коган».

Среди казненных Китчин нашел трех своих бывших друзей: услужливого и забавного Петкина, арестованного за три недели до Когана, Тимофеича, с кем сидел в одной камере в Ленинграде, за двойную попытку побега из лесной командировки и своего бывшего ученика — латышского офицера Балтрушевича, кто убежденно ни одного дня не работал в Севлаге.

Одновременно с «расстрельным» приказом Коган объявил другой, отменявший все недавние реформы и полностью восстановливавший прежние производственные планы и эксплуатацию заключенных. Жизнь лагеря вернулась в старое русло. Вскоре замелькали новые «расстрельные» приказы. За полтора месяца реформы не было ни одного расстрела и мы уже привыкли чувствовать себя в относительной безопасности. До реформы, правда, расстреливали, но редко о том объявляли.

*) т.е. почти на два месяца раньше приказа Беленького по Соловкам. Коган и Беленький не только не видали в лицо утвержденных ими к расстрелу, но даже не читали следственных дел на них. Они просто утвердили «рекомандации» Третьих отделов с такой же легкостью, с какой разгрузочные комиссии на Соловках ежегодно осенью сбрасывали часть срока или заменяли его ссылкой сотням заключенных по спискам, согласованным между Третьим отделом, начальником лагеря и Воспитательно-Трудового отдела.

Начальство предпочитало «пускать в расход» без шума, но о таких случаях молва все же доходила до нас.

В конце августа Москва назначила к нам новых начальников: на место Бокши (а что стало с ним — неизвестно) плотника Сенкевича, бывшего начальника Вологодского ГПУ, на место Васькова (позже назначенного на Колыму к Берзину. М.Р.) латыша Шкеле, до этого начальника Третьего отдела Севлага (Он-то и дал Когану на утверждение список «рекомендуемых» к расстрелу. М.Р.).

Будни Севлага теперь пошли по проторенной годами дороге. Осенью вспыхнул тиф (затихший в Соловках. М.Р.). Началась поголовная, с макушек до пяток стрижка мужчин и женщин и даже духовенства, еще сохранявшего длинные волосы и бороды. Начальник усть-сысольского лагпункта латыш Озол, несмотря на протесты женщин, присутствовал при стрижке, успокаивая их тем, что: «Я не буржуй и нечего меня стесняться».

В летопись Китчина включены не только подробные характеристики многих крупных начальников Севлага, но и описание их внешнего вида, манер, семейного поведения и т.п. Из всех летописцев двадцатых годов только он мог вблизи наблюдать за теми, в чьи руки были отданы тысячи и тысячи жизней.

Олехнович (стр. 125-127) рассказывает о какой-то новой московской комиссии на Соловках, не сообщая ни точных причин ее приезда, ни времени:

«Комиссия, пишет он, установила, что начальник Соловецкого лагеря Мордвинов вместе с несколькими сотрудниками ИСЧ покровительствовал ворам, и те делились с ними добычей. Мордвинов получил то же, что его предшественник Зарин — 10 лет, но кражи от этого не прекратились».

Такое изложение толкнет читателя на догадку, не эта ли, мол, комиссия дала материал Беленькому для приказа о расстрелах, который зачитывали осенью 1930 года? Да ничего похожего! Эта комиссия послана Москвой много позже, в сентябре 1932 года для расследования причин пожара в кремле и наказания виновных в нем. Вся история с пожаром довольно подробно описана мною в «Завоевателях...» (стр. 55-59). Выехав с Соловков в Ухтпечлаг в октябре, я там через год в Чибью повстречал Квитневского в лагерном бушлате. Он был начальником административно-хозяйственной части Соловецкого отделения. Ему на острове во время отпуска Истомина, начальника культпросветчасти, я приносил на цензуру соловецкую газетку. Вот что я узнал от него об этой комиссии и

о пожаре (в сокращенном здесь изложении):

— Истомину тоже не повезло. Отобрали партбилет и сняли с должности. Ну, а с нами обошлись еще круче. Мне дали пять лет, а начальнику ИСЧ Мордвинову полный срок — десятку. Он отправлен в Дальлаг. Начальник отделения Солодухин как-то выкрутился. Учли, что он лишь недавно назначен на остров.

— Надеюсь — спросил я — вас не наградили 58-й статьей?

— Что вы? Чекистам такая статья вовсе не подходит.

— Кто же оказался виновником пожара?

— Мы.

— Вы шутите? Не может быть!

— Собственно говоря, осудили нас не за пожар, а за режим на острове... Распустили мы людей. Перегнули палку в другую сторону. Поняли это, да поздно. А Мордвинову пришлось ответить еще и за свой аппарат. Следственная комиссия нашла у двух его сотрудников золотые вещи, подлежавшие сдаче в Москву (Не золотые ли зубы расстрелянных, догадываюсь я сейчас М.Р.). Да и насчет женщин кое-кто из его штата то же грешил.

— Неужели дошло до обысков у сотрудников ИСЧ?

— А что вы думаете? Тут не до церемоний. Пожар-то обошелся в полтора миллиона! Кто-нибудь да должен ответить за убытки.

В ту пору мне казалось странным такое объяснение. И лишь много лет спустя, на горьком опыте я понял его смысл: воспитывать во всех страх ответственности не только за себя, но и за других. Кто-то, пусть даже абсолютно непричастный, но должен быть наказан.

Какой-то шпаненок под куполом Успенского собора, наславившись на кучах одеял со своей «Муркой Шухерною», бросил незатушенный окурок. За него и слетели генеральские ромбы с воротничков зажиравших чекистов. Да и тысячам соловчанам он отозвался похоронным звоном по короткой «тепели». Режим-то сразу прикрутили. Предчувствуя это, я смеял Соловки на грязный и вшивый, но без зон и поверок Ухтпечлаг.

ГЛАВА 4

«АРИСТОКРАТЫ» — СОЦИАЛИСТЫ

С первой партией политических из 150 эсеров, меньшевиков и нескольких анархистов на Соловки 1 июля 1923 года доставили молодого меньшевика Бориса Сапир. До этого социалисты содержались в Пертоминском монастыре-концлагере верстах в пятидесяти от Архангельска. До весны 1923 года там начальствовал тоже «программевший» Бахулис, «перевоспитывавший» социалистов холодом и темнотой, (не давал ни топлива, ни света) и для собственного развлечения временами постреливавший по окнам корпуса, занятого арестантами. Москве Бахулис почему-то не угодил и весною 1923 года его заменили Михельсоном, в котором тоже привлекательных черт ни Клингер, ни Седерхольм не нашли.

Про главу о Соловках в книге Далина и Николаевского от 1947 г., которую написал Сапир, мы уже упоминали, перечисляя летописцев. Рассказанное им о соловецком кремле, духовенстве и каэрах более подробно изложено Клингером и Зайцевым значительно ранее, а более чем сомнительные цифры о концлагерях взяты из Киселева, о чем Сапир честно упоминает в сносках. Про своих политических он рассказал мало: меньшевик Яков Аранович повесился в Кемперпункте, эсер Юзик Сандомир вскрыл себе вены на острове, профработник металлист Михаил Егоров-Лызлов сошел с ума, да еще, что голодовка эсеров и анархистов с 3 по 14 октября была безрезультиатной. Переведенный вскоре из Савватьевского скита в Муксальмский, он не был очевидцем стрельбы охраны по безоружным эсерам. Об этом, как вообще о всей обстановке среди политических, мы пользуемся воспоминаниями эсерки Олицкой. Хотя сама она в те дни еще не была в Савватьеве, но до дня вывоза политических с острова содержалась там среди очевидцев и уцелевших при бойне, почему события у нее изложены более подробно и достоверно.

До конца навигации 1923 года и весь 1924 год Соловки пополнялись новыми небольшими группами социалистов из столичных тюрем. Савватьевский скит вскоре был переполнен. Пришлось заселять социалистами еще два скита: Муксальмский и Анзерский. Всего на Соловки завезли до 500 политичес-

ких. Были среди них и супружеские пары, некоторые даже с детьми. С разношерстным населением кремля социалисты не поддерживали ни физического, ни духовного общения, но некоторое представление о царившем там произволе, конечно, имели.

В своих скитах социалисты по традиции и, конечно, с позволения Москвы, коллективно защищали свои «права политических», отвоеванные у царизма. В каждой партии был свой выборный, а не общий и назначенный начальником, как для каэров, староста, свой завхоз, своя каптерка, куда поступали деньги и посылки от родных и свои кельи (по партиям и фракциям). Лагерные продукты, значительно лучшие по качеству и количеству чем в кремле, и посылки от Красного Креста шли в общую каптерку и в общий котел. Истощенных и цынготников среди социалистов не было. К ним иногда приезжали на свидание жены и матери. «Немедленно по выходе на берег — сообщал «Социалистический Вестник» в № 16-м от 1923 года — жены заключенных были взяты под стражу и отведены в здание, громко именуемое гостиницей» (т.е. в бывший странноприимный дом для богомольцев).

Колючая проволока и четыре вышки с часовыми отгораживали социалистов от остальных соловчан. Они не могли выйти за проволоку, но и охране тоже было запрещено переступать «демаркационную линию». Жизнь в Саввательеве шла относительно безмятежно в сравнении с бурной кремлевской. В церкви, приспособленной под новые «нужды», читались лекции, доклады с диспутами на разные темы, иные убивали время за шахматами и преферансом; понемногу богатела собственная библиотека. Выписывались книги, газеты, журналы, словом как в «проклятом прошлом». Старосты составляли график и назначали своих людей на различные внутренние работы: на уборку, на заготовку и пилку дров, на кухню, в околодок и т.д. Время от времени объявлялись общие или фракционные голодовки по разным причинам и кое-когда ценою одной или двух жизней, а то и дешевле, кое-чего добивались, но, главным образом, потому, что почти сразу же в поддержку таких протестов поднималась кампания в западной социалистической прессе, получавшей быструю и точную информацию через «Социалистический Вестник». Наиболее воинственно вели себя левые эсеры и анархисты. Эсеров представлял член Центрального Бюро партии А. А. Иваницкий, самый старый по возрасту и партийному стажу, с опытом царской каторги и побега, а меньшевиков — Богданов, член соц.-демократ. Центрального Комитета, — «полная противоположность Иваницкому. Корена-

стый, широкоплечий блондин, неплохой оратор, очень эрудированный человек... конечно, тоже подпольщик царских времен» (Олицкая). Почти все остальные социалисты, как и авторы воспоминаний — Олицкая и Сапир — молодежь и едва ли кто из них в те 1923-1925 годы мог похвастаться дореволюционным партстажем. Судя по фамилиям, приводимым авторами, значительную прослойку среди социалистов составляли евреи.

Самым крупным событием из истории содержания политических на Соловках надо признать стрельбу конвоя по безоружным эсерам и анархистам в час прогулки. Дело было так (по рассказу Олицкой):

«В один из приездов в Саввательевский скит (в декабре 1929 г.) Эйхманс заявил старостам, что получены новые инструкции о режиме для политических, которые и будут постепенно вводиться. Пока что, с 20-го декабря переписка ограничивается тремя письмами в месяц и сокращается прогулочное время. С проверки — с 6 часов вечера и до 6 часов утра — запрещается выходить из корпусов (Обычно позволялось гулять до 8 ч. вечера. Сапир.) Старосты сразу же заявили Эйхмансу, что коллектив не примет такого нововведения... хотя бы потому, что ужин разносится после 6 ч. и что замедленная вообще переписка и без того зимой прекращается. Эйхманс, повторив что инструкция ему дана и что с 20-го декабря она вводится, покинул лагерь. Между тем... в Саввательево прибыл новый начальник скита Ногтев и на переговоры к нему в 5 часов вечера отправился староста эсеров Иваницкий, но Ногтев его не принял».

Тут надо пояснить, что Ногтев не начальник скита, а начальник всех Соловков, и прежде всего начальник над политзаключенными. В скит же он явился, надо полагать, только за тем, чтобы показать, как надо вводить новый режим. Политические в глаза и за глаза называли его палачем, чего он и залуживал, как помощник известного харьковского чекиста Саенко в недавнем прошлом и убийствами одного-двух из вновь прибывающих этапов, о чем писал Ширяев. Поэтому, социалисты предпочитали вести переговоры с более выдержаным Эйхмансом. Информированные старостами, все политические единодушно признали, что принять новый режим и подчиниться ему они не намерены.

«...но по поводу способов борьбы с режимом сразу же наметились расхождения. Эсеры, левые эсеры и анархисты решили прогулок не прекращать и чтобы гуляние продолжалось весь день, разбились на группы, которые сменяли друг друга и до и после проверки, проводимой в 6 ч. вечера. Только соци-

ал-демократы (меньшевики) сочли, что демонстрировать прогулки после 6 часов не нужно, что следует присмотреться к тактике администрации... Обычно, продолжает Олицкая, в 6 ч. вечера с колокольни ударами в колокол объявляли поверку. Приходил старший надзиратель и вместе со старостами обходил кельи, считая людей. До поверки заключенные гуляли во дворе. Гуляющих в тот вечер (19 декабря) было довольно много («шестьдесят человек» — Сапир). Внезапно они увидели, как из административного корпуса (где размещалась охрана. М.Р.) выходит наряд конвоиров с ружьями на перевес. Цепь конвоиров окружила весь прогулочный двор и сразу же раздалась команда: «Заходи в корпус!» и «По мишеням — пли!». Раздался залп. Все в корпусе вскочили и бросились к окнам, лестнице, наружу... Навстречу им несли уже раненых и убитых... Раздался новый залп по толпе, заходящей в корпус, затем еще один... В этот день — отмечает Олицкая — дежурный по Савватьеву не звонил в колокол на поверку... Шесть убитых и трое тяжело раненых были занесены в корпус за двадцать минут до поверки, т.е. до 6 ч. вечера. ...20-го декабря в скит прискакал Эйхманс и вызвал старост. Он заявил им о печальном недоразумении, о снятии Ногтева с поста и отдаче его под суд. Старосты обсуждать с Эйхманом «недоразумение» не стали. Эйхманс разрешил отправить двух тяжелораненых в кремлевскую больницу и самим социалистам похоронить убитых. За колючей проволокой вдоль ограды выкопали братскую могилу... «Вы жертвою пали» — пел хор арестантов. На большом валуне высекли имена погибших и водрузили его на могилу... но после увоза политических с острова, валун перевернули (а еще позже, думается, валун разбили кувалдами и куски побросали в озеро. М.Р.)... После того никто — ни политические, ни администрация — не говорили о новой инструкции и об изменении режима».

«Социалистический Вестник», выходивший тогда в Берлине, в номере от 11 февраля 1924 г. в передовой «Бойня в Соловецком концлагере» сообщил, что 9 января президиум ЦИК, а создал комиссию из А. Смирнова, Коростелева (член ЦКК, Александр Алексеевич, умер в заключении в 1937 г. м.р.) и Катаньяна для расследования происшествия, о чем 10 января кратко было напечатано в московских газетах.

«Весной 1924 года эта комиссия — Олицкая называет ее комиссией ОГПУ — приехала на Соловки. Старосты заявили ей, что политические дадут показания только, если в разборе дела примут участие представители общественности, хотя бы Красного Креста. К этому времени социалисты уже знали, в

каком виде описано в «Правде» петитом «столкновение конвоя с напавшими на него заключенными», а в «Роде фане» — подвал о «бунте» на Соловках и узнали также, что Ногтев на самом деле не под судом, а начальствует в другом лагере, о чем рассказали прибывшие оттуда заключенные».

Почти два года содержались на острове социалисты, окрещенные прочими заключенными «соловецкой аристократией» за то, что не работали, питались не в пример лучше и не боялись лагерного начальства. В конце июня полутысячную партию «аристократов» погрузили на «Глеба Бокийя» и в «столыпинских» из Кеми развезли по политизоляторам, о чем подробно повествует Олицкая. По этому поводу «Социалистический Вестник» уже 10 июля 1925 г. дал статью с розовым заголовком «Конец Соловков». В тексте ее прочли: «С ликвидацией Соловецкого концлагеря уходит в прошлое крупная глава из истории большевистского террора, уходит имя — Соловки... Соловки уничтожены — говорит ГПУ — да здравствует Кемь!» Вскоре «Соц. Вестник» понял, что «глава из истории большевистского террора» не только не закончена, а лишь начиняется, и в этом терроре социалисты всех оттенков в нескольких политизоляторах и в ссылках оказались каплей в море. К тому же, отправив одних социалистов на материк, большевики навезли туда новых, но уже на положение уголовных. Их не мало работало в лесоустроительной партии летописца Зайцева, а с одним из них — известным анархистом Ломоносовым Роландом — в 1927 году он отыскивал в лесу и закапывал отаявшие трупы убитых лесорубов (стр. 130). И это было только начало «Архипелага»!

Развозил социалистов тот «замечательный» конвой, который привез Зайцева, но Зайцев не знал о том. Зато более подробно информировал о вывозе политических Клингер (на стр. 194):

«Накануне (в июне 1925 г. М.Р.) — сообщает он — в Соловки прибыла из Москвы особая комиссия в составе коменданта центрального ГПУ Дукаса, следователя Андреевой, представителя Верховного Суда Смирнова и помощника прокурора по делам ГПУ небезизвестного Катаньяна и ряда чинов из высшего военного начальство. Комиссию сопровождал специальный отряд войск ЧОН. Комиссия эта явилась наблюдать за перевозкой политических и партийных с Соловков».

В книге Далина и Николаевского «Принудительный труд в СССР» на стр. 188 приведен полный текст декрета Совнаркома от 19 июня 1925 г. за подписью Рыкова о вывозе социалистов с Соловков в политизоляторы по предложению

ОГПУ. Обращает внимание необычайная «оперативность» ОГПУ. Декрет принят 19 июня, а конвой и комиссия для наблюдения уже в пути на Соловки с 11-го июня...

К описанию Олицкой о событии 19 декабря добавим со стр. 269 еще одну деталь:

«Для нашего любимца, шестилетнего Вовы, сына Дерковской, политические смастерили на дворе снежную гору и салазки и сами увлеклись катанием. Так горка разрослась в большую гору, со спуском на самое озеро. Вместо больших салазок, катались на досках, на перевернутых табуретках и на оставшихся от монахов старых иконах, облитых водой и обледеневших, против чего возражали отдельные товарищи, видя в этом неуважение к чужому культу».

Клингер про горку и катание на иконах и салазках не знал или забыл, но про стрельбу конвоя помнит и передает (стр. 193), правда, всего двумя фразами:

«Когда зимой 1923 г. группа бывших (!?) социалистов каталась на лыжах и коньках (Каток на озере у них был. Об этом помнят другие, слыхал и я. М.Р.) и пела антисоветские песни, которые не умолкли, несмотря на категорический приказ стражи, взвод чекистов открыл по группе стрельбу. Было убито восемь человек, в том числе три женщины».

То же самое сообщает и Мальсагов (стр. 123).

К этой краткой информации Клингера очень близка по содержанию та, что приведена в книге Роя Медведева «К суду истории», на 275 стр. анг. текста:

«Ухудшение тюремного режима стало заметно уже в двадцатые годы. В конце 1923 года, например, уменьшили продолжительность прогулок, чем было провоцировано столкновение между эсерами и охраной в Соловецкой тюрьме. Там были и другие эксцессы, но в то время они считались скорее исключением, чем правилом».

**

Ни Бессонова, ни Клингера, белых офицеров и монархистов, никак ни заподозришь в симпатиях к социалистам в заключении. Однако, они отдают им должное в сплоченности — все за одного, один за всех — чего, мол, у нас, кэров, недостает: у нас каждый за себя и никто за всех. Бессонов уже высказал это мнение, описывая сплоченность шпаны, а Клингер (на стр. 193-194) говорит так:

Справедливость требует сказать, что, добиваясь своего исключительного положения на Соловках, политические отстай-

вали свои требования с решительностью, доходившей до самопожертвования. Преклоняясь перед этими невинными жертвами чекистского произвола (бойни 19 декабря ст. стиля. М.Р.), я все же не могу не сказать, что они — капля в море в сравнении с тысячами погибших «контрреволюционеров»,...могилы которых остаются никому неизвестными... Читателю представляется судить, что сделал бы с каэрами Ногтев, если бы последним вздумалось, как заведено было в Саввательеве у социалистов, читать лекции по общественным, научным и политическим вопросам» (а также устраивать по ним диспуты, как вспоминает Олицкая. М.Р.).

ГЛАВА 5

КИНОФИЛЬМЫ «СОЛОВКИ» и «КАТОРГА»

Описывая, как в Кемском пересыльном пункте УСЛОН,а в зиму 1927 года уголовников — «леопардов» выпускали на оправку, ген. И. М. Зайцев (стр. 79) добавляет:

«Какая выигрышная панорама для киносъемки! Было бы превосходно заснять истинную соловецкую жизнь на фильм и продемонстрировать его заграничной публике. В мое время (в 1925 и в 1926 гг. М.Р.) Совкино производило такую съемку. Боже, какая наглейшая и подлейшая была инсценировка всех видов и сцен!»

Выступая как бы свидетелем на стороне Зайцева, Седерхольм (стр. 328) вспоминает, что осенью 1925 года по роду работы в кремле он должен был относить из 10-ой роты канцеляристов какие-то бумаги в лазарет, но не мог выдерживать вони от больных, лежавших в проходе на полу (то были цынготники и обмороженные. М.Р.).

«Однажды, продолжает он, приближаясь к лазарету я обратил внимание на столики в садике перед больницей, опрятно покрытые скатертями. На столиках стояли чашки и бутылки, а за ними сидели «больные» в хороших больничных халатах и не дрожали от сильного мороза. Это не могли быть больные соловчане, а, наверное, отборные чекисты, выделенные для съемки. Мой совсем не импозантный вид в порванной шапке, овчинном полушибаке и валенках мог испортить очарование идиллией счастливых отдыхающих «пациентов». Один из двух режиссеров дважды крикнул мне: — Ты, бородатый! Пшел к черту! Убирайся вон!

Такая киносъемка для «Соловков» подробнее описана Киселевым-Громовым (стр. 181-183), но для других кадров. Во-первых, датой киносъемки он указывает 1928 год, когда современники фильма — Зайцев и Седерхольм — уже давно покинули остров. Киселев умолчал о том, что в 1928 году снимались лишь отдельные кадры, чтобы «подновить» и дополнить ими старый фильм. Во-вторых, в 1928 году на Соловках отбывали срок более объективные летописцы Андреев-Отрадин, Никонов-Смородин и Олехнович (Киселев — из бежавших чекистов). Первые два вообще не сочли нужным включить в

свои воспоминания эту съемку, но Олехнович уделил ей 116 и 117 страницы. В-третьих, Киселев прибрёхивает, будто —

«На съемочную площадку (в скверике около Успенского собора) привели строем женщин, а так-как одежда их не подходила под чекистский фильм, женщины предварительно одели в платья расстрелянных в Москве каэрок. Такой одежды в 1928 году было привезено два вагона для продажи соловецким чекистам».

На Соловках хватало отлично одетых дам, привыкших в свободные от занятий часы непринужденно гулять в этом скверике. От иных из них пахло даже духами Коти. Это были леди из московского и петроградского бомонда, кое-кто из них — сокрушался Седерхольм (стр. 330) — носил известные имена и титулы. Большинство таких устроились машинистками, секретаршами, артистками, так что на кнопленку они могли попасть в «естественном состоянии». Из этого, конечно, совсем не следует, будто они чувствовали себя на Соловках, как дома. Каждая по своему в душе переживала свой рок. Смешно подумать, будто Соловки могли заменить прежнее общество княгиням Гагариной, Константиновской, Шаховской (в скоре отправленной в Кемь официанткой ресторана УСЛОН,а для Гелепушников, что упомянуто и Солженицыным в «Архипелаге»), чайнице Высоцкой, первой жене Рябушинского, племяннице выкраденного из Парижа генерала Миллера — Миллер-Соколовой... да много там было с известными именами, разве всех упомнишь! Что ж им, слезы без конца проливать, до одури шлепать на машинках и счетах или дружить с проститутками и воровками в бараке? Никто из таких не голодал, в мешках и опорках не ходил, а иные к кое-кому даже питали нежные чувства. «И на Соловках солнце светит» — нет-нет, да и напомнят летописцы.

Почему-то костюмов с расстрелянных мужчин Лубянка в Соловки не прислала. Пришлось поэтому комендатуре, как пишут Олехнович и Киселев, бегать по ротам, искать и отправлять на площадку заключенных, сохранивших хорошую одежду. Сгрудившись там, смешавшись с женщинами — вот подвездло! обычно за это в карцер, — соловчане немного воспряли духом, а узнав про цель — захихикали. Тут-то операторы и захватили их на пленку, — пишет Олехнович. Киселев же утверждает, что толпа стояла угрюмо и только подбодренная пинками ротных «по указанию свыше» — изобразила требуемое оживление на лицах и зашевелилась.

В фильме начисто обойдено все, чем «прогремели» Соловки по белу свету: лесозаготовки, саморубы, Секирный изо-

лятор, сущий бедлам в 11, 12 и 13 ротах в соборах, доживающие доходяги, обмороженные и инвалиды на Кондострове, «мамки», «леопарды» и сифилитички на Анзере. На время съемки в 15 строительной роте за кремлем (в так называемом Рабочем городке, за кладбищем) выбросили и нары, и вагонки, заменив их топчанами с матрацами, подушками и одеялами. Показали эту роту так, как она была оборудована через 3-4 года, при «оттепели», когда я жил там.

Несмотря на такой оголтелый «соцреализм», соловецкое начальство набралось нахальства показать тот фильм самим соловчанам. Олехнович пишет стр. 116, 117):

«Помню, как накручивали картину в скверике около собора. Часть соловчан усадили играть в шахматы и читать газеты, другая — гуляла с женщинами под музыку духового оркестра. В кино посмотрели на самих себя, как мы бодро выходим на развод, как весело работаем и культурно развлекаемся... Вскоре в письме от мамы из Минска прочел: «Смотрела кино про Соловки. Похоже, живется вам там не плохо. Успокоилась теперь за тебя»... Пришлось подтвердить старушке, иначе цензура не пропустила бы письма».

Сам Максим Горький подставил ножку Киселеву, так начав свой очерк «Соловки» (т. 20, стр. 202):

«В эти дни (осенью 1929 г.) по всему Союзу Советов кинематограф показывает остров Соловки. Фильм этот я видел в Ленинграде после того, как побывал в Соловках; съемка сделана в 1926 году и уже устарела...».

Нашел я и рекламу этого фильма в «Правде» и в «Известиях», как «исключительно документального». Его рекламировали и демонстрировали в Москве с 17 по 22 сентября в кинотеатрах Первом Художественном на Арбате, в «Уране» на Сретенке и в «Арсе» на Тверской.

В рекламе и отзыве о фильме упущена фамилия постановщика. Но Киселев проговорился: «Старый чекист Архангельский три недели добросовестно трудился над картиной... заставляя ротных пинками оживлять физиономии заключенных».

В «Известиях» от 21 сентября 1929 г. под общей шапкой «Культурфильм, как орудие политической пропаганды» дан на него отзыв, озаглавленный «Жизнь ссыльных в Соловках». На 130 строках петита рецензент П. Баранчиков так уж расхвалил «житуху» соловчан, что не диво, коли легковерные позавидовали им... Стоило бы полностью перепечатать теперь этот «официальный брёх во всесоюзном масштабе», а приходится экономить место.

«Совкино — пишет Баранчиков — пришла очень удачная

мысль восполнить пробел (в советской пропаганде), запечатлев на экране жизнь и работу жителей («жителей! М.Р.) Соловецкого концентрационного лагеря. ...Каково же удивление зрителя, когда с первых же кадров фильма перед ним встает живописный и благоустроенный уголок, населенный здоровыми, бодрыми людьми, день которых проходит в таком же чередовании труда, отдыха и развлечений, как и каждого трудящегося на свободе... Живут ссыльные в общежитиях или в отдельных комнатах, уютных и в своем роде комфортабельных...»

В общем, рецензент не встретил на экране —

«..Ни одного лица, на котором виднелась бы придавленность. Ни одной фигуры, в которой виднелась бы забитость. Целительный режим Соловков (Так прямо и влепил, ей-Богу! М.Р.)...делает свое большое дело... И фильм каждым своим кадром показывает это (от дня прибытия в концлагерь до дня выезда на волю). В Соловецком концлагере ничего не осталось от того режима, который пускал в ход каменные мешки... Он ничего не имеет общего с современными тюрьмами и крепостями буржуазии...где прежде временно сводят в могилу... Фильм прекрасно разъясняет методы исправления... и разбивает всякие нелепые выдумки об «ужасах» в «застенках» ГПУ. Фильм полезный и заслуживает... Надо бы показать его за границей», — заканчивает рецензент.

Фильм «Соловки» — добавлю от себя — снимался в 1925 и в 1926 годах. Я смотрел его в Тамбове в декабре 1926 года, но запомнил — опять из-за нее, Женички К. — лишь один кадр: как в соборе в полуутеме дьякон с нижних нар пробирается на верхние завешенные к генеральшам и нэпманщицам. Этот кадр в 1929 г., конечно, вырезали. Фильм был насыщен не-злобивым юмором и не вызывал ненависти ни к заключенным, ни к их тюремщикам, вопреки уже широко распространившейся песенки: Соловки вы, Соловки — Дальняя дорога. — Сердце ноет от тоски — На душе тревога. Отлично помню, как в душе тогда взмолился: — Боже! если меня когда-нибудь осудят, прошу Тебя, пусть пошлют на Соловки.

Просьба оказалась, кажется, единственной, дошедшей до престола Всевышнего. Вскоре я очутился там и понял на опыте то, до чего не дорося в 1926 году.

В главе «Слон — товарный знак УСЛОНО,а» Чернавин (стр. 259) припоминает, как в 1929 году для контрпропаганды о принудительном труде, Советы выпустили «плохо поставленный и не пользовавшийся успехом фильм «Соловки»... в ко-

тором концлагерь показан куроротом для приятного отдыха заключенных».

Колымский летописец-литератор В. Шаламов, перечисляя по фамилиям расстрелянное в 1937 году начальство Дальнего Севера, включает в него и Филиппова с пометкой, что он показан в фильме «Соловки». Да, он не раз приезжал на Соловки от коллегии ОГПУ, как член разгрузочной или следственной комиссий. О нем и ему в лицо пели со сцены соловецкого театра:

Привезли нам с подарками куль

Бокий, Фельдман, Филиппов и Вуль...

Этот Филиппов — думаю, что именно о нем пойдет сейчас речь — был первым доносчиком из капиталистов. Уверовав в победу большевиков, он уже в декабре 1917 года добрался до самого Дзержинского и раскрыл ему фамилии кадетов — участников антисоветской группы. ЧК не гнушалась полезными ей иудами. Филиппов (см. книгу «Чекисты», Ленинград, 1967 г.) стал сотрудником секретного отдела ВЧК и на этой службе привел в подвалы Чрезвычайки и помог ей отправить на тот свет не мало людей, особенно из финансового и торгового мира, веривших ему, как своему. Он был юристом, сотрудником «Русского Слова», издателем газеты «Деньги» и главой прогоревшего банкирского дома «Филиппов и Ко». Уже под кличкой Арского, ГПУ использовало его в Прибалтике, откуда его «донесения» докладывались самому Ленину. Такие Филипповы-Арские несомненно, уже завелись и среди американских капиталистов, но пойди, поймай их, докажи — черта лысого докажешь.

**

Фильм «Соловки» 1926 кому-то дал идею выпустить картину о политической каторге царского времени 1902-1917 гг. Кто-то уселся за сценарий, кто-то взялся за режиссуру, кто-то выделил червонцы, а кто — не спрашивайте, не разузнали. Короче, к осени 1928 года фильм «Каторга» под маркой Государственкино был готов. Как уже тогда завелось, перед выпуском в прокат, фильм в начале ноября 1928 г. показали «экспертам» — членам Московского отдела Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Резолюция, принятая 10 ноября общим собранием, размером на половину газетной страницы, разделяла этот фильм и его постановщиков под такой орех, которого еще не знали в СССР. Места у нас нет, так ограничимся ключевыми пунктами «приговора»:

«Каторга эпохи реакции так искажена, что местами создает

контрреволюционный пасквиль на политкаторжан.

Они изображены как сброд разнокалиберных иисусиков или дурачков, случайно там оказавшихся;

Вместо борьбы коллектива политических, фильм пытается создать отдельного героя, проявляя этим мелкобуржуазную и индивидуалистическую идеологию;

Новый начальник тюрьмы, присланный для зажима каторги, изображен истерическим фигляром — не то Керенским, не то Хлестаковым. Он одинок, тогда как «завинчивать» можно было только опираясь на свои кадры тюремщиков;

Нет и намека, что надзиратели каторжных тюрем были проводниками политики своего начальника и центральной власти;

Политические, объявив голодовку, плачут над принесенным бачком горячей пищи;

Без борьбы идут в церковь;

Староста без сопротивления принимает побои, а остальные жмутся по углам и прячутся под нары;

Тянут жребий, кто должен отравиться, как протест против зверств, но трусливо плачет вытянувший его, и яд берет староста камеры, которого тут же тащат в карцер, где он лишь пишет мелом на стене «Выполню долг свой до конца».

Сколько политической трескотни рассыпано в этой резолюции, побывавшие в Советском Союзе и без объяснений знают. Короче — «Каторгу» изъять, резолюцию направить в агитпропы ЦК и МК, в Госвоенкино, в Реввоенсовет и в Главполитупр, в культком Мосгубпрофсовета, в Главрепертком, в МОПР и в прессу.

Представляем, какая заварилась каша и сколько народа расхлебывало ее. Не эти ли два кинорежиссера с десяткой каждому в зиму 1930-31 года, как нарядчики, сновали по нашему лагерю на Выгозере, отыскивая укравшихся от развода уркаганов?

«Есть, все-таки, Ты, Господи! Долго терпишь, да больно бьешь!», восклицал Солженицын. В 1935-1937 годах едва ли не 90 процентов членов этого общества, голосовавших против фильма, оказались на красной каторге, получив возможность сравнить «век нынешний и век минувший». Сравнили, конечно, да поздновато. И никто уже не спел над ними «Вы жертвою пали в борьбе роковой».

ГЛАВА 6

ПОБЕГИ . . . НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ

Попыток бежать с Соловков было немало, но не отыскали мы ни одного случая с благополучным концом.

«Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг карельского берега — так тот скрывался глуще мертвого» (Солженицын, стр. 57).

Единственный более или менее доказанный побег был осенью 1925 или 1926 года, описанный довольно логично Ширяевым (стр. 290-294):

«Душою побега морских офицеров был князь Шаховской, более известный под фамилией Круглов... Все флотские держались особняком, офицеры и матросы уживались друг с другом... Только в такой среде мог вызреть план побега с какими-то шансами на успех.

Нужно было захватить глиссер, построенный на Соловках для прогулок Эйхманса. Охранные катера «Часовой» и «Чекист» не могли догнать глиссера, но самолет мог настичь и потопить его с беглецами, бросив гранату. Уход за этим глиссером в ангаре вел некий Силин, инвалид, хромавший на обе ноги, в прошлом, как-будто, известный морской летчик. Он обещал в день побега вывести самолет из строя, сознавая, что этим обрекает себя на гибель.

Ноябрьской ночью из кремля, вероятно, со стены по веревке спустились беглецы. Обезоружили и связали часового при катерах. Бензин в бидонах, очевидно, Силин принес заранее. Беглецы завели глиссер и вышли в темное море.

Утром на разводе обнаружили исчезновение моряков, потом — глиссера. «Самолет!... Но мотор его был разобран без приказа пилота. Силина расстреляли. Он «положил живот свой за други своя». Что стало с моряками, никто не знает: — достигли они берега или погибли в пути, столкнувшись в тумане со льдиной».

К этой истории Никонов (стр. 121-124) через три года добавляет, что метеоролог проф. Санин, в присутствии сексюта одобравший побег морских офицеров, был из «буржуазной» третьей роты переведен в 14-ую «запретную». Все же, как незаменимый специалист, он вскоре был выпущен оттуда, но вместо третьей роты помещен в десятую, в келью с Никоновым.

О подготовке и попытке побегов с острова в «Гранях» (номер 8 за 1952 г., стр. 52-54) рассказывает Андреев.

Незадолго перед его первой доставкой на Соловки, т.е. в 1927 году был, рассказывают, большой побег с Муксальмы, с разоружением охраны и захватом карбаса. Бежало, как ему передавали, восемнадцать соловчан, но кто они — каэры, белые или крупные уголовники, пока не выяснено. Известно только, что они добрались до Летнего берега, наиболее близкого к Муксальме (от 20 до 40 км.), где их уже поджидала охрана. В перестрелке с нею все 18 беглецов были убиты.

К другому побегу Андреев имел очень близкое отношение. Его уговаривал бежать студент Петров. План Петрова был довольно прост:

«В Песцей Луде (островок при выходе из Соловецкой бухты) есть лодки. Там живут только два монаха и нет охраны. Поздно вечером мы пойдем туда, возьмем лодку и потащим ее к морю. Доберемся до воды и уплывем. Нас четверо — будешь пятым?»

Несмотря на пыл молодости и охоту бежать, Андреев отказался:

«— Это безумие!.. Вы только погубите себя. Подумайте еще раз. Но Петров поворачивается и быстро уходит, даже не попрощавшись. Через несколько дней узнаю, что задержаны четыре беглеца... Они сумели отойти всего три километра. Их заметили с берега, выслали охрану, привели и посадили в изолятор. Там они просидели до весны... Петров теперь попрежнему живет в кремле, но со мной избегает встречаться... Может быть, он не хочет видеть меня потому, что по лагерю ползет слух: Петров стал секретным сотрудником ИСО. Впоследствии этот слух подтверждается фактами...»

Больше всех написал о побегах с Соловков Пидгайный, и с такими подробностями, словно их ему на духу передали сами беглецы. Наиболее скромный по описанию осенний (неизвестно какого года) побег из карцера молдованина Борейши (стр. 177). Целую неделю по всему острову безуспешно искали его. И только через несколько недель пришло известие, что труп Борейши прибит к Летнему бергу в 180 км. от острова, привязанный полотенцами к двум бревнам. Труп опознали по портсигару из алюминия с нацарапанным на нем именем Борейши. На двух бревнах он не мог бы даже за целые сутки скрыться из поля зрения береговой охраны, и этот факт на брасывает сомнение на правдоподобность обстоятельств побега. Был однажды подобный побег, и удачный, как раз для Голливуда. Бежал уголовник Папильон из французской ка-

торжной колонии в Кайене, в Южной Америке, с Дьявольского острова (крохотный, обойдешь вокруг, покуривая сигарету). На всех языках, кроме советских, появилось описание авантюрного побега, даже фильм о нем показывали в кинотеатрах и по телевизии.

Второй побег, описанный Пидгайным (стр. 200-я, на англ. в книге «The Black Deeds of the Kremlin», «Черные дела Кремля») — морского капитана Стерельховского, очевидно, в 1935 году. Стерельховский годом раньше приехал в Ленинград, как турист, подцепил красивую девушку — или она его подцепила — только в ее постели туриста арестовали. Поскольку он отказался от почетной миссии стать красным шпионом, его нарекли коричневым — шпионом в пользу Испании, дали 10 лет и — не так, как прочих! — а самолетом доставили на Соловки. Тут этот «член польской национально-демократической партии» был признан непрекаемым авторитетом среди поляков-соловчан. Но почему-то для побега на моторной лодке он избрал компаниями уголовников: Ваську Белова и цыгана Тому Михая. В погоню за ними снарядили 19 моторных лодок — целую эскадру, два парохода-тихохода, догонять шуструю моторку и самолет... Через две недели около Мурманска (значит, обогнув весь Кольский полуостров, отмахав сотни километров на хилой моторке по морским волнам) беглецы высадились на берег, распрощались и «разошлись, как в море корабли». Первым «погорел» Васька Белов, при чем не обошлось без девочки. Через неделю розыскали Стерельховского и самолетом возвратили обратно прямо в «Белый дом», как при Пидгайном соловчане окрестили управление лагеря и ИСЧ с камерами для следственных. Простыл след только цыгана. Суд, однако, расправился не с беглецами, а с пособниками, снабдившими их бензином и продуктами на двухнедельный вояж и с ротозеями, допустившими угон моторки.

«Все эти агенты ГПУ — заканчивает Пидгайный — приговорены к растrellu и погибли». Невероятно: агенты ГПУ помогают беглецам!..

Еще более дерзкий побег (описан им же на английском, стр. 95-96) был с острова Анзер в январе, а какого года оставлено отгадывать читателю, видимо, в 1933-м. Бежало 46 человек, из них только три русских (Надо же во всем проводить «самостоятельность»!). Покончив с начальником охраны Анзера Селезневым и с дежурным по BOXP, у, беглецы, захватив два пулемета, 37 винтовок, револьверы, лыжи и связав остальных охранников, но забыв обезвредить радиостанцию, направились по льду и торосам к Летнему берегу под начальством

петлюровца Хреса и татарина Абдула Букреева. Но на твердую землю вступить не удалось. Их встретил огнем чекистский отряд. В бою погибли все, кроме пяти раненных, из которых двое умерли в дороге, а одному на Соловках ампутировали ноги. Трем, оставшимся в живых, добавили по десять лет нового срока. Соловецкие и московские комиссии занялись расследованием обстоятельств побега; перешерстили и сменили начальство. Вот тогда-то, видно, и появился вместо Солодухина новый начальник Соловков Иван Иванович Пономарев. О всех подробностях его жизни Пидгайный уже информировал нас в главе «Голгофа встречает».

Еще вычитал у Мальсагова (стр. 185-187) о побеге с острова на лодке с убийством часового другого капитана Скиртладзе с шестью каэрами, на пятый день достигшими Летнего берега. Застывшие, изнуренные, они развели костер и заснули, а в тот час подкрались вохровцы и забросали их гранатами. Четырех убили, а двух изувеченных, в том числе Скиртладзе, взяли в плен и вскоре расстреляли.

Вот и все, дошедшие до нас попытки побега с Соловков, если не считать еще одной, упомянутой Ширяевым (стр. 288). Шпаненок забрался в трубу лагерного парохода, но как только в топку подбросили уголь, шпаненок сам выскочил из своего «тайника». Тут уж я голову прозакладываю, что именно так оно и было.

Впрочем, однажды на самом деле беглецу удалось бежать с Соловков, добраться до Москвы и скрываться в ней. Там его, Иосафа Подвинского, и зацепали. Не верится? Свежо предание? Посмотрите на стр. 156 книги Н. Б. Голиковой, изд. МГУ, 1957 г. «Политические процессы при Петре Первом», т.е. за 225 лет до Иосифа Рябого. Вон когда удавалось бежать с острова! Поясним любознательным:

Подвинский, бывший певчий Донского монастыря, близкий к окружению царевен, был сослан Ромодановским в Соловецкий монастырь «за неистовое монастырское житье и иные вины» с предписанием «держать неисходно скованы» и не допускать, чтобы он переписывался. Но архимандрит Фирс не заковал Иосафа в цепи и он в том же 1700-м году появился в Москве. После допроса ряда духовных лиц, давших убежище и деньги беглецу, Иосиф Подвинский и дьякон Александр за то, что «старца из ссылки вывел и проводил до Москвы были биты кнутом нещадно» и возвращены на Соловки. А Фирс за свой «клиберализм и гуманность» как объяснили бы после, отделался 50 рублями штрафа.

КОНЕЦ 3-Й ЧАСТИ

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ

БИБЛИОГРАФИЯ

А. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

А. КЛИНГЕР. СОЛОВЕЦКАЯ КАТОРГА. Записки бежавшего. Опубликованы в журнале Гессена «Архив русской революции», т. 19, стр. 157-211. Берлин, 1928 г.

Ю. Д. БЕССОНОВ. ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЮРЕМ И ПОБЕГ С СОЛОВКОВ. Париж. 1928 г. 328 стр.

Б. Н. ШИРЯЕВ. НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА. Нью Йорк. 1954 г. 405 стр.

И. М. ЗАЙЦЕВ, генерал-майор. СОЛОВКИ. Коммунистическая каторга или место пыток и смерти. Шанхай. 1931 г. 165 стр.

Г. АНДРЕЕВ. СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 1927-1929 гг. Очерк в журнале «Границы» № 8 за 1950 г. Лимбург, зап. Германия. стр. 42-92.

Н. И. КИСЕЛЕВ-ГРОМОВ. ЛАГЕРИ СМЕРТИ В СССР. С предисловием Сергея Маслова. Шанхай. 1936 г. 191 стр.

М. З. НИКОНОВ-СМОРОДИН. КРАСНАЯ КАТОРГА. Под редакцией А. В. Амфитеатрова. София. Болгария. 1938 г. 371 стр.

М. РОЗАНОВ. ЗАВОЕВАТЕЛИ БЕЛЫХ ПЯТЕН. Лимбург, Зап. Германия. 1951 г. 288 стр. и 36 стр. вводной главы.

Д. ВИТКОВСКИЙ. «ПОЛЖИЗНИ». АЛЬМАНАХ XX ВЕК. Лондон. 1976. стр. 138-236.

М. ПОЛЬСКИЙ, протопресвитер. НОВЫЕ МУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ. Джорданвилл, штат Нью Йорк. Два тома: первый — в 1947 г., второй — в 1959 г., в обоих томах 606 страниц.

Е. ОЛИЦКАЯ. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. Лимбург, Зап. Германия. В двух томах 1971 г. 589 стр.

И. Л. СОЛОНЕВИЧ. РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ. Нью Йорк. Пятое издание. 1957 г. 512 стр.

Б. ЯКОВЛЕВ. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРИ СССР. Мюнхен, Зап. Германия. 1955 г., 253 стр. с картой лагерей.

И. СОЛЖЕНИЦЫН. АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ. Париж. 1974 г. Том второй. 657 стр.

А. МАРЧЕНКО. МОИ ПОКАЗАНИЯ. Париж. 1969 г. 369 стр.

МИХАИЛ ГЕЛЛЕР. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ МИР И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Лондон. 1974 г. 352 стр.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. СОЛОВКИ. Том 17-й собрания сочинений, глава «По Союзу Советов». Стр. 202-232. Москва. 1952 г.

М. ПРИШВИН. СОЛОВКИ. В книге «Весна света», стр. 492-515. Москва. 1953 г.

ПРОФ. ГЕРНЕТ. ИСТОРИЯ ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ. Пятитомное издание. 1941-1956 гг. Москва.

ПРАВО И ЖИЗНЬ. Юридический журнал со статьями Гернета в 1926 г. о соловецком журнале и газете.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. Журнал заграничной делегации РСДРП. Выходил последовательно в Берлине, Париже и Нью Йорке с 1921 по 1965 гг.

ЧТЕНИЯ в обществе истории и древностей Российских при Московском Импер. Университете. Печатались в Москве с 1848 по 1918 г. Публиковались также научные статьи по истории Соловецкого монастыря.

КАТОРГА И ССЫЛКА. Журнал Общества бывших политических заключенных и ссыльных. Выходил в Москве с 1921 по 1934 год, до закрытия общества и ареста его руководителей.

ВОЛЯ. Журнал быв. политзаключенных Советского Союза. Выходил в Мюнхене с января 1952 г. по февраль 1954 г.

Г. А. БОГУСЛАВСКИЙ, член Географического общества СССР. ОСТРОВА СОЛОВЕЦКИЕ. Очерки. Карта острова. Архангельск. 1966 г. 200 стр.

ПРОФ. Г. Г. ФРУМЕНКОВ, доктор истор. наук. УЗНИКИ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ. Архангельск. 1965 г. 189 стр.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА в 86 томах за 1890-1907 гг.

СОВЕТСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ: Большая, первое издание, Историческая и Сибирская.

ИСТОРИЯ ВЧК 1917-1921 гг.
ДЖОРДЖ К. КЕННАН. СИБИРЬ И ССЫЛКА. Москва. 1906
г. 302 стр.

А. П. ЧЕХОВ. ОСТРОВ САХАЛИН. 1891-1894 гг. Том десятый. Москва. 1948 г.

В. М. ДОРОШЕВИЧ. САХАЛИН (Каторга). Переиздано в Париже. Год не указан. 574 стр.

Н. С. ЛОБАС. КАТОРГА И ПОСЕЛЕНИЕ на о.-ве Сахалине. Со многими фотографиями. Издание В. С. Лобас. Павлоград. 1903 г. 160 стр.

Н. Б. ГОЛИКОВА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ. Издание МГУ. 1957 г. 319 стр.

П. Ф. ФЕДОРОВ. — СОЛОВКИ. Кронштадт. 1889 г. 344 стр.

Б. НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

СЕМЕН ПИДГАЙНЫЙ. УКРАИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА СОЛОВКАХ. 1933-1941 гг. Мюнхен. 1947 г. 90 стр.

СЕМЕН ПИДГАЙНЫЙ. НЕДОСТРЕЛЯННЫЕ. Из двух частей в одном томе. 1949 г. 260 стр.

ЛЕВКО ЧИКАЛЕНКО. СОЛОВЕЦКАЯ КАТОРГА. Свидетельства украинцев, бежавших из концлагеря. Под редакцией Чикаленко. Варшава, 1931 г. 72 стр.

В. НА АНГЛИЙСКОМ

Malsagoff, S. A. — An Island Hell — London, 1926, 223 pp.

Cederholm, Boris — In the Clutches of the Tcheka — Boston & New York, 1929, 349 pp.

Tchernavin, Vladimir V. — I Speak for the Silent Prisoners of the Soviets — Boston & New York, 1935, 368 pp.

Kitchin, George — Prisoner of the OGPU — London & Toronto & New York, 1935, 336 pp.

Popoff, George, — The Tcheka: the Red Inquisition — London, 1925, 308 pp.

Melgunov, S. P. — The Red Terror in Russia — London & Toronto, 1925, 271 pp.

Pidhainy, Semen — Islands of Death — Toronto, 1953, 240 pp.

**The Black Deeds of the Kremlin,
Volume I, Toronto, 1953, 543 pp.
Volume II, Detroit, 1955, 712 pp.**

Sapir, Boris — The Journey to the Northern Camps — Chapter of Dallin and Nikolayevsky, “Forced Labor in Soviet Russia” — New Haven, 1947, 319 pp.

Dallin, David — The Changing World of Soviet Russia — London 1944, 422 pp

Yakir, Petr — A Childhood in Prison — New York, 1972, 155 pp.

Medvedev, Roy — Let the History Judge — New York, 1968, 633 pp.

Who Was Who in the USSR (1917-1968) — USA, 1972, 677 pp.

Conquest, Robert — The Great Terror — New York & London, 1968, 633 pp.

Essad-Bey (Pseu. of Leo Noussimbaum) — OGPU, the Plot Against the World — Ch. 20, "Solovetski, the Sacred Isle" (pp. 200-216) — London & New York, 1933, 301 pp.

Coate, W. P. — A History of Anglo-Soviet Relations. — London, 1943, 816 pp

Coate, W. P. — Is Soviet Trade a Menace? — With a Foreword by Ben Tillet. London, 1931, 117 pp.

Russia Today — Official Report of the British Trade Delegation to the USSR. New York, 1925, 284 pp.

Dillion, E. — Russia Today and Yesterday — New York, 1930, 293 pp.

Filene, Peter — Americans and the Soviet Experiment — 1917-1933. 389 pp.

Baldwin, Roger N. — Liberty Under the Soviet — New York, 1928, 272 pp.

The Challenge — Journal of the Association of the Former Politprisoners of The Soviet Union. New York, 1950-1954.

Г. НА НЕМЕЦКОМ

Albrecht Karl Ivan. — Der Verratene Sozialismus — Berlin, 1938, 650 s. und 110 Bildern.

Д. НА ПОЛЬСКОМ

Olechnowicz, Franciszek — Prawda o Sowietach — Warszawa, 1937, 152, Nakladem Autora.

ОТ АВТОРА

ВТОРАЯ КНИГА ВЫЙДЕТ В КОНЦЕ ГОДА ОБЪЕМОМ 150-180 СТРАНИЦ. В НЕЕ ВОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ:

1. «ПЕРЕВОСПИТЫВАЕМСЯ»
2. ДОЛЮШКА ЖЕНСКАЯ
3. «УДАРНИКАМИ» ДОБИВАЮТ
4. ПОРТРЕТЫ КОЛОРИТНЫХ СОЛОВЧАН, ХОРОШИХ И ОТВРАТИТЕЛЬНЫХ
5. САХАЛИНСКАЯ КАТОРГА 1875-1904 гг.
6. АМУРСКАЯ «КОЛЕСУХА» 1898-1909 гг.
7. ОДИН ИЗ 43 ПОЛИТИЧЕСКИХ НА САХАЛИНЕ
8. ССЫЛЬНЫЕ ПОД МОНАСТЫРСКИЙ НАДЗОР
9. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К 1-ОЙ И 2-ОЙ КНИГАМ

ГЛАВНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ, ИСКАЖАЮЩИЕ СМЫСЛ

Стр. 13-я, абзац 4-й сверху, между 4 и 5 строчками выпала строка: за 1928 год, написанной им, как указано в предисловии, в

Стр. 13, абзац 4-й сверху, стр. 7-я. Вычеркнуть, как дважды набранную.

Стр. 60-я. Строчки спутаны в первом абзаце. Читать так: а потом уже «оформили» приговором. Ведь Калугин застрелил их меньше чем за полчаса после своей жалобы Михельсону. А сам Михельсон, «председатель коллегии», некоторое время провел в нашем бараке после того, как увёл трех уголовников, да и сам он потом показывал нам их трупы «как пример на будущее».

Стр. 67-я. Посл. строка 1-го абзаца. Читать: 35 сантиметров

Стр. 72-я. Перв. абзац, стр. 21 сверху. Напечатано: овчарке. Следует читать: очерке

Стр. 79. 2-й абзац сверху, стр. 3-я снизу. Напечатано: о с этим. Следует читать: он с этим

Стр. 111-я. Предпосл. строчка. Напеч.: 1938-ых. След.: 193~~7~~-их

Стр. 150-я. В прим., стр. 4-я сверху. Напеч.: 1939-го. След.: 1930-го

Стр. 213-я. Посл. стр. к прим. Напеч.: слон. Следует: СЛОН

Стр. 221-я. Посл. стр. 2-го абзаца. Напеч.: Соловки. След.: Соловками

Стр. 275. 6-я стр. снизу. Напеч.: в октябре, я. След.: в октябре 1932 г., я

Стр. 288-я. 1-я стр. второго снизу абзаца. Напеч.: 1926 кому-то. Следует: 1926 года кому-то

Стр. 293-я. Пятую строку снизу следует читать так: беглецу, Иосифа Подвинского и дьякона Александра за то, что

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

СТР.	АБЗАЦ	СТРОКА	НАПЕЧАТАНО	СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
20	1 сверху	3 снизу	Стрелецкого	Селецкого
21	2 сверху	6 сверху	Зля чего	Для чего
22	1 сверху	21 сверху	воспоминание	воспоминания
30	2 снизу	1 снизу	Мускальмский	Муксальмский
34	последн.	4 сверху	защита Шлихтер.	защита-Шлихтер
41	2 сверху	1 сверху	осужденных	осужденных
42	4 сверху	3 сверху	ГПК	ГПУ
45	2 сверху	2 сверху	шмом	шмон
49	2 снизу	3 сверху	двадать	двадцать
50		7 сверху	притик	притих
55	2 сверху	1 снизу	«леопардов»!	«леопардов»:
58	1 сверху	1 снизу	во второй книге	вычеркнуть
59	примеч.	2 снизу	печатями»	печатами
60	2 сверху	7 сверху	на (метерик)	на материк
67	1 сверху	5 снизу	швах, только	швах. Только
68	2 сверху	13 сверху	медицинское	медицинское
68	2 сверху	5 снизу	могилу	могилу
79	2 сверху	4 сверху	Бокия	Бокийя
82	1 снизу	3 снизу	театр.	театр.)
87	2 сверху	5 снизу	«ЗДРА»	«здрав»
95	4 сверху	2 сверху	«Глеба Бокия»	«Глеба Бокийя»
98	2 сверху	9 сверху	квитанции «появились	квитанции» появились
99	1 сверху	5 сверху	отсутсвовали	отсутсвовали
100	4 снизу	1 снизу	концлагря	концлагеря
105	1 сверху	2 снизу	концлагерная	концлагерная
106	2 сверху	6 снизу	пришлом	прошлом
108	нижний	4 снизу	гуляют»	гуляют
110	1 сверху	9 сверху	нового года	Нового года
116	3 сверху	4 сверху	больными	больными
131	3 сверху	7 снизу	пером).	пером.
135	нижний	1 сверху	Зарину,	Зарину
147	2 сверху	13 сверху	Наиболе	Наиболее
151	нижний	1 сверху	Крикушники	«Крикушники
154	1 сверху	6 сверху	использовались	использовались
157	примеч.	1 снизу	головы.	головы. (Прод.на обороте)
159	2 сверху	3 сверху	на каждого.	на каждого*)
170	4 сверху	4 сверху	положние	положение
170	4 сверху	13 сверху	вагон	вагоне
170	примеч.	нижняя	:самоволной	самовольной
172	3 сверху	1 сверху	развертывающееся	развертывающееся
176	2 сверху	5 сверху	вестнику	Вестнику
176	нижний	5 снизу	вего	всего
178	3 снизу	3 снизу	заверзших	замерзших

СТР.	АБЗАЦ	СТРОКА	НАПЕЧАТАНО	СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
179	2 снизу	3 сверху	Бокием	Бокийем
179	2 снизу	1 снизу	Бокием	Бокийем
181	примеч.	10 сверху	состояний	состоянии
182	1 сверху	2 сверху	преверки	проверки
182	1 сверху	6 сверху	заслужил	заслужил
192	1 сверху	5 сверху	прозьба	просьбе
193	нижний	6 сверху	касетах	касетах,
195	3 сверху	11 сверху	127 209	127, 209
196	нижний	2 снизу	кириличиков	кирпичиков
197	3 сверху	5 сверху	развившийся	разразившийся
222	1 сверху	1 сверху	его	Его
214	2 сверху	4 сверху	«Известниях»	«Известиях»
226	2 сверху	11 сверху	этаже!	этаже!»
226	2 сверху	12 сверху	«...и	...и
226	2 сверху	14 сверху	трапезной	трапезной,
226	3 сверху	1 сверху	интриги	интриги,
228	3 сверху	4 сверху	принадлежавшем	принадлежавшем
234	3 снизу	2 сверху	дополнительными	дополнительными
242	3 сверху	2 снизу	Бокием	Бокийем
243	3 сверху	10 сверху	до	да
244	2 сверху	12 сверху	сосланному еще	сосланному еще
249	1 сверху	6 снизу	его	Его
258	1 сверху	6 снизу	губернатор.	губернатор.)
260	3 сверху	4 сверху	находится Меж-	находится. Меж-
263	3 сверху	3 сверху	пустыни	пустыни
266	1 сверху	6 сверху	«без похода»	без «похода»
266	1 сверху	10 сверху	горышко	горышко
267	2 сверху	3 снизу	«Овсянке» и	«Овсянке». Они, и
267	3 сверху	4 сверху	марта	марте
270	3 сверху	4 сверху	расстреляли «148»	расстреляли на ос- трове «148»
271	2 снизу	5 сверху	занити	заняты
273	3 сверху	2 снизу	замедлина	замедлила
274	3 сверху	1 снизу	театр?	театр!»
279	2 снизу	6 сверху	залуживал	заслуживал
281	2 снизу	3 снизу	начальство	начальства
286	2 снизу	2 снизу	масштаб	масштабе
291	нижний	8 снизу	бергу	берегу

